9(9)5
В 465
279615

МАКСИМ ВИЛЬОМ

9(44)
В. 46

В ДНИ КОММУНЫ

К

РАБОЧЕЕ ИЗД-ВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД 1925

БОРИС ПЯТУНИН

279615
~~1670~~
18/XI 83 7-821

9(4)5,
В 46

МАКСИМ ВИЛЬОМ

В ДНИ КОММУНЫ

(ЗАПИСКИ)

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО АЛ. МАНИЗЕР,
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
А. И. МОЛОК.

Уральский гос. университет
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

УРАЛЬСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ КУРСЫ ПОЛИТПРОСВЕТА
Шифр 9(4)5 В 46
Инвент. № 1670
БИБЛИОТЕКА

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД 1925

9(44)5.

Ленинградский гублит № 4248. Тираж 10.000—21¾ л.—Зак. № 1044.

Государственная типогр. имени тов. Зиновьева. Ленинград. Социалистическая, 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемые читателю записки Максима Вильома (Maxime Vuillaume, «Mes Cahiers Rouges au temps de la Commune»), вышедшие лет пятнадцать тому назад, представляют исключительный интерес в ряду других мемуаров, посвященных Парижской Коммуне 1871 года. Увлекательность изложения, яркость красок и образность сцен и фигур счастливо сочетаются в этих записках с богатством фактического материала и точностью (доходящей местами до документальности) в его передаче.

Автор — типичный представитель деклассированной революционной интеллигенции, юной когорты студентов и журналистов, об'явившей беспощадную войну бонапартизму и ядовитыми стрелами своих «Речей Лабиена» и им подобных памфлетов и газет взрывавшей и без того падавшее здание Второй Империи, последний удар которому должна была нанести война с Пруссией Бисмарка и Мольтке.

В Коммуну он бросается, по его собственному выражению, «со всем пылом и энтузиазмом молодости», хотя и с очень скудным идейным багажем (по части теории он и его друзья, как бланкисты, так и прудонисты, в большинстве своем были крайне беззаботны). Он воспитан в благоговейном преклонении перед суровыми фигурами Конвента и первой Коммуны, а также перед «воплощением социальной революции», «вечным узником» Бланки.

Вместе с Эженом Вермешем и Альфонсом Эмбером он воскрешает умолкнувшего в 1794 году старого ворчуна-патриота «Пер-Дюшена», со страниц которого страстным и вместе простым, понятным народу языком зовет к борьбе, к борьбе и к борьбе...

Пусть читатель не ищет у него широких обобщений, глубокого анализа, богатых выводов, марксистского подхода: этого он не найдет. Очевидец и участник событий, Вильом только рассказывает о том, как боролся он, как боролись другие, как боролся парижский пролетариат в незабвенные дни 1871 года.

Перед нами проходит ряд сцен и фигур, врезывающихся в память. Картина сменяется картиной. Вот Феликс Пиа, обращающийся с напутственной речью к уходящему на фронт батальону; вот Россель, поверяющий друзьям свои мечты о превращении гражданской войны в войну национальную и о возобновлении борьбы с немцами после победы над Версалем; вот старый монтаньяр Делеклюз, ищущий смерти на баррикаде, чтобы не пережить поражения; вот бесстрашный революционер Гуа, нашедший в себе достаточно сил, чтобы совершить акт революционного правосудия над пятьюдесятью заложниками; вот Вермеш, делящий свои досуги с веселой дочерью парижских мостовых, беззаботной Рашелью; вот незабвенный день провозглашения Коммуны на площади перед Ратушей; вот свержение Вандомской колонны — гордый вызов всему старому миру; вот своды старинной церкви, оглашаемые непривычными для них звуками Марсельезы заседающего здесь клуба; вот красавица-артистка, задрапированная в красное знамя и бросающая с эстрады бывшего императорского дворца, ныне «Дома Народа», задорную и грозную «La Canaille», подхваченную тысячью голосов победившей «черни»; вот скромная работница, жертвующая свою единственную пару золотых серег на дело революции; вот молоденькая маркитантка, о подвигах которой на фронте можно было бы написать целую книгу; вот герои артиллеристы, бесстрашные и веселые под ураганным огнем неприятеля; вот похороны убитых героев; ужасы майской кровавой недели; пожары; бесчинства ворвавшейся в город версальской солдатчины; застенки-суды, массовые расстрелы, террор; последняя схватка на кладбище среди могил... Трудно исчерпать все богатство содержания записок Вильома. Не менее интересны и сцены из последних годов Империи, осады Парижа (восстания 31 октября и 22 января), капитуляции (вступление пруссаков), бегства побежденных, где особенно врезывается полная глубокого социального смысла сцена встречи двух юных коммунаров с затерянным в Альпах контрабандистом, таким же бунтарем, как и они. С неослабевающим интересом читаются и последние части: «В изгнании» и «После амнистии».

Историку особенную радость доставит обстоятельный рассказ о смерти заложников (написанный на основании документов и показаний очевидцев, тщательно проверенных и сличенных между собой), который бросает яркий свет на обстановку казней и с точностью устанавливает степень участия в них как Коммуны в целом, так и отдельных коммунаров-бланкистов; страницы, посвященные истории газеты «Пер-Дюшен» 1871 года; письмо Камелина Вильому от 15 сентября 1908 года,—драгоцен-

ный исторический документ, впервые с большой полнотой освещающий деятельность Монетного двора во время Коммуны; глава, посвященная Ранку и изобилующая новыми данными о казни Шодэ и описанием жизни изгнанников Коммуны в Швейцарии, богатая ценным фактическим материалом, главным образом биографического характера. В этих своих частях записки Вильома могут служить основным источником при изучении соответствующих проблем и моментов в истории первой республики пролетариата.

Предлагаемый вниманию читателя настоящий перевод сделан полностью, если не считать некоторых опущенных нами длиннот и примечаний, интересных только для парижанина.

Не сомневаемся, что книга Максима Вильома займет подобающее ей видное место в нашей далеко не богатой переводной мемуарной литературе о Коммуне.

А. И. Молок.

Ленинград.
Декабрь 1924 года.

ДЕНЬ В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ ВОЕННОМ СУДЕ.

ПОРАЖЕНИЕ.

Среда 24-го мая 1871 года. 6 часов вечера. Против госпиталя Милосердия. Пантеон занят. Федераты сходятся мрачные, запыленные, в расстегнутых мундирах...

— Измена! Нас предали! Монмартр взят...

Монмартр занят еще вчера утром, и снаряды, захваченные армией, теперь громят квартал. Сперва это известие отрицалось. Теперь уже нельзя сомневаться. Время восторженных бюллетеней отошло.

— С меня довольно, — кричит артиллерист. — Вот уже три дня как я дерусь...

Он показывает свою рваную и испачканную блузу:

— Это не оттого, что я боюсь, нет... Но нас обманули. Нет начальников...

Он печально опускает голову. Торопливо обрывает широкую красную полосу своих панталон, которая может выдать его. Напрасный труд! Как бы ни был узок остающийся кантик, беднягу ждет военный суд.

Митральезы подпрыгивают по мостовой улицы Ласепед. Их волокут сами сражающиеся. Лошадей бросили там наверху.

Наконец все проехали. Вот еще носилки, перед которыми раскрываются двери госпиталя. Тут же два-три врача; один из них приподнимает над каждыми носилками белую простыню.

Я подхожу. Врач бросает на меня тревожный взгляд. Кажется, он что-то говорит мне о госпитале Сен-Сюльпис, откуда кто-то прибыл и где расстреливали всех: пленных, укрывающихся на семинарском дворе, раненых, прикованных к больничным койкам, вперемежку с врачами [1].

---

[1] В этот день, в среду 24-го, в половине первого дня, доктор Фано, который вместе со своим коллегой Л. Де-Франко стоял во главе госпиталя, устроенного в семинарии Сен-Сюльпис, был расстрелян вместе с 80 ранеными федератами.

Перестрелка прекратилась. Набережная все еще наша. Что если отдохнуть? Двое суток я не спал ни минуты. Утром я собрался было растянуться на балконе у одного приятеля на улице Гэ-Люссак; но пули выселили меня оттуда. Тогда я вошел в дом и уселся на диване. И тут пуля, пробив стекло, просвистела над моим ухом и впилась в переплет книги в библиотечном шкафу. Мне показалось, что это стреляли с колокольни церкви св. Якова. В дни борьбы остерегайтесь колоколен!

КРАСНЫЕ ШТАНЫ.

Не войти ли нам в этот особнячек, рядом с фонтаном Кювье?.. Нас тут пятеро или шестеро, кому пришла эта мысль. Десять часов. Все попрежнему тихо. Конечно, отряд нуждается в отдыхе на бивуаке после битвы. Впереди у нас ночь.

И я храплю, как полагается не спавшему двое суток... Я храплю с таким усердием, что на моих медных часах (о которых мне придется еще говорить) уже пять, когда солнце, свободно проникшее сквозь незавешанные окна, заставляет меня открыть глаза.

Все то же. Ни одного ружейного выстрела. Между тем необычайная суета поднимается на улице. Металлический лязг. Оклики... Я вскакиваю с постели. В этот момент поспешно входит один из моих товарищей по ночлегу:

— Версальцы здесь. Мы окружены...

Я подбегаю к окну.

Небольшая площадь, на которую выходит решетка Ботанического сада, полна войск. По середине куча оружия, вокруг которой толпятся солдаты. Здоровенный парень с квадратными плечами, с трехцветной перевязью на рукаве, размахивает ружьем и расшибает его приклад.

— Еще одно! — вопит он яростным голосом, который доносится до нас.

Повсюду кругом мундиры, кепи, портупеи, разбросанные по мостовой.

Два офицера национальной гвардии «порядка» стоят, прислонившись к решетке. Синие кепи с широким белым околышем, револьвер в кобуре желтой кожи, высокие сапоги. Сабля на боку, поверх длинной серой шинели. Трехцветная повязка, нашитая на рукаве.

От этого трехцветного нарукавника, который мне предстояло снова увидеть несколько часов спустя в военном суде, — я не мог отвести глаз... Уже с месяц мы знали, что в Париже заготовлен целый склад этих повязок, чтобы приколоть их к рукавам победителей. И ни малейшего усилия, чтобы задушить заговор!

Теперь среди бела дня красуются торжественно эти повязки! Горе тому, кого они опознают, схватят, погонят на расстрел!

Однако надо спуститься. Бежать, — безразлично куда, но бежать поскорее. Мы видим уже, как строятся взводы, входят в соседние дома, выходят оттуда с захваченным оружием, узлами, арестованными.

Но при мне бумаги! Меня могут арестовать на улице. А бумаги весьма компрометирующего свойства. Карточка — пропуск на Вандомскую площадь в день свержения колонны. Это уже нечто... Другая—еще более обличающая. Зеленая карточка, выданная Коммуной, своего рода пропуск на случай прерванного уличного движения, которую давали только своим. На ней значилось мое имя, фамилия, моя профессия. Этого вполне достаточно, чтобы поставить меня к стенке без допроса. Она была дана мне моим другом Тридоном [1], за его подписью.

Я быстро рву обе карточки и подсовываю обрывки под ковер, прибитый к паркету. А мое кепи с двойным серебряным галуном! Мне необходим другой головной убор. Что ж, позовем слугу. Ничего другого не остается.

Славный малый! Прежде, чем я его спросил, он уже догадался и побежал за своей круглой шляпой.

— М-сье, они подходили всю ночь, — быстро говорит он, понижая голос. — Их набрался полный сад. Я уже сбросил мою блузу и все остальное. На каждой ступеньке лестницы спит по одному...

Мы выходим,—приятель, пришедший за мной в мою комнату, и я. Конечно, сердце у меня бьется, когда я ставлю ногу на первую ступеньку.

Ну! Будь что будет, вперед!

Под'езд особняка заполнен солдатами, загораживающими мне путь; ожидая, пока они очистят его, я намечаю себе миловидную блондиночку лет трех-четырех и глажу ее непокорные кудри, словно я один из завсегдатаев дома. Ну-ка, примите меня после этого за инсургента...

ПРОКЛЯТЫЙ БУЛЫЖНИК.

— Мы возвратимся в квартал, — говорю я сопровождающему меня приятелю. На повороте улицы Ласепед я бросаю взгляд внутрь госпиталя, вход в который широко раскрыт. Хочется повидать врача, спросить у него, что сталось с нашими ранеными.

---

[1] Тридон (Гюстав), член Коммуны (от 5-го округа), автор «Гебертистов», депутат (отставной) национального собрания в Бордо.

Паф! Паф!.. Стрельба взвода совсем близко. Это из Ботанического сада.

Я оборачиваюсь. Офицер с трехцветной повязкой на рукаве все еще там, неподвижный у решетки. Но вот он отходит в сторону. Проходит группа. Между солдат, с примкнутыми штыками, двое штатских.

Паф! Паф! Снова залп... Пойдем скорее.

Повсюду пехотинцы, стрелки, те самые, которых я видел вчера перед атакой Пантеона, за решеткой Люксембурга и перед баррикадой на улице Суффло.

Распивочные полны ими. Они шумно чокаются цинковой посудой, звякают ружьями по паркету и бросают на прилавок мелкую монету; за поясом у них торчат револьверы.

Мы доходим до улицы Вьейль-Эстрапад. Там баррикада. Два офицера с нарукавниками в серых шинелях.

— Эй! Эй! — кричат они прохожим. — Разобрать это! И поживей!

Каждый должен взять по булыжнику и бросать его в канаву, наполненную оружием и обмундировкой.

— Что ж, и мне браться за это? — говорит возле меня с грубым смехом человек, одетый как буржуа, но тоже с трехцветной повязкой.

Прежде, чем продолжать свой путь, полицейский (мне скоро пришлось узнать, что эти люди в черных сюртуках с трехцветной повязкой на рукаве—агенты военно-полевых судов) бросает вокруг себя взгляд.

— И подумать только, — кричит он, — что среди этих гуляк есть такие, которые это построили...

И помолчав с минуту:

— Да, свиньи... Здорово же они нам заплатили за это. Надо было это видеть сегодня ночью в Люксембурге!

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ.

Ужасна картина на другой день после победы. Улицы разрыты. Дома исцарапаны снарядами и пулями. Мостовые черные или красные. Черные от пороха, красные от крови. Тротуары усеяны тысячью различных предметов, выброшенных ночью из окон... Пришлось спешно отделываться от всего, что так или иначе соприкасалось с Коммуной и могло напомнить о ней при обыске.

Площадь Пантеона. Два офицера, стоя перед решеткой мерии, читают афишу Делеклюза [1], призывающую народ к оружию. Я стою близко к группе и могу рассмотреть ее. Мне хотелось бы подойти еще ближе, послушать, что они говорят. Но я отступаю в ужасе. В угловой нише, которая открывается передо мной, с полдюжины трупов... Один из них, перегнувшись пополам, выставляет свой раскроенный череп, окровавленный и пустой.

На ступенях Пантеона солдаты. На площади также солдаты. Среди них — моряк, который кричит и поет, размахивая чем-то. Мне кажется, что это разорванный женский лиф...

Из переулка, идущего вдоль библиотеки св. Женевьевы, выступает отряд солдат. Он ведет с полсотни арестованных. Следом идут женщины.

На улице Сен-Жак прислонен к стене винного погреба, известного под именем «Академия», труп старика с белой бородой, еще одетый в блузу федерата.

Он здесь со вчерашнего дня или ночи. Босые ноги вытянуты и в крови.

Я снова спускаюсь к бульвару; он весь расцвечен флагами. Уже в этот ранний час — семь часов — кафе набиты посетителями. Офицеры и штатские, говорят громко, лица возбужденные.

Улицы кишат военными всех родов оружия. В улице Школ масса народу перед большим пустырем, где теперь высится новая Сорбонна... Позднее я узнал, что там расстреливали.

Мне пересекает путь фургон, едущий шагом. Задняя дверца открыта, он полон трупами.

На углу улицы Расина и улицы Медицинской Школы разворочены обе баррикады, защищавшие вход на бульвар Сен-Мишель. На дно канавы скатилась митральеза, задавив белую лошадь; видна ее окровавленная спина.

Под этой грудой — труп федерата гигантского роста, с лицом, расплющенным колесами лафета.

Кафе Суффлэ разгромлено. Вчера во время атаки улицы Школ наступающие втащили туда пушку; пришлось проломать фасад для того, чтобы навести ее на баррикаду Коллеж-де-Франс. Пушка еще там, среди нагроможденных друг на друга столов, ободранных стен.

Тротуары усыпаны листвой и ветками, начисто срезанными снарядами.

---

[1] Делеклюз (Шарль), член Коммуны (от 11-го округа), военный делегат (с 11 мая). Убит на баррикаде бульвара Вольтера (25 мая).

Повсюду кровь большими лужами. Брошенное обмундирование. Кучи изломанного оружия.

Площадь Сен-Мишель загорожена баррикадой, высотою с фонтан, которую накануне защищал 248-й батальон.

На дне канавы — десяток трупов с окровавленными и покрытыми грязью лицами. В их застывшие мертвые губы воткнуты горлышки бутылок, обкуренные трубки... Низость!

Поминутно вскачь проносятся ординарцы. Проезжает верхом морской стрелок с ружьем поперек седла; к поясу его прицеплено кепи командира федератов с четырьмя серебряными галунами.

ОБЫСКИ.

Кто-то останавливает меня. Это мой друг, Анри Белланже, сотрудник газеты Валлэса «Крик Народа» [1].

Я наскоро рассказываю ему, что делал со времени нашей последней встречи накануне в мерии Пантеона. Ночь, проведенную на улице Кювье. Ужасное пробуждение. Бегство по трупам и баррикадам.

— «Я переночевал на улице Монтань-Сент-Женевьев, — говорит он мне в свою очередь. — Не знаю, как я очутился здесь. Всю ночь обыски, аресты, расстрелы. Все эти переулки вымощены трупами! Взвод стрелков вошел в наш дом. Нас вывели — человек двадцать. Я уселся, в ожидании, на тумбу. Привели дрожащего старика в одной сорочке. Солдат кричит ему:

«— Сдаешься, старик?

«Старик умоляюще смотрит на солдата;

«— Ну, да... да... я сдаюсь.

«Солдат поднимает револьвер.

«— Значит ты сдаешься, это правда?

«— Да, да...

«— Ну, хорошо, повернись.

«Старик поворачивается и падает, чтобы более не подняться.

«Солдат разможжил ему голову».

— Всю ночь, — продолжает Белланже, — расстреливали на площади рынка Мобер, выход из которого закрыли. У большой баррикады целые груды расстрелянных. То же и внизу у каменных лестниц, ведущих в улицу Жан-де-Бовэ. После взятия улицы Сен-Северин все федераты, спасавшиеся в церкви, были расстреляны. Они еще на перекрестке. Проходя по улице Сен-Жак, я видел на

---

1. Валлэс (Жюль), член Коммуны (от 15-го округа), главный редактор газеты «Крик Народа».

углу двух расстрелянных женщин. У одной из них в темных волосах виднелась красная кокарда...

Он понизил голос:

— Военно-полевой суд заседает в Люксембурге.

— Надо, однако, — сказал я, — подыскать себе пристанище. Невозможно дольше оставаться на улице. Здесь нас все знают.

— Пойдем ко мне, у меня безопасно.

У Белланже, на площади Медицинской Школы, мы застаем нашего общего друга А., студента-медика (ныне врача в одном из департаментов вблизи Парижа), который во время осады был полковым лекарем при 248-м федеральном батальоне, бывшем батальоне Лонгэ [1].

— Ходить, не боясь ареста, это совсем просто, — сказал нам спокойно А. — Врачей не арестуют. Наденьте, как я, лазаретную повязку.

И он нацепил мне повязку с красным крестом Женевской Конвенции.

Мы вышли, А. и я, решив прежде всего отправиться на улицу Мадам узнать о нашем старом приятеле Рожаре [2], авторе «Речей Лабиена» [3].

Идем по улице Турнон, — далее по улице Вожирар, быстрым шагом, не очень-то осматриваясь по сторонам.

Едва миновали мы двери Малого Люксембурга (ныне дворец президента сената), как услышали за собою шаги двух человек. В то же время на каждого из нас опустилась рука.

— Куда вы так спешите?

— Но... мы идем... идем прогуляться.

— Ладно, ладно. Войдите-ка сперва с нами сюда.

И двое полицейских с трехцветной перевязью втолкнули нас во двор, уже кишевший арестованными.

Мы были в военно-полевом суде.

ГРАЖДАНИН!

Двор сената, — маленький дворик, выходящий на улицу Вожирар, а не большой парадный двор, обращенный на улицу Турнон, — заполнен солдатами, полицейскими, людьми всех возрастов и во всевозможных костюмах. Одни загнаны по углам, неподвиж-

---

[1] Лонгэ (Шарль), член Коммуны (от 16-го округа). Во время осады выборный командир 248-го батальона (5-го округа).

[2] Рожар (Огюст), член Коммуны (не участвовал в заседаниях, уйдя в отставку сразу после выборов). Автор «Речей Лабиена» (1865).

[3] «Речи Лабиена» — политический памфлет, бичующий империю и династию Бонапартов. *(Прим. ред.).*

ные, с неописуемой скорбью на лицах. Другие проходят беглым шагом под конвоем солдат с примкнутыми штыками. Офицеры в походной форме, с револьверами у пояса, стоят, облокотившись о стену, или прохаживаются покуривая. В одном углу с возбуждением говорит о чем-то человек с трехцветной перевязью. Вокруг него трое-четверо солдат, из которых один фельдфебель; он, повидимому, отдает им приказания. Он указывает пальцем на группу деревьев, которая образует в конце двора как бы зеленую ограду. В этот момент я еще не знал, какое ужасное зрелище скрывает эта роковая ограда.

Справа раздается залп. Мне кажется, что стреляют совсем близко от меня, пожалуй в этих группах деревьев, только что мелькнувших перед моим взором. Я оборачиваюсь и вдруг чувствую удар по плечу рукой сильной и тяжелой, наверное той самой, которая схватила меня две минуты назад.

— Идем, идем! Не отставать...

Мы очутились оба в небольшой темной зале, где, кажется мне, творятся таинственные и жестокие дела. Мне не приходится долго напрягать зрение, чтобы запечатлеть в памяти никогда уже после не покидавшее меня видение ужаса и крови...

Ах! Вот он, этот военный суд, одно имя которого со времени поражения произносится не иначе как с ужасом. Я еще в передней. Это уже самая бойня и есть. По полу раскиданы развороченные узлы, из которых торчат одежда, оружие, бумаги...

Я стою, дожидаясь неизвестно чего. Малый с перевязью покинул нас. Он ничего не спросил ни у меня, ни у моего приятеля. Какого чорта схватил он нас за шиворот? Несомненно, нас никто не выдавал. Он не знает нас, ни одного, ни другого. Это ошибка, и конечно, как только мы назовем наши имена, — фальшивые, разумеется, — нам вернут свободу...

Я замечаю впереди моего молодца с перевязью; он идет назад. Он направляется к нам. Он один; другой, тоже с трехцветной лентой, присоединяется к нему. Они входят.

— Что ж, — говорю я себе, глядя на них, — с виду они не такие уж мерзавцы!

У одного из них даже добродушная веселая рожа с темной курчавой бородой и с большими черными глазами пуделя. Другой блондин с более жестким лицом, с закрученными усами, делающими его похожим на переодетого жандарма.

С этим жандармом я не стану разговаривать... Но с другим? Что если бы попробовать? Вот, как раз, он подходит, сам вступает в разговор:

— Что это у вас на рукаве?

— Повязка Женевской Конвенции.

— Это еще что такое? Не знаю такой повязки.

Для него, конечно, не существует другого знака, кроме того, который он гордо носит на рукаве своего черного сюртука, просторного, совершенно нового сюртука, придающего ему миролюбивый и благочестивый вид сектанта. Впрочем, слово Женева сбило его с толку. Я вижу это по нахмуренным бровям. Женева? Женева? Он, должно быть, не очень тверд в географии.

— Нет, в самом деле, что же это такое? — продолжает он.

— Это, — говорю я, вкладывая в мою фразу самое вкрадчивое выражение искренности,—это—и я старательно подчеркиваю слова, чтобы победить его сомнение, — это повязка Женевской Интернациональной Конвенции.

Ах, как же он подскочил, тот малый!

— Интернациональной! Интернациональной! — рычит он в бешенстве, чуть ли не с пеной у рта. — Ага! Ты из Интернационала! Ах, чорт возьми!

Он торжествующе оборачивается к жандармам, сидящим на скамьях и выражающим одобрение. И орет.

— Интернационал!

Я хочу возражать. Пытаюсь защищаться. Но как это сделать, увы!

— Но, гражданин, — говорю я кротко, — Интерн...

— Гражданин! Гражданин! Ах, чорт возьми! Это еще лучше... Не смей звать меня гражданином... или получишь подзатыльник.

И добродушный только что пес, внезапно взбесившись, здоровенным ударом своей широкой лапы усаживает меня на скамью, где я расплющиваюсь, побежденный, уничтоженный.

С гневным жестом малый с перевязью прибавляет:

— И смотрите за ним хорошенько. Должно быть хорош!

МЕЖДУ ДВУХ ЖАНДАРМОВ.

При этом замечании два жандарма отделяются от скамьи, на которой они образуют как бы большое синее пятно, усеянное блестящими точками — форменными пуговицами и эфесами сабель. Они подсаживаются ко мне вплотную, так что я чувствую их тучные тела, сжимающие меня как в тисках.

И я размышляю про себя:

«На этот раз я пропал. Минуту тому назад я еще мог выпутаться. Случайно захваченный на улице, без всяких улик, с моей наружностью молокососа, с едва намечающимися усиками, с видом отнюдь не инсургентским Кой чорт узнал бы меня! Теперь же

совсем другое дело. Я отмечен. Я назвал этого человека «гражданином». Я не могу быть кем-либо иным, как только опасным «преступником». Гражданин! В самом деле, что за дурную привычку приобрели мы за время осады. Чорт возьми! Что меня дернуло за язык... И подумать только, что моя жизнь оказалась поставленной на карту из-за одного только слова в три простых слога...»

Как выпутаться из этого положения?..

Уже около десяти часов. Я еще ничего не ел со вчерашнего дня. Вот добрых четыре часа, как я бегаю по улицам. И какие переживания! На мгновение я снова вижу перед собой труп федерата на баррикаде в улице Расина и разложенных в ряд поруганных покойников на площади Сен-Мишель.

Залп обрывает мои мечты...

Я рассматриваю прихожую, в которой я жду. Голая зала с грязно-серой панелью. По стенам скамьи. И на этих скамьях другие люди, арестованные как и я, как и я стиснутые с боков жандармами. Не слышно ни слова, ни вздоха.

В двух шагах мой друг А. Я почти завидую его судьбе. Он не упоминал «гражданина». Его выпустят, а меня оставят, меня совсем одного! Меня точно дрожь охватывает от зависти при мысли, что через час он может быть свободен. А где буду я?

Я принимаюсь обдумывать все, что могло бы помочь моему спасению.

Прежде всего я назовусь чужим именем. Каким же?

Вполне буржуазным, не возбуждающим никаких подозрений. И я думаю о имени одного товарища по школе — коллежу д'Этамп, где я начал свое ученье, — которое пришло мне на ум. Ланглуа. Я назвал себя Ланглуа. Если сохранились протоколы Люксембургского военного суда, там найдется это имя:

«Ланглуа, арестованный на улице Вожирар, в девять часов утра в четверг 25 мая. Допрошен в час. Отослан в хвост».

Ниже я об'ясню это выражение: «Отослан в хвост».

В Люксембургском военном суде это означало смерть.

МОИ ЧАСЫ.

Нет ли на мне чего-нибудь, что может меня выдать? Ведь меня будут обыскивать. Я восстанавливаю в памяти содержимое моих карманов. Карточки Коммуны я разорвал до выхода из особняка на улице Кювье. Других бумаг у меня нет. С этой стороны я спокоен. Вдруг, точно раскаленное железо, пронизывает меня мысль:

«Мои часы!.. Мои медные часы! В моем жилетном кармане!.. Так вот что меня выдаст, злосчастные часы...»

Неделю тому назад я купил карманные часы, дешевые, медные позолоченные часы, которые стоили мне всего девять франков. На внутренней крышке кончиком перочинного ножа я выцарапал мое имя, мой адрес и рядом — ужасная улика: редактор «Пер-Дюшена». Внизу: «Да здравствует Коммуна»... Это мой верный приговор...

Кто освободит меня от этих часов? С какой бы радостью я вырвал их из кармана! Как бы растоптал их ногами! Разбил на тысячу кусков!

Но я стиснут между моими двумя жандармами... Пленник, обреченный на неподвижность. Попробуйте-ка запустить руку в карман, вытащить эти часы? А куда их бросить? Их подняли бы. Прочитали бы предательскую надпись.

Тем не менее я медленно вытягиваю руку... Просовываю ее в мой карман... схватываю часы, зажимаю их в руке... Засовываю руку за спину... опускаю ее до скамьи... И с бьющимся сердцем медленно, тихо разжимаю ладонь. Часы выскальзывают... они упали... Я один услыхал легкий сухой стук... Никто даже не мигнул вокруг меня...

О! Славные, великолепные часы, которые я только что проклинал. Они не отомстили мне за то, что я, пожалуй, помял их золоченную скорлупку...

После того, как я освободился от часов, настроение у меня поднялось. В карманах нет ничего больше. Ага, теперь пусть он явится, главный прево [1]. Я скажу ему, что Ланглуа—мирный молодой студент, который нацепил на рукав повязку с женевским красным крестом только для того, чтобы спокойнее ходить по улицам, и который вовсе, ну вот нисколько, не причастен к Коммуне...

Я часто задавал себе вопрос и до сих пор задаю, рассказывая этот эпизод из моего пребывания в военном суде, — кто же нашел мои часы? Если бы нашедший принес их мне, я обещаю ему хорошее вознаграждение.

СОЦИАЛИЗМ.

Моя удача скоро показала свою обратную сторону.

Едва лишь я несколько успокоился и приободрился, как был возвращен к действительности появлением группы солдат, полицейских и арестованных, которая шумно ввалилась в зал.

Я насчитал с полдюжины несчастных, которых, вероятно, только что обчистили при обыске. Я еще вижу их перед собой.

[1] Прево (prévôt) — чрезвычайный военный судья-прокурор; превотальные суды — чрезвычайные военные суды (военно-полевые суды). *(Прим. ред.)*

Один крупный парень в штанах национальной гвардии, в одной сорочке. Его изможденный, усталый вид ясно говорил, что он дрался, потом вернулся в свою квартиру, а там был схвачен, вероятно по доносу одного из соседей. Двое молодых людей, две женщины, одна из них с ребенком на руках.

Они разместились вдоль стены. Двое полицейских сбросили на землю огромный узел и стали раскрывать его. Я увидел выпавшие книги. В моих заметках, написанных как только я ступил на гостеприимную землю Швейцарии, я нахожу заглавие одной из этих книг, скатившейся в мою сторону: «Социализм» Т. Бэнара, редактора «Века» [1].

Один из агентов поднял эту книгу. Он бросил свирепый взгляд на обоих юношей, у которых книга была захвачена.

Социализм!

Книга весьма безобидная, но ее обличающее заглавие, пожалуй, привело к расстрелу обоих пленников...

СВЯЩЕННИК.

Вошел поручик. А с ним полковой священник.

Никогда не забуду я этого священника. Высокий старик, с тонким профилем, нос с горбинкой, длинные вьющиеся волосы с проседью. Глубоко сидящие глаза блестели из-под выпуклой линии бровей. К рясе был приколот широкий крест Почетного Легиона.

К нему подошел полицейский:

— Господин духовник, может быть вы желали бы видеть господина прево. Он завтракает в двух шагах отсюда в ресторане Фуайо.

— Ага, — сказал священник.

Он уже собирался повернуть обратно, этот спокойный и твердый духовник Люксембурга, когда рывшийся в одном из развороченных посреди зала узлов полицейский вытащил оружие, одно из тех диковинных оружий, которые фанатики-патриоты фабриковали во время осады; нечто вроде гигантского рыболовного крючка, выкованного из штыка, с острыми клыками, заставлявшими одновременно и содрогаться и смеяться...

— Ах! Господин духовник, господин духовник, — воскликнул полицейский, потрясая крючком, — вот что эти негодяи хотели всадить нам в брюхо!

Священник улыбнулся. Было ли это одобрение или презрение к грубой выходке грубого сыщика, не знаю. Он вышел... Я видел, как он проходил через двор...

[1] Полное заглавие книги: «Социализм вчерашнего и сегодняшнего дня», Т. Н. Бэнар. Париж. Гильомэн. 1870.

ПРЕВО.

Маленькая зала снова погрузилась в молчание, прерываемое взрывами смеха и руганью полицейских. Время от времени прибывал новый арестованный и усаживался в линию на одной из скамеек. Слышались звуки выстрелов. Двухстворчатая дверь приотворилась. Я прислушался. Мольбы, протесты, рыданья... Дверь снова закрылась.

Одна из двух женщин, уже с час сидевших в углу на корточках, встала, хотела говорить. Что она сказала?

Я не мог разобрать. Она умоляла о чем-то. Полицейский оттолкнул ее. Мне кажется, что она просила воды. Она вернулась на покинутое место, снова уселась на полу и, расстегнув свой лиф, стала кормить ребенка. Малыш принялся сосать молча, без единого крика, счастливый среди этого ада.

Полдень. Раздаются двенадцать ударов Люксембургских башенных часов. Мне вспоминаются мои часы. Хочется поднять их, проверить время. Это дает мне проблеск веселости. Право, здорово же я их провел, моих двух жандармов. Впрочем, они дремлют, и я чувствую, как меня обдает облако спиртных паров.

Проходят два человека. Один из них, с кожаным портфелем подмышкой, в черных люстриновых манжетах, напоминает аккуратного чиновника. Они отворяют одну из дверей. Виднеются стол, стулья, окно с решеткой, выходящее на улицу Вожирар.

Во дворе сильное движение. Офицеры волнуются. Среди них один старший. Генерал. Я его узнаю по фотографии, выставлявшейся во всех витринах во время осады. Это генерал де-Сиссэ [1]. Жирный, низенький, седые волосы щеткой, он подтягивает свой пояс и, обернувшись, делает рукой знак входящей в двери группе.

Во главе этой группы офицер, как мне кажется, из жандармерии. Он отдает честь генералу.

К нему подходят четыре человека и окружают его, обнажив оружие. Группа направляется в нашу залу.

Едва она показалась на пороге, полицейские и жандармы вскакивают, словно поднятые пружиной.

— Эй! Встать! — кричит один из них, бросая на нас свирепый взгляд. — Встать!

И так как я остаюсь в своей мягкой шляпе, он орет:

— Шапки долой, вы, — куча сброду! Ну же! Шапки долой, чорт возьми! Ведь это господин прево!

---

[1] Сиссэ (Курто де), дивизионный генерал (1871), командующий 2-м корпусом версальской армии.

В ДВА РЯДА.

Прево прошел, высоко подняв голову, с сигарой во рту. Глаза всех инстинктивно обратились к нему. Опущенные на грудь головы сразу поднялись. Я успел заметить испуганные взгляды людей, пригнанных вместе со мной на бойню. Лязг штыков. Дюжина пехотинцев входит толкаясь. Они выстраиваются в ряд перед дверью в залу, которая, как я теперь знаю, была дверью в суд.

— Эй, вы, — закричал голос, принадлежавший опять-таки моему приятелю с перевязью, — двигайтесь!

Я видел, что двое или трое из моих товарищей направлялись к линии солдат. Я последовал за ними. Это был для меня второй этап проклятого дня.

Солдаты, опираясь на ружья, равнодушно посматривали на нас, то на одного, то на другого. А. был рядом со мной. На нас попрежнему красовались наши белые повязки с красным крестом.

— Знаешь, — сказал мне тихо А., — мы медики... студенты. Я назову имена своих профессоров, на случай, если бы вздумали навести справку.

— Да, — ответил я, — но я-то... я не студент-медик... Твои профессора меня не знают...

И почувствовал, что надежда улетучивается. Этот жандармский офицер, перед которым я должен был предстать, видимо, не дурак. Он сразу ясно увидит, что я не врач и даже не студент... И тогда? Тогда?

Солдаты сделали полоборота. Они направлялись с нами в зал суда.

Еще несколько шагов, и я должен был очутиться перед лицом трибунала.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ТРИБУНАЛА.

— Вот, капитан, те, кого мы задержали сегодня утром.

Все тот же человек с перевязью сопровождает нас. Это он только что обратился к прево. Я спокойно разглядываю этого прево. Описание, которое я здесь даю — точно. В этом я могу поклясться. Я записал все месяц спустя после того, как ускользнул от расстрела. Прево Люксембурга — тот по крайней мере, который исполнял эти обязанности в четверг 25 мая 1871 года, был человек лет сорока, высокого роста, с нафабренными белокурыми усами, голубыми глазами и начинающим лысеть черепом. На нем был мундир жандармского капитана и кепи с белой полоской. По

прошествии почти сорока лет я еще вижу его перед собой, как он пускает в потолок дым своей сигары, вытянув на эстраде, где стоял его стол, пару тщательно вычищенных кавалерийских сапог.

Минут пять прево рылся в бумагах, которые человек в черных люстриновых манжетах подкладывал ему, нашептывая ему время от времени несколько слов на ухо.

Вдруг он перевел взгляд на нашу группу и уставился на человека в блузе федерата с оборванными галунами и нашивками:

— Увести его!

После короткой паузы обратился к следующему:

— Ну, теперь вы... Где вас задержали?

— В улице Сен-Жак, сегодня утром.

— Ладно. Что вы делали во время Коммуны?

— Ничего не делал...

— Ничего? — продолжал прево. — Вы не работали? Понятно... Ну, уведите его.

Вот и весь допрос.

Или:

— Опорожните ваши карманы.

Подошли два полицейских. Один держал арестанта за руки, другой обыскивал его, выбрасывая на судейский стол все, что находил: ножик, ключ, бумажник или записную книжку, мелкие деньги или газету.

Этот судейский стол был завален самыми разнообразными предметами, лежавшими в хаотическом беспорядке. Два-три офицерских кепи федератов, револьверы, книги.

Я оглядывал залу. Она казалась мне окутанной каким-то туманом, позволявшим только смутно различать очертания предметов. За плечами солдат, по углам, у стен я увидел других арестованных, сидевших в ожидании на полу. Женщины, дети. У одного из малышей на голове кепи федерата. Повсюду кучи оружия, брошенного на пол или прислоненного к мебели.

САБЛЯ.

Вдруг туман, заволакивавший мое зрение, рассеялся. Я почувствовал, как судорожно сжалось мое сердце. Я сделал усилие, чтобы двинуться вперед, прорвать эту ограду из окружавших меня штыков. В трех шагах от меня в амбразуре окна я узнал ослепительно сверкавшую саблю командира и друга Гюстава Мэтра [1], с которым мы встретились накануне в Пантеоне.

[1] Мэтр (Гюстав), командир 205-го федерального батальона, позднее — командир батальона «Детей Пер-Дюшена».

— Это, без сомнения, сабля Мэтра, — сказал я себе. — Мы расстались с ним вчера около четырех часов. Вероятно, он был окружен вместе со своими людьми, когда он тратил свои последние патроны. Затем расстрелян у ближайшей стены... Кто-нибудь из солдат взял его саблю и принес сюда, как любопытный трофей, чтобы почтительно поднести ее одному из начальников, чего доброго, самому прево. Или же Мэтр был арестован, приведен сюда, обезоружен. Он прошел через эту самую залу, где я нахожусь в настоящую минуту, был уведен, как только что на моих глазах увели двоих, которых судили раньше меня.

Я не свожу глаз с сабли. Я изучаю ее в мельчайших подробностях. Мне хотелось бы убедиться, что это сабля кого-нибудь другого, сабля жандарма или кавалериста, убитого в сражении.

Но нет, это, без сомнения, сабля командира нашего батальона «Детей Пер-Дюшена». Это ее золоченый эфес, на котором гордо выступает крупный цветок лилии. Если бы я мог вытащить из ножен ее богато гравированный клинок, я бы дал прево прочесть девиз, начертанный крупными буквами: «Да здравствует король!».

Без сомнения, трудно было бы встретить две подобные сабли в двух, еще существовавших в тот момент, армиях. Найденная в один прекрасный день в шкафу во дворце Правосудия, где должно быть покоилась уже изрядное число лет, эта редкая сабля, украшавшая бедро лейб-гвардейца Людовика XVIII или Карла X, попала, наконец, чтобы кончить свой век, в казарму Ситэ против собора Нотр-Дам.

Однажды, когда мы с Вермешем [1] завтракали у офицеров батальона, я приметил в углу эту диковинную саблю, над которой мы много потешались. С тех пор Мэтр присвоил ее себе.

Я пришел к убеждению, что наш храбрый командир умер.

Только впоследствии я узнал истину.

Командир «Детей Пер-Дюшена» был жив. В первый день борьбы на улицах он передал саблю капитану своего штаба Самсону, старому солдату крымского и итальянских походов, которого я как сейчас вижу на дворе казармы блистающего рядом медалей на груди, — знаками его доблестной службы.

Самсон был схвачен при Круа-Руж и расстрелян.

А один из солдат, повидимому, завладел саблей и снес ее в превотальный суд Люксембурга.

---

1 Вермеш (Эжен), журналист и поэт, один из трех редакторов «Пер-Дюшена» (Вермеш, Эмбер, Вильом).

ДОПРОСЫ.

Вереницей тянулись осужденные. Я прислушивался к допросам. Всегда одинаково скорые и беспощадные.

— Вы были арестованы, — спрашивал капитан. — Где же?

— У себя. Сегодня ночью. Не знаю за что...

Прево поднимал глаза. Неизменно, без всяких об'яснений:

— Отведите его в хвост!

Или еще проще, бросая взгляд по направлению к двери, где стояли четыре солдата:

— В хвост!

Одну женщину толкнули к перилам этого ужасного судилища. То были наскоро установленные перила, — несколько свежих голых досок, на которых еще блестели гвозди. Женщина стояла перед прево выпрямившись. Она устремила на капитана свои широко открытые глаза:

— Господин офицер, — заговорила она первая, твердо, — меня арестовали на дому. Мне пришлось оставить своих двух детей одних. Я хотела бы знать, в чем меня обвиняют.

— Это жена инсургента, — прервал секретарь с люстриновыми рукавами, исполнявший роль заседателя.

И, перелистывая какие-то бумаги:

— Ведь вас зовут X. — (имя не осталось у меня в памяти), — и вы проживаете на улице Малебранш?

— Да, — ответила женщина.

— Где ваш муж? — продолжал секретарь.

— Я не знаю, — ответила женщина тише, — не знаю.

— Он сражался?

— Не знаю, сударь... Не знаю, — отвечала молодая женщина все тише и тише.

— Словом, вы его не видали эти последние дни?

Молодая женщина чувствовала, что нос все глубже впивается в рану. Прево не сводил с нее взгляда.

— Ну, признавайтесь, признавайтесь, — говорил секретарь.

— Я не знаю, — повторяла обвиняемая. — Я не знаю, вернулся ли он.

— Ну же! Скажите прямо, что он дрался, — продолжал тот хихикая.

Прево стряхивал пепел своей сигары.

Молодую женщину увели. Я видел, как она удалялась, конвоируемая солдатами. Пришла моя очередь облокотиться на перила.

В ХВОСТ!

— Это два студента, — сказал человек с трехцветной перевязью, державшийся около нас. — Я видел, что у них было что-то на рукаве. Это мне показалось подозрительным. И потом они, видимо, перепугались, когда я их остановил.

— Где вы их задержали? — спросил прево.

— Там, на улице Вожирар, против главного входа.

— Что вы имеете сказать? — продолжал прево. — Почему у вас эта повязка?

— Я врач, — ответил я. — Поэтому у меня и повязка международного общества помощи раненым. Я был врачом уже во время осады.

— А чьим же врачом являетесь вы теперь? Каких раненых вы лечите?

— Но... всяких, — ответил я несколько смущенный. — Я ухаживал за всеми во время сражения, за солдатами армии и за солдатами Коммуны.

— Вы не состоите врачом в армии?

— Нет... Но...

— Вы оставались в Париже при Коммуне?

— Да...

Прево наклонился к уху заседателя в манжетах. Они, казалось, с минуту совещались. И капитан обратился опять-таки к полицейским:

— Отведите его в хвост!

Двое полицейских подступили ко мне, провели через приемную залу, снова уже полную арестованных. Откуда только их брали? На дому или в соседней зале? Я снова увидал мужчин в блузах, женщин, детей, жандармов и солдат и этих вездесущих людей с трехцветной перевязью на руках, поставщиков великой бойни.

ОЖИДАЮЩИЕ.

Снова очутился я на дворе сената. Было около часу. Суматохи и шума стало еще больше, чем когда я проходил там в первый раз, после нашего ареста. Полураздетые солдаты, офицеры в походной форме, агенты с перевязью на рукаве, группы неизвестных жалкого вида, расположившиеся то здесь, то там, истощенные лица которых виднелись между ружейными козлами.

Мы свернули налево. Вдруг передо мной предстала незабываемая картина.

Между длинной стеной и краем рощи скопилась масса людей, окруженных солдатами.

При нашем приближении ряды разомкнулись и тотчас же сомкнулись за мной.

Это и было то, что прево называл «хвостом».

Я едва успел собраться с мыслями, как мерным шагом подошел взвод с ружьями на плечах. Четыре пехотинца остановились перед группой, быстро переговорили с конвоем, и я ясно услыхал в двух шагах от себя команду:

— Шестеро, выходите вперед!

Первые шесть человек вышли из рядов; они были сразу окружены солдатами взвода.

— Ну! — прорычал усатый великан, — ваша проклятая коммуна посадила-таки вас в лужу, как говорил ваш «Пер-Дюшен»...

Мне показалось, что человек бросил взгляд на меня... Узнан я, что ли?.. Но нет...

В ту же минуту подошел мой друг А., которого судили после меня. Группа раздалась. А. вошел в нее и стал рядом со мной.

— Эй! Эй! — закричал полицейский. — Раздайтесь. Надо же всем поместиться.

И он разразился хохотом.

РАЗМЫШЛЕНИЯ.

Мысль уйти из этого ада преследовала меня. Обыскать меня не подумали. При мне оставалось несколько сот франков.

Не предложить ли эти деньги?

Но кому? Человеку с перевязью?

Я тотчас же убедился в невозможности привести этот проект в исполнение.

Я толкнул А. локтем, сказал ему несколько слов. Что именно? Я уже не помню. Какие-нибудь последние излияния. Нам было, видимо, суждено умереть обоим. Может быть, друг подле друга, под пулями одного и того же взвода. Какая глупая смерть. В куче, вповалку, и никто не узнает даже моего имени! Ах, в тысячу раз лучше смерть на баррикаде! А то здесь, в Люксембурге...

И я вспоминал этот сад, где так часто прогуливался, музыку, на которую отправлялся по вечерам, старика сторожа, лицо которого как будто только что мелькнуло передо мной и которого я знал уже столько лет.

Полицейские продолжали ругаться. Я заметил, что из отдушин внизу стены вырывались крики, стоны.

Выстрелы вокруг нас раздавались все чаще и чаще.

— Ага! Пожарный! — закричал вдруг полицейский. — Ну, с этим разговор будет недолгий [1].

Он помолчал и прибавил:

— Мерзавцы Они подложили бы огонь под весь Париж, если бы им дать волю с их керосиновыми трубами...

Мне оставалось только заткнуть как можно лучше уши и молча ждать смерти, приближавшейся с каждым новым залпом взвода, исполнявшего приговоры.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ.

Я ждал своей очереди, когда увидел подходившего ко мне сержанта с усиками.

— Что вы здесь делаете? — сказал он резко. — Вы студент? Я так полагаю по вашей повязке...

До сих пор я не замечал заговорившего со мной молодого унтер-офицера. Если я и мог хоть на минуту подумать о бегстве из этого ада, то мысли мои обращались отнюдь не к солдатам. Тем менее к офицерам или унтер-офицерам, на которых я достаточно насмотрелся за бесконечные часы мучительного ожидания: в небрежно растегнутых мундирах они болтали и шутили без единого взгляда жалости в сторону этой несчастной толпы, от которой через каждые 10 минут приходилось отделять новую пачку для смерти.

Сержант продолжал:

— Но почему же вы здесь? Скажите...

Эта настойчивость поразила меня. Я сказал себе, что, может быть, как-никак, тут спасительный канат, за который я смогу ухватиться, только бы он попал мне в руки.

— Что я здесь делаю? — отвечал я. — Да, ей-богу, я и сам этого не знаю.

— Как? Вы этого не знаете... Но, но... Вы, значит, не видите, что происходит? Вы ничего не понимаете...

Я прекрасно понимал. С того момента, как я вышел из залы суда, я знал, что иду на смерть и что из всех окружающих меня, пожалуй, ни один не выйдет живым из этого Люксембургского сада.

— Но, — снова начал сержант, — вы значит не сознаете, что будете расстреляны?

---

[1] С момента вступления версальских войск пожарные, оставшиеся на службе у Коммуны, подвергались жесточайшим преследованиям. Этих несчастных обвиняли в том, что они усиливают пожары, наполняя свои трубы керосином.

Потом тише, почти касаясь моего лица, движением руки обведя весь этот страшный «хвост» приговоренных, он сказал:

— Все те, что здесь стоят...

Он указал взглядом на купы деревьев.

— Там, позади...

Потом схватил меня за плечо:

— Идем, идем отсюда.

Я схватил моего друга А. за руку, и таким образом сержант провел или, вернее, протащил нас через весь «хвост».

Остановились мы только уже у последнего ряда. Так прошли мы метров 20. Я подсчитал, что таких несчастных, как я, там было верных 2—3 сотни.

Когда мы перестали наконец двигаться, меня осенила внезапная мысль. Я был в безопасности по крайней мере на несколько часов. Две или три сотни приговоренных будут взяты раньше меня, пойдут и встанут под ружейные дула раньше меня. И я размышлял о том, что украл место в очереди и очистил его для одного бедняги, приблизив тем самым его последний час.

— Теперь, — сказал нам унтер-офицер, — до вечера вы в безопасности. Но вы мне еще не сказали, за что вы были арестованы.

ПЕРЕГОВОРЫ.

— Я ничего об этом не знаю, — отвечал я. — Мы проходили сегодня утром мимо ворот одного дома на улице Вожирар, а когда поравнялись с часовней, то двое людей задержали нас и препроводили сюда. Мы были допрошены одним капитаном. С тех пор мы ждем.

Я набрался храбрости:

— Послушайте-ка, сержант, если мы, по вашим словам, должны быть расстреляны... нет ли все-таки возможности уйти отсюда?

Унтер-офицер поднял голову. Мы разговаривали втроем довольно свободно, после того как отошли на несколько шагов от рокового хвоста.

— Уйти отсюда?.. Если вы студенты, я вижу одно только средство. Пожалуй, я попробую. На котором вы курсе?..

Отвечать пришлось моему другу А. Он действительно был студентом-медиком. Я уже упоминал, что он теперь служит врачом близ Парижа.

Он назвал своих профессоров.

— Я сам студент-медик, — прервал унтер-офицер. — Я вступил в армию в момент об'явления войны и продолжал службу в Версале. Ну-с, я пойду, повидаю главного врача. Расскажу ему, в чем

дело. Право, если я смогу вас вырвать отсюда, это будет большая удача. Главное, если бы я задержался, не давайте продвинуть себя вперед... оставайтесь все время в хвосте...

Сержант нас покинул. Мы проводили его глазами, пока он не скрылся за низенькой дверью, которая, как мне показалось, вела в приемный зал, где мы дожидались сегодня утром.

ТРЕВОГА.

Через час он возвратился обратно. Он сразу же подошел к нам.

— Досадно. Не нашел главного врача. Не знаю как быть дальше.

— Не смогли ли бы вы повидать какое-нибудь другое лицо? — сказал я на удачу.

— Пожалуй, — ответил унтер-офицер... — генерала. Он один смог бы рассмотреть это дело.

Но тут я сообразил, что генерал — это наверное Сиссэ. Ну, уж этот, конечно, ничего не сделает. Было совершенно бесполезно итти рассказывать ему наши злоключения. Какое могло быть дело Сиссэ до того, что два бедных студента были изловлены двумя шпиками, отведены в Люксембург и приговорены к расстрелу? И потом где его найти, этого Сиссэ? Впрочем, что касается лично меня, надежды не было никакой. Подробный допрос привел бы только к раскрытию моей настоящей личности.

— Но у нас есть более простой выход, — продолжал унтер-офицер. — Скажите мне еще раз, кто вас арестовал? В котором часу?

— Это были, — об'яснил я, — два «господина» в черных сюртуках с трехцветной перевязью на рукавах. Один толстый, большой, черный, курчавый. Другой белокурый, с усами...

— Так они еще здесь! Я только что встретил их в зале суда... Вы уверены, что это именно они?

Я сделал утвердительный жест.

— Отлично, иду туда. Если я вам сделаю оттуда знак, — и он указал мне на угол стены в начале «хвоста», — если я вас позову, подойдите...

И, прежде чем покинуть нас, он понизил голос до шопота:

— А при полицейских говорите мне «ты». Я вам двоюродный брат. Вас схватили случайно. Я вас узнал... Да, тыкайте мне. Знаете, ведь эти двое господ с перевязью мне не знакомы.

Мы прождали еще добрый час в невероятной тревоге. Повезет ли ему в его миссии? С главным доктором уже сорвалось. Что если оба шпика пошлют его к чорту?... И я припомнил, как утром один

из агентов определил меня, как «хорошую» добычу. Он, этот черный, курчавый, вспомнит, что я его назвал «гражданином»... Он припомнит мне это оскорбление... Потому что для него это было оскорбление и серьезное. Ведь пригрозил же он мне своим сапогом.

Мы все еще ждали. Под конец я уже перестал слышать выстрелы взвода. Между тем они раздавались ужасно близко от нас. Я приподнялся на цыпочки, чтобы взглянуть через головы моих товарищей. О, горестные лица, уже отмеченные печатью смерти. Поникшие головы... Глаза, уже не видящие ничего... Я увидал двор, все еще пестревший красными штанами солдат; а на самой середине двора, с серебрившимися на солнце длинными волосами на обнаженной голове, священника, жестокую улыбку которого я никогда не забуду. Чувство возмущения на минуту подступило мне к сердцу.

ВОН ИЗ АДА!

Не в силах оторваться, уставился я взглядом на тот угол стены, за которым, быть может, в эту самую минуту находился сержант, об'ясняя агентам наш арест, пытаясь спасти нас от неминуемого расстрела... И вдруг я увидел нашего унтер-офицера. Взгляд его был обращен на нас. Он сделал несколько шагов. За ним оба наши человека с перевязью. Те самые.

— Эй, вы там! — громко крикнул унтер-офицер, с жестом повелительного призыва, — идите-ка сюда...

Это — «идите-ка сюда» пронизало меня как пуля... Сюда! Вместо того, чтобы возвестить мне свободу, это «идите сюда», брошенное суровым тоном, не было ли для меня предвестником расправы? Потому, что я здесь обманул сержанта. Я не рассказал ему всех подробностей моего ареста, оказанного мне приема, определения данного мне агентом. Я не упомянул также об эпизоде с словом «гражданин»... Что если он переменил мнение? Если, благодаря собранным им дополнительным сведениям, он догадался, что я самый настоящий преступник... Что если он узнал, если он уже знает, кто я такой в действительности... что еще вчера я провел несколько часов после обеда с Риго [1]?

— Идите! Идите! Скорее... — кричал он.

Мы отделились от группы, чтобы присоединиться к тройке, которую образовывали во главе вереницы осужденных — сержант

[1] Риго (Рауль), член Коммуны, делегат при бывшей префектуре полиции. Генеральный прокурор Коммуны (с 27 апреля). Расстрелян на улице Гэ-Люссак (24 мая).

и двое полицейских. Все взгляды обратились на нас, взгляды сочувствия и зависти. Одни считали, что нас ждет свобода, другие— что расстрел.

Не говоря ни слова, трое людей быстро пересекли двор, направляясь к выходу на улицу Вожирар. Мы последовали за ними. Ни один офицер, ни один из штатских, которые в эти ужасные дни исполняли отвратительную обязанность поставщиков живого мяса для военных судов, не обернулся, чтобы спросить, куда мы идем.

Две минуты спустя после того, как мы оставили «хвост» осужденных, мы очутились на тротуаре улицы Вожирар, на том самом месте, где поутру нас остановили те двое людей, которые нас теперь сопровождали.

УМИЛЕНИЕ СЫЩИКА.

— Ну! — сказал мне вдруг сержант, — теперь, когда «ты» выбрался, надеюсь, ты уж не сунешь больше носа на улицу, чтобы тебя снова не взяли за шиворот. Да, на этот раз ты-таки удачно выпутался и твой товарищ тоже. А не случись я здесь, вы бы провели скверные четверть часика.

Я вспомнил, что на глазах у агентов я должен разыгрывать роль двоюродного брата.

Не без некоторого усилия ответил я со смехом, который должен был звучать немного фальшиво:

— Да, уж действительно, старина. Ах, дьявольщина, я тебе здорово обязан.

— Да, чорт возьми! — воскликнул толстый агент с шевелюрой черного пуделя, — бедные ребята! Чорт, подумать только, что без двоюродного братца вы были бы уже там... Да, чего вы хотите? В такие дни никого не узнаешь! И скольких же мы сцапали за ночь и сегодня... А все-таки, что бы сказали ваши родители, узнавши об этом?..

И агент приходил в умиление. Неисповедимы глубины человеческого сердца!

Этот человек, который со времени вступления версальских войск, наверное, привел на военный суд, на бойню, не одну сотню неизвестных без малейшего угрызения совести, разжалобился, чуть не плакал над судьбой двух юношей, которых совершенно не знал, родственников, как он думал, сержанта, неизвестного ему даже по имени.

За решетками раздался залп...

— Вы видите, — продолжал человек... — Ах, дети мои! Я все-таки доволен, что вытащили вас отсюда.

Он готов был обнять меня, этот малый с трехцветной перевязью.

— Да, да, — продолжал он. — Надо нам пойти выпить по стаканчику.

— Я только что хотел предложить...

— Нет, нет... платить буду я... До чего я хочу пить... Не имеешь даже времени сходить промочить горло.

Мы вошли, оба агента, сержант, А. и я в винный погребок, который и посейчас существует под вывеской «Комета 1811», на углу улиц Вожирар и Сервандони. О, как впиваюсь я взглядом, когда прохожу мимо, в этот кабачек, который вызывает во мне такие страшные воспоминания! Я ищу глазами круглый столик, за который мы уселись. Снова вижу я перед собой большие ворота здания сената, арестованных, которых вталкивают с грубой бранью конвойные солдаты. И до сих пор стоит в ушах раскатистый смех агента, такого веселого и вместе зловещего.

— Ах, дети мои! До чего же я доволен, что выручил вас оттуда. Однако, нам надо возвращаться. Идем, мне некогда.

И, озабоченный, обтирая усы, он побежал в военный суд. Прощаясь, он протянул мне руку. Что за рукопожатие! Я и сейчас еще содрогаюсь при мысли о нем.

Когда он послал нам последний привет, я заметил группу, шедшую по тротуару. Трое незнакомых мне мужчин и дама под густой вуалью. Мужчины не оглядывались, но дама под вуалью сделала удивленное движение, привлекшее мое внимание, и я увидел два глаза, блестевших за вуалью. Дама под вуалью — я и сейчас так думаю — была г-жа Сапиа [1], вдова батальонного командира, убитого 22 января на площади Городской Ратуши. Несколько дней тому назад, в воскресенье, день вступления версальцев, приглашенный Вальяном [2] к завтраку в министерство народного просвещения, я был ее соседом за столом.

И теперь она встречает меня здесь, между двумя агентами полиции и версальским сержантом и видит, как вся эта компания обменивается рукопожатиями!

УБЕЖИЩЕ.

Мы остались одни, А. и я, с нашим сержантом. Что нам оставалось делать? Или, вернее, что было делать мне, наиболее скомпрометированному?

[1] Сапиа (Теодор), командир 146-го батальона национальной гвардии во время осады. Тяжело раненный 22 января на площади Ратуши, умер по дороге в госпиталь Отель-Дье.

[2] Вальян (Эдуард), член Коммуны (от 8-го округа); делегат по народному просвещению (с 21 апреля). Позже депутат Парижа. Умер в 1915 году.

А., которого в сущности не преследовали, имел некоторые шансы найти приют, переждать пару недель и пробраться к себе в провинцию.

Но я? Сержант этот оставит меня тут на улице...

Что если бы я признался ему во всем? Что обманул его, что я настоящий инсургент? Если бы попросить его отвести меня в верное место?..

Что ж, начнем с того, что завяжем более тесное знакомство. И я решаюсь:

— Послушайте-ка, сержант, не ограничимся же мы этим гренадином, — мы хлебнули в погребке гренадину с сельтерской водой, — вы согласитесь отобедать с нами? Потому что, — прибавил я с насильственным смехом, — ведь у нас с девяти часов утра ничего во рту не было.

Мы направились к Одеону.

Сенат и прилегающие улицы походили на обширное поле сражения после победы. Мертвые валялись под открытым небом. Положительно, нельзя было сделать ни одного шага, чтобы не наткнуться на два или три трупа. Я насчитал их пять (насколько мне удалось это беглым взглядом) вдоль стены против ресторана Фуайо. Во всех окнах виднелись офицеры и солдаты.

Мы вошли в ресторан Мартен на улице Ротру, недалеко от площади Одеона.

Когда мы очутились за столом в отдельном кабинете, я рассказал пораженному сержанту нашу настоящую историю. Сказал ему, каким образом в момент этого разговора я был в неменьшей опасности, чем утром или накануне.

— Вы спасли мне шкуру, — говорил я ему, — не захотите же вы теперь отнять ее у меня.

— Нет, — ответил он мне, сперва несколько неуверенно, — нет... Но куда же вы денетесь? Вас ведь могут снова схватить ночью, при обыске... Не покидайте этого квартала... Если вас опять арестуют, то снова приведут в Люксембург. Тогда спросите меня...

И сержант сказал мне свое имя.

Мы покинули ресторан только с наступлением ночи. А. пошел своей дорогой. Сержант проводил меня до дверей дома, в котором я решил укрыться.

— Вы! Вы! — сказала дрожа приятельница, у которой я нашел приют. — Ах, я уж не думала увидеть вас когда-нибудь...

И приподняв угол оконной занавески, она указала мне на Коллеж-де-Франс, где всю ночь работали военные суды.

— Ах, еслиб вы могли их видеть отсюда!.. Сегодня утром, когда я вышла, у меня колени подгибались от ужаса... Там, там на углу улицы Монтань-Сент-Женевьев. Туда их водят расстреливать. Там их сейчас больше пятидесяти... Что за ужасная ночь!..

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ БОЙНЯ.

Через три дня после ужасного четверга 25 мая сержант явился проведать меня. Он вошел с протянутой рукой, сияя улыбкой.

— Итак, обыска у вас не было? А я с минуты на минуту ждал, что вас снова приведут в Люксембург. В военном суде, ей-богу, не зевают.

И он рассказал мне о ночах, проведенных им на дежурстве в приемном зале, который не пустовал ни одной минуты, и куда во всякое время приводили арестованных, захваченных при полицейских налетах.

— Обыски на каждом шагу, — продолжал он. — Весь квартал пройдет через это. Делается это так. Оцепляют группу домов. Затем обыскивают. И тогда берегитесь, если у вас есть что-нибудь подозрительное. Старые гвардейские штаны, кепи, пояс, манерка. При малейшем подозрении вас заставят выйти на улицу. А затем, смотря по настроению командующего офицера или даже солдат... Паф! Паф! к стенке!.. Если офицер славный малый или если он в состоянии сдерживать своих солдат, вас приводят в суд...

— И тогда?

— Тогда? Ну это тоже, как иногда. Или запихивают вас в погреб, где вы ждете до прибытия прево. Или, если народу слишком много, погреба опоражнивают, чтобы освободить место...

— А затем их отводят в Версаль?

— И да и нет. Это тоже зависит от тех, кто там командует. Иногда их отсылают в Военную школу. Я полагаю, что оттуда их направляют в Версаль [1]. В других случаях... в других случаях...

---

[1] Сержант ошибался. Те, кого отвели в Военную школу, были расстреляны во дворе самой школы или во дворе старой школы генерального штаба на улице Гренель. Вот, между прочим, один эпизод из этих мрачных дней. Он был мне недавно передан одним другом, родным сыном офицера, командовавшего в 1871 году в Военной школе. Рассказчику в эпоху Коммуны было пятнадцать лет.

«Жена одного местного коммерсанта пришла в слезах требовать своего мужа, арестованного за несколько часов перед тем. Он только что вышел — ответили женщине, когда она явилась на пост, устроенный в старой Школе, служившей главной квартирой. Это была правда. Несчастный только что вышел, но плашмя, в ручной тележке пекаря, с торчащими из-под спущенной покрышки ногами. Кровь текла сквозь щели дна. Человек был расстрелян в саду школы у старой стены, увитой плющем».

Другой случай, из того же источника, опять-таки имевший место в старой школе генерального штаба на улице Гренель.

«В один из дней майской недели, поутру, женщина, несущая на руках грудного младенца, узнает среди арестованных, которых вели на расстрел, своего мужа. Она бросается, хочет заговорить с ним. Удар прикладом отбрасывает ее на край тротуара, а ребенок катится в водосточную канаву».

— Ну?..

— Ну...

И сержант колебался...

— Ну, их ведут в сад, в ту сторону, где бассейн.

Тут сержант рассказал мне во всех подробностях ужасную резню, учиненную военным судом.

Со времени вступления войск расстреливали без передышки. Расстреливали за купами деревьев, зеленая листва которых казалась покрытой каплями крови. Там был простой взвод. По четыре в ряд против стены, против скамьи. И солдаты спокойно отходили, вновь заряжали ружья, проводя ладонью по запылившемуся дулу и оставляя мертвых на месте.

Расстреливали также вокруг большого бассейна, около каменного льва, возвышающегося над каменными лестницами, ведущими к большой аллее Обсерватории, вдоль левой баллюстрады [1].

— А что же делают со всеми этими мертвецами?

— Всех расстрелянных в четверг, день, когда вы там были,— ответил мне солдат, — убрали в следующую ночь. Были доставлены большие мебельные фургоны. Кажется, всех отвезли на Монпарнасс [2].

Я представил себе ужасную сцену. Груду мертвых, тех, что были расстреляны первыми, раздавленных тяжестью наваленных после них трупов, все это истерзанное, кровоточащее мясо на забрызганной кровью лужайке.

Сержант продолжал свой рассказ. Он описывал подробности бойни место за местом, взвод за взводом.

— И до сих пор расстреливают? — спросил я его.

Сержант уставился на меня удивленными глазами. Было, насколько я припоминаю, утро воскресенья, агония битвы.

— Конечно, — ответил он мне. — И не переставали с тех пор, как мы вошли в Париж. Ах! ничего-то вы не видали. Я лично увидел это в первый раз в Круа-Руж, где мы обходили баррикады низом улицы Ренн. Там расстреляли целую партию, преимущественно офицеров.

Внезапно снизу, под нами раздались крики. Сержант подошел к окну:

— Вот партия арестованных, — сказал он, не оборачиваясь.— Их ведут, без сомнения, в Люксембург.

---

[1] На этом месте, прислоненный к пьедесталу одного из каменных львов, был расстрелян утром 28 мая доктор Тони-Муалэн. Его единственным преступлением была принадлежность к муниципалитету 6-го округа (Сен-Сюльпис) в первые дни после 18 марта.

[2] Монпарнасс—название одного из кладбищ Парижа. *(Прим. ред.).*

Арестованных, которых вели из Коллеж-де-Франс, было около пятидесяти. Они шли между двумя рядами солдат. Весь этот народ шел ускоренным шагом. Я успел разглядеть обнаженные головы, руки прижатые к телу, лица бледные и убитые. Три женщины шли, держась под руки. Следом шла толпа, испуская яростные крики. И я отчетливо расслышал свирепый возглас:

— На смерть! На смерть! В Люксембург!

— Этак приводят каждые четверть часа, — сказал сержант.

— Но, в таком случае, — заметил я, — в Париже хватают и расстреливают уже не сотнями, а тысячами...

Солдат ничего не ответил.

СНОВА НА УЛИЦЕ.

Несколько дней спустя я опять виделся с сержантом. Он заговорил со мной, со смущенным, почти недоверчивым видом.

— Мне думается, вы бы хорошо сделали уехав отсюда, — сказал он, отводя меня в сторону. — У меня какое-то предчувствие, что здесь вы не в безопасности. В Люксембурге на меня косятся, точно я стал вдруг подозрителен. Я начинаю сомневаться в моих двух агентах с повязками... Вы никому не рассказывали свою историю?

Я ответил, что первый заинтересован в том, чтобы сохранить ее в тайне.

— А все-таки, — продолжал солдат, — я вам горячо советую поискать себе другое пристанище. И потом, видите ли, скоро и здесь начнутся обыски. Если вас снова заберут, на этот раз я уж ни за что не ручаюсь...

Я видел, что мой сержант не успокоился. Да и в самом деле, зачем хоть сколько-нибудь компрометировать этого славного малого, который спас меня от расстрела! Делать нечего, приходится дать тягу.

— Ну что ж, — сказал я, — это решено, я с вами согласен.

Мы расстались. Через час я очутился на мостовой. Я решил, что дойду до улицы Валь-де-Грас, где у меня был приятель. Он жил в доме в глубине большого сада. Конечно, там я буду спокоен.

Я направился к площади Сорбонны, поднимаясь по улице Сен-Жак. На перекрестке улицы Гэ-Люссак я подумал, что мое сердце не выдержит. Площадь была полна солдат стрелкового батальона, державших ружье у ноги. Образовались группы зрителей. В верхнем этаже одного дома я видел, как открывались окна, показывались головы, кепи, и выбрасывались на улицу какие-то предметы.

Солдат бросил ружье, зазвеневшее по камням. Шел обыск в доме рядом с грудой развалин. Вскоре открылись двери, и я увидел, как оттуда вышло с полдюжины людей, окруженных стрелками. Пожива для военного полевого суда или для Версаля.

Перекресток опустел. Я мог продолжать путь и добраться до своего убежища. Со встреченным мною приятелем мы провели день в саду, готовые удрать в открытую калитку, если бы явилась полиция.

Эти обыски! Кто сумеет когда-либо рассказать весь ужас, который они сеяли вокруг!

Куда деваться? К какому бы близкому родственнику вы ни обратились, каждый побоялся бы для самого себя отправки в Версаль. Предлоги к тому, чтобы оставить вас на улице, были многочисленны. Мне рассказывал один из сильно скомпрометированных моих друзей, что, придя однажды в благонадежную семью, он встретил другого товарища, уже раньше укрывшегося там. Его выпроводили вон, вновь прибывшего, — и не по вине семьи, а по настоянию первого беглеца, который сразу запротестовал:

— Нет, нет, тебя здесь не надо! Ты еще всех нас подведешь под расстрел.

Вечером я покинул сад, дававший мне лишь мало надежный приют. Бульвар Сен-Мишель безлюден.

На углах улиц караулы. — Кто идет? — Проходи!..—Наконец я у цели моего опасного перехода. Там наверху, под крышей горит свет. Я стучу. Дверь отворяется. Взбираюсь на шестой этаж. Восторженные излияния.

— Ты удачно попал, — говорит мне приятель. — Я здесь совсем спокоен. Дом уж был обыскан. Больше сюда не вернутся.

ДОНОСЫ.

Четыре стены комнатушки, в которой я нашел отдых и покой, представляли в сущности лишь относительную безопасность.

Правда, дом уже подвергся обыску и не приходилось бояться ловушки военного суда. Но приходилось еще опасаться доноса первого встречного, соседа, привратника, газетчика, всякого, кто мог бы заподозрить, что здесь скрывается инсургент.

Предательство стало всеобщим. Оно было так позорно и так подло, так огромно, так омерзительно, что сами военные власти, неумолимые даже в отношении самых мелких сошек из числа побежденных, возмутились против этой невероятной низости.

Начальники отдельных корпусов велели сжигать без разбору тысячи писем, получавшихся ими изо дня в день. Несколько доно-

счиков, из числа наиболее выделившихся, были вызваны в военный суд для об'яснений. Они самолично узрели машину для убийств и, перепуганные, удрали, боясь оказаться у той самой стены, у которой мечтали увидеть своего соседа, иногда кредитора, соперника в делах или в любви....

Недавно мне рассказывали по поводу этих доносов историю, не лишенную доли комизма.

Один парикмахер, который 4 сентября выставлял напоказ свое республиканское рвение и простирал его до того, что требовал ареста полицейского комиссара своего квартала, — после падения Коммуны почувствовал вдруг потребность проявить усердие.

Он доносил, доносил, доносил. Его видели повсюду при проходе партий арестованных, — он жестикулировал, требовал казней...

Как-то раз он заметил прохожего, вид которого показался ему подозрительным.

— Арестуйте его, — кричит он полицейскому, одному из любезных охранников майских дней, вооруженному шаспо [1] и револьвером, — арестуйте этого суб'екта. Он участвовал в Коммуне!

Блюститель порядка смотрит на нашего героя доносчика и вдруг берет его за шиворот:

— А вы-то сами, не заставили ли вы в свое время арестовать моего комиссара? Я вас узнал.

И парикмахера втолкнули в группу арестованных.

Он был отведен в Версаль, предстал перед военным судом и был приговорен к ссылке.

Малейшего указания бывало достаточно, чтобы подвести под подозрение. Среди этого страшного военного террора по-истине у страха глаза были велики.

— Эге! Что-то господин Б. со вчерашнего дня возвращается с припасами!

Или же:

— Однако, господин Б. покупает больно много газет! Он приносит их по два, по три раза в день.

Вывод:

— Он должен прятать у себя кого-нибудь постороннего, кого-нибудь, кто скрывается... кого-нибудь из Коммуны, пожалуй... Поглядеть бы?...

И вот швейцар или сосед поднимается, останавливается у дверей комнатушки и прислушивается. Он слышит разговор. Но говорят тихо... Вечером осторожно расспрашивают жильца. Идут снова

---

[1] Шаспо — система ружья, введенная во французской армии в конце Второй империи. *(Прим. ред.).*

подслушивать... Наверняка, кто-то есть... Этого достаточно, чтобы быть выданным, схваченным. И — марш в суд.

Один из моих друзей, сильно замешанный, был выдан таким образом из-за того, что каждое утро посылал купить с полдюжины газет. Это показалось подозрительным. Он был схвачен и отбыл восемь лет каторги.

Другой, запертый у своего друга, которого дела отзывали на целый день из дома, имел неосторожность курить через меру. Запах табаку, пробившийся наружу, выдал его. Он также был взят. Этот был счастливее предыдущего. За любовь к папироске ему пришлось поплатиться только ссылкой.

Мне, впрочем, не приходилось жаловаться на мое пребывание к комнатке. Единственной пыткой, какую я терпел за время моего вынужденного заточения, была та, которую доставлял мне сосед, с утра до вечера с жестокой настойчивостью игравший на флейте. Эта безжалостная флейта была моим кошмаром, и кошмаром тем более серьезным, что скотина привязался к этой несчастной Марсельезе, которую исторгал с редким упоением.

Марсельеза! Это ведь был почти мятежный гимн в те дни свирепой реакции!

Марсельеза! А вдруг какой-нибудь солдат вздумает подняться наверх, чтобы заставить замолчать неистового флейтиста, чего доброго, арестовать его, снова обыскать этот подозрительный шестой этаж! Право, я каждый день дрожал и бесился до тех пор, пока этот флейтист не откладывал свое орудие пытки. Тогда, в тишине осадного положения я слышал только мрачный оклик часового, стоявшего под моими окнами, за решеткой соседней церкви.

— Кто идет! Проваливай!

ПРОЧИЕ ВОЕННЫЕ СУДЫ.

Расстреливали не только в Люксембурге. Расстреливали на углах улиц, в проходах между домами, в воротах. Повсюду, где только находили стену, чтобы приставить к ней жертву.

Набережные Сены были свидетельницами жестоких избиений. У Нового моста расстреливали больше недели. После обеда «порядочные» люди отправлялись смотреть на убийства пленных, подобно тому, как раньше встречали их прибытие в Версале. Элегантные парочки шли на эту бойню, как на театральное представление.

В этой части левого берега, вмещающей округ Пантеона, действовало до полудюжины военных судов. Главная бойня была в Люксембурге. Но убивали и на Монетном дворе, и в Обсерватории, и

в училище Правоведения, и в Политехнической школе, где погиб Трейяр [1] — его жена на другой день принесла 40.000 франков, оставшихся в кассе Общественной Благотворительности, — в Пантеоне, куда отвели Милльера [2], чтобы убить его «на коленях». Расстреливали в Коллеж-де-Франс по приговорам прево, устроившегося в зале налево от главного входа. Расстреливали на рынке Мобер.

Шесть военных судов на один квартал. В каждом из них мертвые и мертвые. Люксембургский суд один приговорил более тысячи.

По мере своего продвижения вперед версальцы на каждом шагу устанавливали эти зловещие военные суды, вся обязанность которых сводилась к одному — убивать.

Разбор дела в счет не входил.

Вокруг больших боен — Люксембург, военная школа, казарма Лобо, Мазас, парк Монсо, Ла-Рокетт, Пер-Лашез, Бютт-Шомон и многих других — функционировали глухо, с меньшей помпой и блеском бесчисленные места убийства.

Можно ли верить после этого утверждениям Максима Дюкана [3], что убито было только шесть тысяч? В таком случае что же делали все эти военно-полевые суды, которые в течение восьми дней сочились кровью?

КАЗАРМА ЛОБО.

От сержанта, спасшего меня от смерти в Люксембурге, я узнал про ужасы казармы Лобо.

Эти ужасы стали легендарными.

— Там гораздо хуже, чем в Люксембурге, — говорил он мне.— Двор полон расстрелянных. Один посланный туда солдат вернулся с красными от крови сапогами. Их связывают за кисти рук пачками по пять или шесть человек и прикрепляют к стене веревками, продетыми в кольца для привязки лошадей. Затем их расстреливают и развязывают веревки... Иногда некоторые оказываются еще живыми. Их приканчивают... Никому не удается спастись. Пришлось бы волочить за собой целую связку трупов...

— Какой ад! Но у кого же хватает силы выполнять подобную работу?

---

[1] Трейяр, директор Управления Общественной Благотворительности (с 13 апреля). Арестованный на дому, после занятия 5-го округа (Пантеона), отправлен в Политехническую школу и там расстрелян.

[2] Милльер (Ж. Б.), избранный в Национальное Собрание (1871), расстрелян на ступенях Пантеона 26 мая. Капитан Гарсен, руководивший казнью, велел силой поставить Милльера на колени.

[3] Максим Дюкан, автор «Конвульсий Парижа», одной из самых реакционных «историй» Коммун, член Французской Академии.

Позднее я узнал, что в армии многим офицерам и солдатам претила подобная жестокость. Старшие офицеры восстали против этих зверских репрессий. Но безумие убийства охватило мозги, доведенные до белого каления битвой, пожарами, жаждой покончить с этим и отдохнуть наконец от долгих месяцев лишений.

Говорят еще, что эти страшные казни привязанных на веревке осужденных, эти ужасы, рядом с которыми репрессии прежних гражданских войн кажутся детской игрой, поручались исключительно дисциплинарным взводам. Я передаю лишь то, что слышал.

Когда я опубликовал впервые некоторые из этих воспоминаний, я получил множество свидетельских показаний от людей, переживших кровавые майские дни 1871 года. Вот показание одного из тех, кто мог видеть собственными глазами отвратительное зрелище казармы Лобо, на другой день после расстрела:

Бюсси-ле-Даур, 2 ноября 1891 года.

«...Я был национальным гвардейцем во время осады и продолжал свою службу во время Коммуны; я был свидетелем жестокостей, которые совершались во время кровавой недели и после.

Я принадлежал к 22-му батальону. Моя рота была вызвана, чтобы подбирать трупы расстрелянных в казарме Лобо. Это была настоящая свалка трупов. Нам пришлось засучить панталоны до колен, столько там было крови...».

ПРОЧИЕ УЖАСЫ.

Мой корреспондент сообщает другие подробности, не относящиеся к казарме Лобо, которые я все же привожу в качестве документа:

«В улице Нев-Сен-Мерри расстреляли по доносу соседа несчастного ребенка, бросавшего в водосточный люк патроны, которые могли скомпрометировать его отца и старших братьев.

Я видел, как расстреляли на ступенях Морга [1] несчастного, который решительно никакого отношения не имел к Коммуне.

По ложному доносу своего привратника он был арестован у себя за столом, отведен в Морг и расстрелян без суда.

Я видел из своего окна, как возвращалась проводившая его жена. Волосы у нее стояли дыбом, платье было запятнано кровью мужа; она проклинала негодяя, ложно обвинившего несчастного».

Подписал: *А. Бурдон, муниципальный советник.*

---

[1] Морг—покойницкая города Парижа. *(Прим. ред.).*

Казни на улицах ничем не уступают тем, что происходили в военных судах.

Когда Варлен приведен был на улицу Розье, окруженный толпой, забрасывавшей его камнями и плевавшей ему в лицо, генерал отдал приказ его расстрелять.

— Там за этой стеной, — говорит он.

Раздаются голоса:

— Пусть еще погуляет. Слишком рано...

И прогулка возобновляется.

Один член первого Центрального Комитета, Фронтье, подписавший знаменитую афишу о вступлении пруссаков (у меня имеется ее рукописный оригинал, отправленный в типографию Моррис), был ранен при входе войск и отвезен в госпиталь Сен-Мартен. Версальцы заставили его спуститься во двор. Он был расстрелян на носилках.

К СТЕНКЕ ГОДИЛЬОТОВ!

Всякий, носивший *годильоты,* расстреливался.

Годильоты была обувь, выданная национальной гвардии во время осады и называвшаяся так по имени фабриканта военной аммуниции, Алексиса Годильо.

Национальная гвардия был враг.

Правда, она геройски сражалась при Бюзенвале, где погибли Анри Реньо [1] и Густав Ламбер [2]. Армия — большая часть армии — тем не менее относилась к ней с ничем неоправдываемым презрением.

Один товарищ, Эмиль Жиффо [3], который был арестован и отведен в Версаль, рассказывал мне, что величайшим удовольствием капитана, допрашивавшего его больше недели, прежде чем отослать в военный суд, было — расспрашивать его по всякому поводу о пребывании его в национальной гвардии.

— А ну-ка! Бюзенвальский вояка! — грубо подшучивал над ним капитан.

Арестант должен был молчать, а капитан торжествовал.

— Да! Крышка бюзенвальским солдатам! На черта вы теперь,— баста!

---

[1] Реньо (Анри), живописец, автор «Саломеи», «Маршала», «Прима» и других картин, убит при Бюзенвале.

[2] Ламбер (Густав), исследователь, автор проекта путешествия на северный полюс, убит при Бюзенвале.

[3] Жиффо (Эмиль), комиссар при бывшей префектуре полиции, приговоренный к пожизненным каторжным работам.

Как только версальская армия вошла в Париж, она постаралась выместить свою злобу против ненавистной национальной гвардии.

Как распознавать национального гвардейца? Слишком было бы наивно хранить мундир. Но бедняки, — те, кого одели, обули, сохранившие еще следы своего пребывания в этом проклятом корпусе, легко дали схватить себя. Если на них уже не было платья, то была по крайней мере обувь. Предательские *годильоты*.

Каждый, носивший годильоты, подлежал аресту. Национальные гвардейцы Коммуны или первой осады, не все ли равно!

На эту тему я слыхал от одного из моих стариннейших друзей, Франсиса Приве [1], ужасный рассказ.

В понедельник, 29 мая, по утру — значит уже спустя сутки, как кончился бой — Франсис Приве, блуждая в поисках убежища, шел вдоль улицы Шароны. Вдруг он натыкается на сборище людей.

Перед лавкой угольщика дюжина арестованных ждала, вытянувшись в два ряда. Ни одного в форме. Все в плохих куртках и блузах, с которых были сорваны канты. В нескольких шагах от лавки солдаты с ружьями на перевес и молодой офицер с тросточкой в руках.

Приве приблизился на сколько было возможно. Эта тросточка оказалась шомполом.

— Эй! — кричит молодой офицер. — Все на ком годильоты, вперед.

Вперед—значило к витрине угольной лавочки.

Офицер повторяет свою команду, и так как опять никто не выходит из рядов, он сам проходит по фронту арестованных, ударяя несчастных по плечу своим шомполом.

— Эй, *годильоты*, к стенке!

Оцепленные солдатами, несчастные были оттеснены к витрине угольщика и тут же расстреляны в упор.

СВАЛКА ТРУПОВ В УЛИЦЕ ШАРОНН.

Двадцать тысяч мертвых. Вот итог военных судов и расстрелов на улицах. Мы уверены, что не преувеличиваем. Каждый удар заступом в предместьях Парижа обнаруживает скелеты, теперь уже высохшие, иной раз еще одетые в лохмотья мундиров, на корых уцелели пуговицы и следы галунов. Это расстрелянные в кровавую неделю мая, закопанные в ямы, вырытые на другой день после гекатомбы.

---

[1] Приве (Франсис), член муниципалитета 6-го округа (Сен-Сюльпис).

В январе 1897 года — приведу только один пример, их множество—посреди квартала Шаронн, видевшего последние судороги восстания, рабочие землекопы сделали жуткую находку.

Позади Пер-Лашез, недалеко от станции круговой железной дороги, существует старое запущенное кладбище, кладбище старинной церкви Сен-Жермен, относящейся к пятнадцатому веку. Решили пожертвовать частью этого кладбища, чтобы выкопать там водоем для Марны.

Заступ наткнулся на целый склад костей, скелеты были сложены сотнями.

Это уже не были отдельные мертвецы, подобранные после боя за баррикадой и спешно погребенные до разложения. Сюда сваливали целые телеги трупов. Их насчитали восемь сотен, вытянутых в ряды, плечом к плечу и покрытых клочьями мундиров с кепи федератов на головах.

Эту кошмарную выставку поспешили убрать. Была вырыта новая яма, примыкающая к стене церковного домика. Только несколько кольев отмечают [1] место последнего успокоения этих безвестных мертвецов.

КОЛОДЕЦ ФЕДЕРАТОВ.

Этот квартал Шаронн был одним из наиболее пострадавших в кровавой расправе, которая последовала за взятием предместий. Шаронн был взят в субботу майской недели. С обеих сторон бешенство борьбы достигло своего пароксизма. Пожары еще пылали. Накануне неподалеку были расстреляны заложники улицы Аксо. Все захваченные в плен пошли под расстрел. Долгое время жители этого околотка слышали по ночам треск митральез. Казнили массами, массами же и закапывали.

Неподалеку от площади Празднеств, пожалуй, еще существует вырытый некогда на пустырях колодец, с 1871 года известный в квартале под именем *Колодца Федератов*.

После массовых избиений туда побросали вперемежку и коммунаров и версальцев.

Г-н Шарль Бос, будучи муниципальным советником квартала, велел засыпать этот колодец. В 1898 году была еще видна его верхняя закраина, разделяющая две соседних усадьбы, номера 17 и 19 виллы Бокэ.

Огромные эшелоны федератов были расстреляны на старом сенном рынке Ла-Виллет, в улице Музайя.

---

[1] Эти строки были написаны непосредственно после посещения старого кладбища в Шаронне в марте 1897 года.

Пленников приводили туда толпами по улице Бельвилль или по улице Мо.

Один из моих друзей, отбывший восемь лет каторги, видел из окна дома, в котором скрывался, мрачные процессии. Раненые, вытащенные из госпиталей, были привязаны к двуколкам. На рынке их снимали и приканчивали из ружей.

ПОДСЧЕТ МЕРТВЫХ.

Максим Дюкан — официальный статистик этой страшной бойни, — подсчитывая эту гору трупов, определяет цифру убитых в шесть тысяч.

В списках кладбища Шаронн он насчитал сто тридцать четыре покойника. Но мы видели уже, что их было не сто тридцать четыре, а восемьсот.

Нет, не шесть тысяч расстрелянных составляет итог ужасной недели. Генерал Аппера признал, что их было семнадцать тысяч.

Двадцать тысяч, говорим мы. Может быть еще больше!

Кто узнает это когда-либо?

НЕМНОГО ПРАВДЫ О СМЕРТИ ЗАЛОЖНИКОВ.

АРХИЕПИСКОП.

(Среда, 24 мая.)

КАПИТАН БОФОР.

Среда, 24 мая, десять часов утра.

Коммуна, только что эвакуировавшая пылающую ратушу, заседает в зале бракосочетаний мерии одиннадцатого округа.

Площадь полна войск. Федераты, Тюркосы, Мстители, Сироты Коммуны, кавалерия, артиллерийские повозки, пушки сбились в кучу в страшном беспорядке.

У входа в мерию, на лестницах женщины шьют земляные мешки для баррикад.

Повсюду лихорадочная горячка, восклицания, слова команды, звуки рожков.

У подножия статуи Вольтера два члена Коммуны, судя по их красным шарфам с золотыми кистями, облокотились на решетку. Молча, с осунувшимися лицами, они смотрят на грозно жестикулирующую толпу.

Проносится вскачь артиллерийская повозка.

— Куда вы?

— В Пер-Лашез. Монмартр потерян. Мы будем стрелять по холмам.

— Повозка исчезает за углом улицы Ла-Рокетт.

Вдруг, со стороны бульвара Вольтера, возникает сильное движение. Машут руками, громко кричат:

— Смерть ему! Смерть ему!

Над головами фигура всадника в форме капитана генерального штаба, с золотыми аксельбантами на груди. Белая лошадь горячится. Сдернутый с нее офицер исчезает в толпе. Крики усиливаются.

— Смерть предателю!

Маркитантка в мундире с красным поясом, в расстегнутой куртке, с откинутой назад круглой шляпой, указывает пальцем

на офицера. Это маркитантка 66-го федерального батальона Лашез [1], она кричит во весь голос:

— Вот мерзавец, который устроил нам бойню!

Люди, окружающие Лашез, рассказывают своим соседям ужасную историю: первый акт развертывающейся драмы.

Офицер этот—граф Шарль де-Бофор, подписывавший свои приказы [2] чином капитана генерального штаба, секретаря генерала—военного министра.

Бывший сержант инфантерии, во время осады капитан одного из батальонов национальной гвардии предместья Сент-Антуан, близкий родственник члена Центрального Комитета Эдуарда Моро [3]. Он слонялся без дела в ратуше в поисках назначения или чина, когда встретил Клюзере [4], который довез его в своем экипаже до министерства.

Бофор там и остался.

Весьма элегантный, Бофор щеголял лакированными сапогами, блиставшими на лосинах безукоризненной белизны. Он принадлежал к штабу дворца Почетного Легиона, но лишь короткое время и без определенного круга обязанностей.

Бофор был храбр—при Нейи он находился рядом с Домбровским [5] — и в то же время он был изрядный кутила.

Однажды, когда он входил в министерство, часовой, гвардеец из 66-го батальона, найдя, что он слишком навеселе, загородил ему дорогу.

Взбешенный капитан генерального штаба накричал на часового и на собравшихся на шум федератов.

— Ага! Так вы из 66-го, — кричал им Бофор, удаляясь.— Я вам это припомню и обещаю, что разделаюсь с вами по-свойски.

За эти слова прекрасный капитан должен был поплатиться жизнью.

Через несколько дней после этого инцидента версальская армия вступила в Париж.

66-й батальон был послан на передовые позиции у церкви Мадлен, где уже гремел бой. Там он был разбит, оставив на мосто-

---

[1] Лашез (Маргарита Гиндер, по мужу Прево), оправданная в процессе архиепископа, осужденная (а затем помилованная) в процессе Бофора (19 июня 1872 года).

[2] Один из этих приказов, помеченный 7 апреля 1871 года, воспроизведен в «Автографе» (т. I, стр. 230). См. также «Официальную Газету Коммуны» от 17 апреля.

[3] Эдуард Моро, член Центрального Комитета, расстрелянный в казарме Лобо 25 мая.

[4] Клюзере (Гюстав), член Коммуны, военный делегат (с 4 апреля по 1 мая).

[5] Домбровский (Ярослав), генерал, командовавший первой армией (в Нейи), смертельно раненый 23 мая на баррикаде улицы Мирры и умерший в госпитале Ларибуазьер.

вой шестьдесят человек. Шестеро из батальона, окруженные и захваченные в плен, были расстреляны на глазах товарищей, укрепившихся несколько дальше.

В ночь на вторник, измученные, волоча своих раненых и захватив с собой трупы убитых, гвардейцы 66-го батальона добрались до одиннадцатого округа.

Все они были из этого округа, в мерии которого с утра заседала Коммуна: с улицы Ла-Рокетт, с бульвара Вольтера, с бульвара Менильмонтан, из всех людных улиц квартала. Во время осады у них был командиром Авриаль [1], выбранный в члены Коммуны, а знаменосцем— Жентон [2].

Этот Жентон был теперь наверху, в мерии, подле Ферре [3], который сделал из него неделю назад следователя.

Гвардейцы перебирали и обсуждали кровавые эпизоды боя у Мадлен.

— А ведь нас-таки отделали,—заявляет вдруг один гвардеец,— как обещал нам капитан. Помните, тот капитан, с которым мы повздорили...

И, вдруг, он появляется, этот самый капитан. Трагическая случайность бросила его в руки бойцов столь грубо оскорбленного им 66-го батальона!

Между тем ему должно было быть известно, что этот батальон расположился поблизости в той лавочке на улице Седен, где...

...Не успел Бофор ступить на землю, как его схватили, потащили, задавили в толпе. Его мундир в клочьях, золотые аксельбанты болтаются оборванные. Он с непокрытой головой. Пронеслось дуновение смерти. Бофора толкают к мерии. Женщины оставляют свои земляные мешки, чтобы присоединиться к группе, провожающей офицера до залы, где находятся члены Коммуны.

Смутный гул толпы долетает до Ферре, сидящего там, перед большим столом, покрытым зеленым сукном, с холодной непроницаемой маской на лице и глазами, сверкающими из-за стекол пенснэ.

Он прислушивается. Наклоняется к Жентону, сидящему рядом с ним. Тихо говорит ему несколько слов. Жентон встает.

— Пойдемте, — обращается он к тем, кто, повидимому, руководит толпой. — Мы будем его судить.

---

[1] Авриаль (Огюстен), член коммуны от 11-го округа, член Исполнительной Комиссии (с 11 апреля), член Военной Комиссии (с 22 апреля).

[2] Жентон (Гюстав), следователь, прикомандированный к прокурорскому надзору коммуны (с 15 мая), приговоренный к смерти в процессе архиепископа. Расстрелян в Сатори 30 апреля 1872 года.

[3] Ферре (Теофиль), член Коммуны (от 18-го округа), делегат Общественной Безопасности (с 14 мая). Расстрелян в Сатори 28 ноября 1871 года.

Внизу толпа все еще теснится.

Едва появился Бофор, как раздаются вопли и крики: «Смерть ему!».

Жентон машет рукой. Его красный шарф водворяет тишину в первых рядах.

— Граждане, — говорит он, — Коммуна решила, что капитан Бофор предстанет перед военным судом.

В эту самую минуту,—рассказывал мне очевидец,—к кладбищу Пер-Лашез, пересекая площадь, направлялась похоронная процессия с красным знаменем впереди. Следом шли гвардейцы с ружьями и женщины.

Это везли в общую могилу павших в бою.

Бофор все еще тут.

Раздается крик:

— Теперь его очередь!

Полевой суд располагается в канцелярии 66-го батальона в маленькой лавочке на улице Седен. Председательствует полковник Эмиль Гуа, тот самый Гуа [1], которого мы встретим в пятницу подготовляющим великую драму улицы Аксо. Рядом с ним Жентон и секретарь последнего Фортен [2].

— Мы не хотели приговаривать Бофора к смерти, — говорил мне потом Фортен. — Осталось недосказанным, что именно он виновен в поражении 66-го батальона у Мадлен. Мы, трое, решили между собой, что он будет разжалован, что с него снимут знаки отличия и капитанский мундир, а самого отведут на ближайшую баррикаду, которую он будет защищать вместе с другими. Так и было сказано людям, которым мы его передали.

— Если он будет плохо драться, расшибите ему голову, —прибавил один из нас.

Толпа обвиняла Бофора не только в поражении 66-го батальона, но еще в том, будто он играл роль шпиона на жаловании у версальцев. Бофор горячо возражал против последнего обвинения [3].

---

[1] Гуа (Эмиль), полковник генерального штаба, председатель военного трибунала (с 13 мая).

[2] Фортен (Эмиль), приговоренный к десяти годам каторжных работ по процессу архиепископа.

[3] Лиссагарэ (История Коммуны», изд. Дентю, стр. 552) приводит письмо за подписью Бофора, адресованное генералу Борелю, но оговаривается, что не сравнивал его почерка с почерком капитана Коммуны. Лиссагарэ, по-видимому, не знал о родстве между Бофором и Эдуардом Моро (членом Центрального Комитета национальной гвардии, расстрелянным версальцами 25 мая 1871 года).

Когда его расстреляли, при нем нашли незначительную сумму денег, триста франков. При нем не оказалось других документов, кроме приказов Коммуны и его капитанского удостоверения.

Едва Бофор появился на пороге лавки, где его только что судили, как гневные возгласы усиливаются:

— Его-то нам и нужно! Довольно ему предавать нас!

Минута трагическая. Развязка несомненна. Ищут Делеклюза, который появляется, встает на скамью, стараясь сделать слышным свой уже на половину угасший голос.

Фортен тоже хочет вмешаться. За ними и другие. Жентон говорит, пытается смягчить разбушевавшиеся страсти.

Напрасный труд! Бофор уже далеко от них, унесенный волной, сила которой теперь неодолима. Это смерть.

Один человек, следовавший за этой озверевшей толпой, видел Бофора вплоть до той минуты, когда он упал, чтобы больше уже не встать.

Блестящий капитан, который появился на площади, гарцуя и потряхивая золотыми аксельбантами, утратил человеческий образ. Лицо вспухло, мундир был покрыт грязью и плевками: его волочили на коленях...

Он достиг своей Голгофы. Деревянный забор, по левую сторону площади, которым огорожен дровяной двор.

Растерзанный, изуродованный, окровавленный Бофор, казалось, мог бы растрогать камни мостовой. Сделавшая на него донос маркитантка, та самая Лашез, которая громко требовала его смерти, в эту страшную минуту почувствовала, как смягчается ее женское сердце. Она бросается навстречу ружейным дулам.

— Ах! Не убивайте его! — кричит она в отчаянии. — Я не хочу, чтоб его убивали!

Тщетные и запоздалые мольбы. Толпа, ринувшаяся на Бофора, не могла бы уже остановить своего порыва. Ружья повернулись к капитану...

МАРКИТАНТКА ЛАШЕЗ.

В этом первом акте драмы, которой предстоит завершиться у подножия стены Ла-Рокетт, маркитантка 66-го батальона играет первую роль. Она доносит на Бофора. Ее голосу повинуются те, кто его арестуют и вскоре расстреляют.

Влияние, которое имела на людей 66-го батальона маркитантка Лашез, станет понятным из следующих двух документов, взятых из газеты Валлэса «Крик Народа».

В номере от 8 апреля 1871 года после проигранного дела на равнине Шатильон, где был взят в плен Дюваль [1], появилась заметка следующего содержания:

«Маркитантка 66-го батальона, гражданка Лашез, смелая и бесстрашная женщина. Она заслужила признательность Парижа, и мы счастливы об'явить ей об этом.

Эта храбрая дочь народа три дня подряд неустанно сражается в шатильонской равнине, успевая в то же время подавать первую помощь тем, которые падают, сраженные пулями версальских жандармов. Она одновременно и солдат и хирург.

Храбрая женщина! Кровь львицы течет в ее жилах».

А в номере от 11 апреля «Крик Народа» напечатано следующее письмо, адресованное Коммуне 66-м батальоном, к которому принадлежала Лашез:

«Гражданам членам Парижской Коммуны.
Граждане!

Нижеподписавшиеся граждане, принадлежащие к 66-му батальону национальной гвардии Парижа, заявляют, что Маргарита Гиндер, по мужу Лашез, маркитантка названного батальона, проживающая в доме № 65 по улице Седен, в бою при Медоне 3-го числа текущего месяца держала себя выше всякой похвалы и проявила величайшее мужество, оставаясь весь день на поле сражения, под градом картечи, поднимая и перевязывая раненых, при полном отсутствии медицинского персонала.

В виду чего, граждане члены Коммуны, мы обращаем ваше внимание на эти поступки, чтобы воздать должное отваге и самопожертвованию этой гражданки-республиканки, каких мало. Привет и братство».

(Следуют подписи гвардейцев 66-го батальона).

Мы еще встретим маркитантку 66-го батальона у ворот тюрьмы Ла-Рокетт, где она тщетно будет пытаться остановить людей своего батальона, присоединившихся к карательному взводу.

ШЕСТЬ РАССТРЕЛЯННЫХ—ШЕСТЬ ЗАЛОЖНИКОВ.

В котором именно часу был казнен капитан Бофор во вторник 24 мая? Трудно с точностью установить эту подробность [2]. И без того не легко связывать эпизоды, которые узнаешь из уст

---

[1] Дюваль (Эмиль-Виктор), член Коммуны (от 13-го округа), расстрелянный 4 апреля в Малом Бисетре по приказу генерала Винуа.

[2] После опубликования этого рассказа в газете „Aurore“ (в мае 1902 года) я получил от своего старого друга и товарища по изгнанию Гуйе, члена

отдельных очевидцев, и составлять из них связный рассказ, который был бы правдой или хотя бы частью правды.

В котором именно часу толпа, не удовлетворенная расстрелом одного человека, стала думать о новых репрессиях?

Что произошло за короткий промежуток времени в душе этой отчаявшейся массы, которую поражение замыкало в кольцо, все более и более суживавшееся?

С каждым часом приходят все новые и новые мрачные вести. Беглецы с левого берега приносят рассказ об атаке Пантеона, из которого явствует, что он будет занят почти без боя. В июне 1848 года его бронзовые ворота пришлось громить ядрами.

Около четырех часов дня Пер-Лашез начинает палить. В то же время трехцветное знамя развевается на возвышенности св. Женевьевы. Это хуже, чем поражение. Это — разгром, предвестник приближающихся репрессий, массовых расстрелов, военно-полевых судов и их ужасов.

— Подайте нам заложников! — кричит голос из толпы, которому вторят и другие голоса:

— Нам нужны заложники! Пусть выполняют декрет!

Закон о заложниках, принятый 5 апреля в Ратуше, ни разу не был применен. В поводах, конечно, не было недостатка. Но начатые с Версалем переговоры об обмене архиепископа на Бланки

Центрального Комитета 18 марта, старого июльского бойца, тогда (в 1907 году) уже восьмидесятилетнего старика, кончившего свои дни в муниципальном убежище в Бревэнне, следующую записку:

«... Я видел вблизи,—писал мне Гуйе,—дело капитана Бофора. Вместе с его двоюродным братом, нашим несчастным товарищем, Эдуардом Моро, и Годье я находился у дверей военного суда (военно-полевой суд на улице Седен) и узнал от Моро, который только что вышел оттуда, что Бофор погиб. Я был известен в 11-м округе и очень близок с Жентоном. Мне захотелось во что бы то ни стало проникнуть в залу, чтобы попытаться выручить Бофора. Но Моро оттащил меня, и мы все вместе отправились отыскивать Грелье, которому мы назначили свиданье для обсуждения интендантских дел у одного из его братьев, жившего неподалеку. Там мы и услыхали выстрелы».

Записка Гуйе подтверждает, что Бофор был родственником Эдуарда Моро. Известно, что Эдуард Моро был одним из активнейших членов Центрального Комитета. Именно ему было поручено редактирование прокламаций к парижскому населению после победы 18 марта.

Арестованный в четверг 25 мая и препровожденный в военный суд в Шатле, Эдуард Моро был расстрелян в казарме Лобо.

Родством между Эдуардом Моро и Бофором об'ясняется участие последнего в Коммуне и разрушается легенда о шпионстве, незаслуженно запятнавшая память капитана, расстрелянного на площади Вольтера.

Годье и Грелье, о которых упоминается выше, принадлежали, как и Эдуард Моро и Гуйе, к Центральному Комитету.

сделали то, что, несмотря на повторные убийства пленных федератов, декрет не приводился в исполнение [1].

— Заложников! Заложников!

Лозунг крови облетел толпу. Ла-Рокетт ведь под боком, всего в ста шагах. Роковое соседство. Уже два дня, как узники Мазаса были переведены туда. Архиепископ, кюре из церкви Мадлен, председатель суда Бонжан, священники, иезуиты, городовые и парижские гвардейцы, не считая банкира Жеккера [2].

Делегаты, выделенные толпой, входят в мерию, просят, требуют выполнения декрета [3].

Их встречает Ферре, который все еще там со своим следователем Жентоном и секретарем последнего Фортеном. Он подписывает приказ о казни [4] шести заложников, не обозначив, однако, их имен. Приказ адресован директору тюрьмы Ла-Рокетт, Франсуа.

Бумага вручена Фортену, который возвращается на площадь вместе с делегатом от толпы.

На нем красный шарф, надетый крест на крест, и сабля на боку. Эта сабля — сейчас она сыграет свою роль—собственная сабля Ферре, давшего ее третьего дня Фортену во время посещения обоими для из'ятия важных бумаг крохотной комнаты Ферре на улице Дофина. Фортен вскочил на скамейку.

— Кто пойдет со мной? — кричит он. — Вот приказ расстрелять шесть заложников — в ответ на расстрел у Мадлен шести человек из 66-го батальона.

---

[1] «Обвинительное жюри» долго не созывалось, в ожидании мирного исхода борьбы, и заседало первый раз лишь 19 мая. Смотри об этом беседу Рауля Риго со старшиной парижских адвокатов Руссом, защитником Гюстава Шодэ (одного из заложников Коммуны, казненного 23 мая), приведенную в книге Эдмона де-Прессансэ «Уроки 18 марта», на стр. 157. *(Прим. ред.)*

[2] Заложники, доставленные в Ла-Рокетт в понедельник вечером, были заперты в камеры 4-го отделения (в первый этаж западного корпуса). Заложники, доставленные во вторник, были заключены в камеры 3-го отделения (первый этаж восточного корпуса). Во втором этаже находились члены Парижской гвардии, жандармерии и полиции.

[3] Декрет 5 апреля 1871 года гласил: «Каждая казнь военнопленного или сторонника законного правительства Парижской Коммуны будет иметь немедленным последствием казнь тройного числа заложников, задержанных по обвинительному акту, которые будут назначены для этого по жребию».

[4] По поводу этого приказа и того, что последует, ошибки Максима Дюкана прямо неисчислимы. Казнь заложников, по его словам, была решена военным судом, где заседал Жентон, какой-то «гнусный» старик и «пьяный» офицер-федерат («Convulsions», т. 1, стр. 260, 8-е изд.). Этот военный суд указал на архиепископа (стр. 261). *Жентон* составил список, с архиепископом во главе (стр. 263). *Межи* отправляется в канцелярию тюрьмы с этим списком (стр. 264). *Ферре* посылает Сикара в Ла-Рокетт. Наконец, *Жентон* скомандовал залп (стр. 270)... Что ни утверждение, то ошибка. Мы здесь отмечаем только некоторые из них.

— Все! Все! — отвечает толпа.

Впереди всех пожарный в каске. Он будет стрелять первый...

— Я! Я! — кричит он. — Они убили моего брата!

В короткое время Фортен окружен шестью десятками людей. Две трети из них принадлежат к 66-му батальону.

Бегом устремляются они к тюрьме.

У входа в аллею Гильотины они встречают свою маркитантку Лашез. Она их расталкивает.

— Вы не пойдете! — кричит она им. — Или вы будете просто убийцы!

Но они уже подошли. Железные ворота, которые ведут во двор, закрыты.

По одиночке проходят они через будку привратника с левой стороны [1].

Там стоят ружья в козлах. Пожарный торопливо отцепляет ружье, проверяя на ходу, заряжено ли оно. Таким путем все спускаются во двор.

Фортен входит в канцелярию и подает сидящему там Франсуа [2] приказ за подписью Ферре.

Франсуа бледнеет. Руки его дрожат. Он наверное не предвидел такой тяжкой ответственности.

— Шесть! Шесть! — повторяет он. — Кого же? Почему Ферре не указал имен?

И он идет к ящику за листками. На этих листках были записаны имена заложников, переведенных третьего дня из Мазаса в Ла-Рокетт.

Франсуа бросает взгляд на эти листки. Он колеблется, не решается выбирать. Наконец пять имен, взятых среди первых в списке, он прочитывает вслух перед Фортеном, к которому тем временем подошли человек двенадцать федератов с пожарным впереди.

— Дегерри... Бонжан... Аллар... Клерк... Дюкудрэ [3]...

Франсуа останавливается.

— Нужно шесть! — говорит кто-то.

Франсуа называет шестое имя. (Я напрасно пытался потом узнать это имя).

---

[1] Ла-Рокетт более не существует. Те, кто захотят проследить все этапы этого рассказа, могут обратиться к фотографиям, снятым перед разрушением тюрьмы в 1900 году. Они находятся в музее Карнавала.

[2] Франсуа (Ж. Б.), директор тюрьмы Ла-Рокетт, приговорен: к пожизненным каторжным работам по процессу архиепископа; к смерти по делу улицы Аксо; расстрелян в Сатори 24 июля 1871 года.

[3] Дегерри, священник церкви Маллен, арестованный 4 апреля. Бонжан, бывший председатель кассационного суда, арестованный 21 марта. Отцы Клерк и Дюкудрэ, арестованные 4 апреля в доме иезуитов на улице Ломон. Отец Аллар, лазаретный священник, арестованный 5 апреля. Смотри интересную статью Люсьена Декава в «Фигаро» от 26 июня 1907 года об отце Алларе.

Шесть человек намечены. Франсуа поспешно заполняет лист бумаги с видом человека, избавившегося наконец от кошмара. Фортен и те, что вошли за ним в канцелярию, выходят к ожидающему их во дворе отряду. Торопливо бросают толпе шесть имен. Дело решено. Остается привести узников из их камер, как вдруг раздается голос:

— А архиепископ?

Его нет в числе шести.

— Архиепископа! Подайте нам архиепископа! [1].

МЫ ТРЕБУЕМ АРХИЕПИСКОПА.

— Послушай, дай мне архиепископа и вычеркни шестого, — обращается Фортен к Франсуа.

— У меня нет на это приказа. Я не выдам его без особого распоряжения.

— Вернемся в мерию, — кричат люди из взвода. — Ферре подпишет приказ.

Что они имели против архиепископа, эти люди?

Далекий от мысли бороться с Коммуной, прелат употребил все свое влияние на то, чтобы облегчить дело обмена Бланки, арестованного 17 марта, на известное число заложников. По впечатлениям Бенжамена Флотта [2] (несколько раз видевшего прелата в его камере в Мазасе), которыми он со мной поделился — архиепископ был возмущен жестокостями версальцев.

— Он славный человек, этот Дарбуа, — говорил мне Флотт.

Что они имеют против архиепископа, эти люди? Они ничего о нем не знают. Но такова уже, видно, традиция.

Аффр [3] смертельно ранен на июньских баррикадах, Сибур [4] убит... священником. Какой-то рок тяготеет над парижскими архиепископами.

---

[1] Архиепископ Дарбуа был арестован 4 апреля и препровожден в Мазас одновременно со своим викарием Лагардом.

[2] Флотт (Бенжамен), приговоренный к пяти годам заключения по делу 15 мая 1848 года. Раулем Риго на него возложена была миссия в Версале в связи с переговорами об обмене заложников на заключенного Бланки (см. его брошюру «Бланки и заложники»).

[3] Аффр (Дени-Огюст), архиепископ парижский, смертельно раненый на баррикаде предместья Сент-Антуан 25 июня 1848 года.

[4] Сибур (Огюст), архиепископ парижский, заместитель Аффра. Убит в Сент-Этьен-дю-Мон отлученным священником, Верже. Именно Сибур служил в соборе Парижской Богоматери знаменитое новогоднее «Te Deum» в 1852 году, внушившее Виктору Гюго следующие гневные строки «Возмездий»:

«Священник, твоя обедня—отголосок пальбы и расстрелов, святотатственное богохульство».

У архиепископа Дарбуа было предчувствие ожидавшей его жестокой и, должен сказать, незаслуженной смерти.

Он был главным викарием Сибура. Он работал также под началом Аффра. Об этом с болезненной настойчивостью напоминал он тем, кто посещал его в его камере.

— Я умру, как монсиньор Аффр, — говорил он Флотту, этому славному Флотту, который и сам был не мало взволнован... — Умру с его крестом на груди.

И архиепископ показывал пастырский крест, полученный им от прелата, прежнего своего учителя.

Решусь ли я признаться здесь, что смерть архиепископа, как бы мало ни падала на меня ответственность за нее, оставила во мне если не угрызение, то все же затаенное чувство горечи?

Я не могу без проклятия по адресу людской несправедливости вспоминать, что мы расстреляли того, кто столько сделал для Бланки, — нашего учителя, нашего кумира и нашей надежды, — и сделал это без всякой задней мысли спасти свое собственное существование.

— Поверьте мне, — говорил он Флотту, рассказавшему мне об этом в тот же вечер после одного из своих посещений Мазаса,— поверьте мне, вы ничего не добьетесь у Тьера. Помочь спастись мне! Но вы не знаете, вы не можете знать, какой ненавистью преследуют меня даже здесь, в тюрьме, те, с кем я боролся всю жизнь [1]...

Не сомневаясь в ожидавшей его трагической участи, архиепископ тем не менее писал в Версаль все письма, какие только могли быть полезны для затеянного Флоттом дела освобождения Бланки.

До утра в среду на майской неделе в моем распоряжении были оригиналы всех этих писем, переписанных рукою самого прелата.

Эти ценные автографы были переданы архиепископом Флотту для опубликования в «Официальной Газете» Коммуны отчета о начатых переговорах с Версалем. Я рассказал о них за своей подписью в номере от 27 апреля 1871 года. Ясно, что я не отдал в набор доверенные мне ценные оригиналы.

За несколько часов до атаки Пантеона я побежал к Флотту, жившему на улице Юшетт. Его сношения с Тьером гарантировали его от всяких преследований. Я доверил ему письма архиепископа, чтобы он сохранил их для меня до более спокойных дней.

---

[1] Здесь монсиньор намекает на известные свои трения с Римом (Дарбуа был галликанцем, т. е. сторонником независимости французской церкви от «святейшего престола»). (*Прим. ред.*).

На другой день я был арестован. Мы больше не виделись с Флоттом, который уехал в Америку, затем вернулся во Францию и умер в своем родном краю, в Варе.

Не знаю, в чьих руках в настоящее время находятся письма прелата, расстрелянного в Ла-Рокетт.

И В ТОМ ЧИСЛЕ АРХИЕПИСКОПА!

Итак, Фортен вернулся в мерию. Он сообщил Ферре о требовании людей, оставшихся в тюрьме.

Ферре, не говоря ни слова, взял из рук Фортена уже подписанный им приказ о казни шести заложников *без указания имен* и своим ровным почерком бывшего клерка прибавил внизу наискось следующее примечание, окончательный смертный приговор прелату:

— *И в том числе архиепископа.*

Фортен быстро спустился обратно по ступенькам, перебежал площадь и улицу Ла-Рокетт и вошел в тюрьму вместе с Жентоном, который сопровождал его к Ферре, и с офицером федеральных войск по имени Бенжамен Сикар [1].

Жентон и Фортен встретили Сикара на углу улицы Ядер.

Бенжамен Сикар был в форме офицера генерального штаба. Официальное звание, которым он подписывал свои приказы, было: «капитан генерального штаба, прикомандированный к полковнику, командующему бывшей префектурой полиции» [2].

— Куда это вы идете? — закричал им издали, как только их увидел, Сикар, знавший Жентона и Фортена с давних пор.

— Расстреливать заложников, — ответил Фортен, размахивая приказом Ферре.

И заметив, что Сикар в полной форме и весь в нашивках, прибавил:

— Пойдем с нами! Ты скомандуешь: «пли»!

— Но, — заметил Сикар, проводя рукой по поясу, — у меня нет при себе сабли!

— У тебе одолжу свою, — ответил Фортен.

Все трое переступили порог тюрьмы и вошли в канцелярию.

Франсуа взял приказ с отметкой Ферре.

Судьба архиепископа была решена.

---

[1] Сикар (Бенжамен), капитан генерального штаба при префектуре полиции. Арестованный после майской недели, умер в госпитале в Версале.

[2] Полковником, командующим бывшей полицейской префектурой, был Шардон (Ж. Б.), член Коммуны от 13-го округа.

ИХ ВЕДУТ!

В тюрьме, уже упраздненной, пустынной, темной и мрачной, как каменный гроб, я прошел впоследствии весь путь, по которому следовало шесть приговоренных, от коридора камер первого этажа, где они были заключены, до стены, у подножия которой их уложили пули карательного взвода.

Камера архиепископа была предпоследняя направо по коридору. Она помечена № 23, последняя же номера не имела. Там еще сохранилась железная койка с тощим соломенным тюфяком, пропитанным пылью и из'еденным червями. Пол — в щелях. На этой жалкой соломенной подстилке покоился парижский архиепископ, перед тем как спуститься в сопровождении пяти своих товарищей по темной и узкой каменной винтовой лестнице (запасной), ведущей во двор, называемый лазаретным.

Спускались в надвигающемся сумраке—дело было между половиной восьмого и восемью часами—среди криков, лязга ружей, отголосков боя, гула пушек, гремевших совсем близко у Пер-Лашез.

Процессия заложников и вооруженных людей углубилась в галлерею, идущую вдоль правой стороны двора. Люди проверили здесь, хорошо ли заряжены их ружья. Потом снова пустились в путь и остановились перед крепко запертой на засовы дверью.

Она открылась. Узкая решетка из массивных брусьев — я насчитал их семь — повернулась на петлях. Отверстие дает проход не более чем двум лицам сразу. Надо спуститься еще на пять ступенек, прежде чем поставить ногу на плиты первого круга [1].

Архиепископ держался за железные перила, идущие по одной стороне крутой лестницы. За ним шли остальные пять заложников.

Внизу, около садика, служившего огородом для тюремных надзирателей, ждали вооруженные люди.

У прелата на пальце блестел пастырский перстень архиепископа Сибура, а на груди, выступая из-под брыжжей, сверкал крест, данный ему другим его учителем, архиепископом, погибшим в июне 1848 года.

Сикар, находившийся внизу с Жентоном и Фортеном, дал приказ оцепить узников.

---

[1] Этот путь заложников можно проследить по четырем фотографиям, снятым после Коммуны, и по имеющимся у меня экземплярам, воспроизведенным в «Осаде, нашествии и Коммуне» Армана Дайо. Конечно, фотографированные лица манекены, и расстановка их, а также условная внешность не имеет значения. Эти фотографии во всяком случае с точностью воспроизводят обстановку ныне исчезнувшей тюрьмы.

Медленно, без единого слова, пустились в путь. Кортеж свернул направо, чтобы через несколько шагов углубиться в проход, образованный с одной стороны высокой стеной из тесаного камня, с другой — зданием тюрьмы. В углу — башенка. В этой-то башенке вьется плохо освещенная двумя узкими отверстиями винтовая лестница, по которой только-что сошли осужденные.

Миновав эту башенку, дорога становится более узкой, темной и мрачной. Окна трех этажей прочно заделаны железной решеткой. Во втором этаже — в камерах двойные рамы; отсюда только что вышли шесть узников, и там еще заперты те, кто не попал в список обреченных.

Первое из этих решетчатых окон — камера архиепископа.

Прелат — здесь я привожу подлинные слова очевидца — шел, придерживаясь за стену, опустив голову, как будто далекий от всего, что происходит вокруг него. Его длинная, почти белая борода, выросшая в тюрьме, щеки, впалые от страданий и тревоги этих двух месяцев заключения, придавали его лицу выражение несказанной печали. Четверо из взвода идут впереди с ружьями на плечах. За ними, беспорядочной толпой, остальные.

Два фонаря, высоко поднятые над головами, те самые, которые освещали спуск по запасной лестнице башни, бросают на эту сцену колеблющийся свет. Время приближается к восьми часам. Скоро стемнеет. Между высокими стенами огибающей двор дорожки уже сгустился сумрак. Ни одного слова не было произнесено во время этого мрачного перехода. Различные фразы были вложены в уста архиепископа в появившихся потом рассказах. В действительности, прелат заговорил только один раз.

Фортен, находившийся у подножия лестницы, в тот момент когда заложники подошли к решетке, не сводил глаз с архиепископа до самой роковой стены.

— Только уже спустившись со ступенек, — рассказывал он мне, — архиепископ обернулся к нам и произнес слабым голосом: «А ведь я писал в Версаль». Он намекал на письма, которые в свое время адресовал Тьеру по вопросу об обмене заложников. Никто не проронил ни слова. Я следовал за взводом и больше ничего не слыхал от архиепископа, хотя был в двух шагах от него.

В конце внутренней круговой дороги шествие наткнулось на решетку, которая выходит на вторую круговую дорогу, так называемую наружную дорогу, южная стена которой прилегает к улице Ваккери.

В конце этой дороги и должны были пасть шестеро заложников.

Когда достигли конца аллеи, взвод остановился.

Сикар стал в углу стены.

Рядом с ним Фортен. За ними карательный взвод — около тридцати вооруженных людей. Позади всех Франсуа, присоединившийся к группе, хотя и не шедший с нею, и Жентон.

По знаку Сикара шестеро заложников выстроились вдоль стены прямо против взвода.

Рядом с Сикаром, первым в ряду стоял пожарный в каске, потом федерат по имени Лолив [1] и несколько поодаль Межи, механик из Крезо.

Люди зарядили свои ружья еще во дворе лазарета. Теперь они прицелились, ожидая команды.

Я старался узнать, были ли теперь, в эту минуту какие-нибудь восклицания, проклятия, протесты?

Ничего. Молчание.

Сикар поднял руку. Но команда «пли» не слетела с его уст. Он вспомнил, что не имел при себе оружия. Быстро обернулся к Фортену.

— Фортен, твою саблю!

Всего один жест, быстрый, как молния.

Фортен выдернул саблю из ножен — ту саблю, которую третьего дня дал ему Ферре. Он протянул ее Сикару. Тот, не поднимая оружия — люди были так прижаты один к другому, что он мог бы поранить кого-нибудь из них — крикнул:

— Пли!

Взвод дал залп. Все упали, кроме архиепископа.

— Э, да он блиндирован! — крикнул Лолив, торопливо заряжая вновь свое шаспо [2].

Он прицелился в прелата, который, падая, поднес руку к груди.

Раздалось еще несколько отдельных выстрелов.

В эту минуту тюремные часы пробили восемь.

---

[1] Лолив (Жозеф), гвардеец 254-го батальона, не был включен в число обвиняемых в процессе архиепископа. Он предстал перед военным судом позднее, 25 мая 1872 года. Был приговорен к смерти. Расстрелян в Сатори 18 сентября 1872 года.

[2] Представ перед военным судом, Лолив сознался, что вторично зарядил свое ружье.

Председатель. Сколько выстрелов вы сделали?

Лолив. Два, кажется.

Председатель. Значит, не удовольствовавшись одним выстрелом, вы снова зарядили ваше ружье, чтобы выстрелить вторично.

Взвод покинул место казни, оставив там трупы, которые в ту же ночь были свезены на кладбище Пер-Лашез.

Жентон и Фортен покинули тюрьму и отправились в мерию одиннадцатого округа, чтобы там, по предписанию Ферре, составить протокол казни.

На пороге мерии в этот момент собралось несколько членов Коммуны: Верморель, которому на другой день суждено было получить тяжелую рану [1], Журд [2], Тейсс [3], Авраиль.

— Ну-с, дело сделано, — сказал им Жентон, подходя. — Мы только что расстреляли архиепископа!

— Хорошее же дело вы сделали! — воскликнул с упреком Верморель. — Оставался, может быть, последний шанс, чтобы остановить кровопролитие. Теперь вы отняли его у нас... Кончено!..

СВИРЕПЫЙ КАРЛИК.

Коммуна напрасно пыталась бы противиться убийству, совершенному по приказу Ферре, как напрасно пыталась она воспротивиться происшедшим на другой день в пятницу на улице Аксо расстрелам.

Красный шарф с золотыми кистями не внушал уже ни малейшего уважения. Он не являлся больше защитой даже для тех, кто его еще носил. Самому Делеклюзу пришлось на другой день перенести оскорбление гвардейцев, и он принужден был отступить перед непреклонностью простого комиссара, когда захотел выйти через Венсеннские ворота...

Известие о казни архиепископа быстро распространилось в толпе, заполнявшей прилегающие к мерии и тюрьме улицы.

Люди из карательного взвода рассказывали подробности драмы. Запах крови, с утра носившийся в воздухе, опьянял бойцов, хорошо знавших теперь, что им не избежать смерти, ужасной смерти. Они — жертвы расправы над побежденными.

Один из моих друзей, Франсис Приве, проходил в эту минуту по площади с Журдом, делегатом финансов, и Комбо, главным директором управления по сбору прямых налогов. На Журде был его красный шарф члена Коммуны.

Все трое подошли к одной шумно спорившей группе. Посреди группы маленького роста федерат, настоящий карлик с ружьем

---

[1] Верморель (Огюст), член Коммуны от 18-го округа, раненый на бульваре Вольтера 25 мая и умерший от ран в военном госпитале в Версале.

[2] Журд (Франсуа), член Коммуны от 5-го округа, делегат финансов (с 21 апреля).

[3] Тейсс (Альберт), член Коммуны от 12-го округа, делегат почтово-телеграфного ведомства (с 6 апреля).

на плече, жестикулировал и кричал. Вдруг он протискался сквозь толпу и подошел к Журду.

— Ну-с! — крикнул он ему в лицо, — ему-таки всадили пулю в затылок, этому архиепископу!

— Молчите, — ответил Журд, — вы бы лучше пошли в бой.

Карлик побледнел. Его глаза загорелись. Он сделал вид, что вскидывает на плечо ружье.

— Ага! Так вот как! Это вам, господам, не нравится, чтобы расстреливали попов!

И он крикнул еще более угрожающе, в то время как толпа обступила Журда и его друзей:

— Хотите, может быть, чтобы и вам тоже всыпали, членам Коммуны!..

Трое друзей удалились, не говоря ни слова, преследуемые бранью свирепого карлика.

ПЕРЕД ВОЕННЫМ СУДОМ.

Жентон, Фортен и Франсуа предстали перед вторым военным судом. Только один Жентон был приговорен к смертной казни. Франсуа дали пожизненные каторжные работы; Фортену—десять лет каторги.

Маркитантка Лашез, которая выдала Бофора толпе, бессознательно сделавшись вдохновительницей великой трагедии в Ла-Рокетт, была также в числе обвиняемых. Ее оправдали. Позднее ее снова привлекли по делу Бофора и на этот раз ей вынесли смертный приговор, который потом смягчили, заменив его каторгой.

Она-то и погубила Жентона утверждением, что он присутствовал при том, как она пыталась удержать людей 66-го батальона от убийства.

— А, так, значит, Жентон там был? — торжествующе заметил правительственный комиссар. — Жентон там был. Это мне и надо было установить.

— Зачем ты это сказала? — спрашивал у нее Фортен по выходе из суда.

Она только заплакала в ответ, наивно и в недоумении, как плакала и тогда перед Бофором, когда увидала его у стены на площади Вольтера.

— Но, ведь, это так и было, — оправдывалась она, плача.

ОЧНАЯ СТАВКА.

Случай с саблей, которою Сикар скомандовал залп, саблей, переданной Фортеном Сикару в тот самый момент, когда этот последний должен был дать решающий сигнал, был неизвестен пред-

седателю военного суда, полковнику Делапорту, и правительственному комиссару, майору Рустану.

Правда, некоторые свидетели упоминали о передаче сабли одним офицером другому, но эти свидетели заблуждались. Они переносили эту сцену под окна камер и ко времени прибытия заложников на первую круговую дорогу.

На последнем заседании суда — а их в процессе всего было тринадцать — председатель решил вызвать Сикара, о котором упомянул свидетель Жарро, секретарь Франсуа по тюрьме, и свести его с обвиняемыми.

После ареста Сикар находился в одной из парижских тюрем. После долгих поисков его нашли, наконец, в чахотке и при смерти. Он был отправлен в Версаль, в сопровождении комиссара Клемана и трех агентов, в фиакре, ехавшем шагом.

Появление этого призрака ужасающей худобы, с впавшими щеками, произвело потрясающее впечатление как на судей, так и на подсудимых. Неужели этот человек, одной ногой уже стоявший в могиле, прольет свет на темное дело?

Сикар сидит в кресле, принесенном двумя больничными служителями. Он почти не может говорить. Зато глаза его горят необычным блеском. Первый взгляд его устремлен на Фортена.

— Я содрогнулся всем своим существом,—передавал мне потом Фортен,—когда почувствовал на себе горящий взор Сикара.— Что скажет он в этой предсмертной исповеди? Одно его слово, одно слово правды, поставило бы меня к столбу в Сатори[1].

Сикара сводят с другими, с бригадиром Раменом, со сторожем Пиконом, с Франсуа, — которого он не желает признавать, — с Жентоном, с теми, кто указал на другого обвиняемого, Пижера, как на офицера, командовавшего карательным взводом, с секретарем Жарро, который признает Сикара и тем самым спасает Пижера.

Приходит очередь Фортена. Правительственный комиссар настаивает, чтобы Сикару и Фортену была устроена очная ставка. Подозревает ли он, что тут-то и кроется вся истина?

— Фортен, встаньте, — говорит председательствующий полковник, — подойдите к Сикару.

Фортен подходит. Он почти касается умирающего.

— Сикар, — говорит полковник, — вы поклялись сказать всю правду. Узнаете вы Фортена?

Сикар безмолвствует.

---

[1] Сатори—военный лагерь под Версалем, где расстреливали осужденных коммунаров в 1871—1872 гг. *(Прим. ред.).*

Он словно подавлен; как будто старается собрать во-едино далекие воспоминания, смешавшиеся в его бедном мозгу, уже цепенеющем от приближения смерти.

Он не отрывает глаз от Фортена. Он делает движение, от которого сотрясается его хилое тело в слишком просторном кресле. Наконец, он отворачивает голову с жестом отрицания.

Нет. Он не знает Фортена.

Председатель убеждает Сикара. Он видит, что тут кроется ужасная тайна, которую умирающий унесет в могилу.

Сикар опускает голову. Кажется, он снова засыпает в изнеможении от усилия, которого от него потребовали. Он делает еще один, последний жест отрицания.

Кончено.

Двое людей, принесших больного к решетке суда, поднимают кресло и, с тысячью предосторожностей, как заснувшего ребенка, уносят полковника Сикара, того самого, кто скомандовал залп по архиепископу.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ДРАМЫ.

Из лиц, выведенных на сцену в ходе этого рассказа, никого не осталось в живых.

Ферре, подписавший приказ о казни; Жентон, отнесший его в Ла-Рокетт, Франсуа, выдавший заложников,—все расстреляны в Сатори.

Расстрелян также Лолив, дважды стрелявший в архиепископа и после своего осуждения сказавший одному из своих товарищей по тюрьме: «Ну, что-ж, мы с ними расквитались».

Умерли: Сикар, скомандовавший залп; Фортен, одолживший ему свою саблю для рокового сигнала; Межи, входивший в состав взвода [1].

Умерла Лашез, маркитантка 66-го батальона, уничтоженного в бою у церкви Мадлен.

Имени пожарного, который стал первым, на самом виду, около Сикара, чтобы «отомстить за своего брата», так и не удалось узнать.

---

[1] Один из наших друзей знал в Лондоне другого из взвода, некоего Жуанена, также теперь умершего. Жуанен, которому в 1871 году было двадцать лет, служил в течение двух месяцев Коммуны в качестве повара во дворце Почетного Легиона. Когда пришла развязка он взялся за ружье. Он проходил по площади Вольтера, когда карательный взвод направлялся в Ла-Рокетт. Он замешался в ряды и проследовал с ними до самой стены. Жуанен умер лет десять назад в своем родном городе Мулене. Его семья устроила ему церковные похороны. В Лондоне—писал мне незадолго до его смерти Гектор Франс—я знал Жуанена, которого иронически называли *убийца*.

Примечание. (*По поводу двух фонарей.*) Да-Коста в своем труде «В дни Коммуны» (II, 8), по поводу фонарей в руках людей, сопровождавших заложников, упрекает меня в том, что я захотел «фантазией журналиста драматизировать свой рассказ».

Да Коста прибавляет, что мои два фонаря были бы совершенно ненужны, ибо было едва половина седьмого.

Я утверждаю, что было не половина седьмого, а половина восьмого.

Когда после расстрела палачи отошли от стены, тюремные часы пробили восемь. Без сомнения, мрачный кортеж положил не более получаса на то, чтобы пройти по круговой дороге от крыльца запасной лестницы, по которой сошли заложники, до места казни.

Час казни установлен многими свидетелями.

8 августа 1871 года в заседании третьего военного суда (процесс членов Коммуны) тюремный аптекарь Тенкар показывает: «Я услыхал в *восемь* часов залп взвода».

В своей книге «Священник и Парижская Коммуна в 1871 году» аббат Ж. Дельма, викарий церкви св. Амвросия, бывший заложником в Ла-Рокетт, пишет на стр. 202: «Около *восьми* часов мы вздрогнули от раската залпа, раздавшегося по обходной дороге».

Тот же аббат, который, не надо забывать, сам был заключен в это время в Ла-Рокетт, говоря о прибытии взвода, пишет: «В семь часов вечера во дворе необычное оживление, появление федерата». Между семью и семью с половиной заложники были вызваны и спустились на обходную дорогу. В восемь они были казнены.

Вот раз на всегда точно установленное время различных фаз этой драмы.

Но будь тогда даже половина седьмого, как это хочет Да-Коста, мои фонари и в этом случае находят свое об'яснение.

Покинув свои камеры, заложники должны были спуститься по узкой «запасной» лестнице в башне, совершенно темной или во всяком случае плохо освещенной узкими бойницами, которая ведет на обходную дорогу. Как бы спустились они по ней без света?

Прежде чем сесть писать свой рассказ я несколько раз посетил Ла-Рокетт, последний раз вместе с Гюставом Жеффруа [1]. Я прошел путь, по которому проследовали заложники. Если Да-Коста проделал то же самое, если он, как я, спустился с башенки, он должен был, как я, запастись каким-нибудь светильником, фонарем.

К тому же я могу призвать на помощь еще одного из третьего военного суда.

В заседании 9 августа 1871 года содержавшийся в тюрьме по уголовному делу Ватье показывает: «Через несколько минут после прибытия взвода в тюрьму *меня заставили осветить* коридор, ведущий к запасной лестнице. Я видел, как проходили заложники». И т. д.

Этот Ватье, освещавший коридор, куда выходят камеры, конечно, освещал и еще более темную лестницу.

Итак, мои фонари об'яснены.

[1] Гюстав Жеффруа — автор большой биографии Бланки, переведенной и на русский язык: «Заключенный. Жизнь и революционная деятельность Огюста Бланки». Перев. с франц. С.П.Б. Изд. Н. М. Глаголева, 1906. *(Прим. ред.)*.

РАССТРЕЛ НА НОВОМ МОСТУ.

(Среда, 24 мая).

Среда 24 мая. Десять часов утра. Пламя уже лижет стены здания префектуры полиции. В одной из зал собрались с полдюжины человек: Ферре в красном шарфе с золотыми кистями поверх серого пальто с бархатным воротником; Пилотель, Вюрт [1], в красных поясах поверх штатских костюмов; Клермон, специальный комиссар полиции, тот самый, который в предыдущую ночь сопровождал Рауля Риго в тюрьму Сент-Пелажи. Он присутствовал при казни Шодэ [2].

Эту самую ночь Пилотель провел в префектуре, на постели, рядом с той, на которой растянулся Ферре.

— Не в простынях мы спим, а в саванах,—заметил Пилотель своему соседу.

— Не все ли равно! — отвечал Ферре.

Утром на расвете, явился Межи [3]. Он входит в большой приемный зал. Ударами сабли разбивает висящую на потолке венецианскую люстру, полосует картины, потрошит мебель. Повсюду закладывают патроны. Потом уходит, рассказав, что во дворце

---

[1] Вюрт (Гюстав), следователь в камере прокурора Коммуны (с 18 мая).

[2] Шодэ (Гюстав), ученик Прудона и редактор буржуазно-республиканской газеты «Век» («Siècle»), один из заложников Коммуны (арестованный 13 апреля и расстрелянный по личному приказу Риго 23 мая). Снискал к себе особую ненависть коммунаров (см., напр., № 27 газеты «Le Père Duchêne» от 22 жерминаля 79 года — 11 апреля 1871 года) своим поведением в день 22 января 1871 года, когда в качестве помощника парижского мера велел открыть огонь из ратуши по демонстрировавшим перед ней под руководством бланкистов батальонам национальной гвардии. *(Прим. ред.).*

[3] Межи (Эдмон), комендант форта Исси (с 18 апреля). Известен тем, что в годы империи застрелил из револьвера арестовавшего его полицейского агента.

Почетного Легиона, откуда пришел, полными горстями бросал в мусорную яму кресты и ордена.

Кассир Реплан приносит завернутые в простыни деньги, золото и бумажки, все, что осталось в кассе.

— Раздайте все это бойцам, — приказывает Ферре.

Пилотель берет горсть монет, спускается к баррикаде, заграждающей выход с площади Дофина на набережную, против памятника Генриху IV.

— На-те, друзья.

— Не хотим: не за это деремся...

Пилотель возвращается.

Сидящий за столом Ферре молча протягивает ему бумагу:

«Приказ взять из депо арестованных, имена которых следуют, и расстрелять их».

Имен четыре.

Среди них Вейссе.

Вейссе. Человек, арестованный в воскресенье, день вступления версальских войск в Сен-Дени. Темное дело. Известно только, что он составил проект подкупить Домбровского. Генерал сообщил об этом Комитету Общественного Спасения. Вейссе проследили, он попался в устроенную ему ловушку. Уже три дня, как он находится в депо.

Ферре только что подписал его смертный приговор.

Никто не мог бы лучше Пилотеля описать мне то трагическое утро, когда Вейссе, отведенный на Новый Мост, пал под пулями Мстителей Флуранса [1].

Я прошел вместе с ним, шаг за шагом, путь, по которому следовал Вейссе, от депо до перил моста, к которым его прислонили.

Вот оно, это описание:

* * *

— Мы уже находились, — начал Пилотель, — в маленьком зале, обычно служившем для следователей, когда вошел Ферре.

— Приведите Вейссе, — приказал он.

Вейссе приведен.

Я как сейчас вижу эту сцену: Вейссе, в сером сюртуке, переводит глаза с одного на другого; Ферре постукивает своей тросточкой по сукну стола; пять-шесть *Мстителей* в серых шинелях и

---

[1] *Мстители Флуранса* — название одной из добровольческих дружин в армии коммунаров. *(Прим. ред.)*

в кепи с белой полоской, с заряженными ружьями через плечо. Другие остались на набережной. Слышно только бряцание их ружей.

Вейссе сразу оборачивается к Ферре.

Ферре допрашивает его:

— Это что же, убить меня...

— Вы устроили заговор против нас. Вы получили деньги из Версаля, чтобы подкупить Домбровского.

— Это верно, — отвечает Вейссе.

Ферре поднимается. Нервно:

— Идем...

Мстители оцепляют арестованного.

На минуту задерживаются, чтобы построиться. Потом пускаются в путь.

— Живей... живей,—торопит Ферре.

Один из *Мстителей,* рядом со мной, бледен, как полотно. Ферре берет его за руку, встряхивает и чуть не опрокидывает.

Мы быстро идем дальше.

На углу Набережной и Нового Моста — баррикада. Федераты, лежа на животе, стреляют в направлении Лувра... Один из них спрашивает:

— Кто это?

— Граждане, человек, которого мы ведем — предатель... Шпион... Народное правосудие осудило его. Он умрет.

— Да здравствует Коммуна! — раздается в ответ.

Мы переходим через мост. С баррикады улицы Дофина у дома, где жила госпожа Ролан [1] пушка стреляет через реку.

Перейдя мост, *Мстители* останавливаются лицом к перилам, на полдороге от статуи Генриха IV к набережной Конти.

С ружьями у ноги они ждут.

Ферре, лицом к ним, подает знак рукой.

Один из *Мстителей* подходит к Вейссе с платком в руках.

Арестованный не оказывает никакого сопротивления. Вот он стоит с широкой белой повязкой поперек лица. Он протягивает руки.

---

[1] Госпожа Ролан — видный деятель великой французской революции, возглавляла партию жирондистов (представлявшую интересы крупной торговой буржуазии юга, в отличие от якобинцев, выражавших интересы мелкой торговой и промышленной буржуазии Парижа). Революция 31 мая—2 июня 1793 года дала полную победу якобинцам, изгнала из Конвента 22 жирондистских депутата и окончательно отбросила жирондистов в лагерь контр-революции. Большинство их погибло на эшафоте. Госпожа Ролан гильотинирована по приговору революционного трибунала 8 ноября 1793 года. *(Прим. ред.).*

— Я вам прощаю мою смерть [1].

Взяли на прицел.

— Пли! — командует Ферре.

Пораженный, почти в упор, Вейссе держится еще на ногах с минуту... Потом падает...

Закрывавший ему глаза платок падает, весь запачканный кровью...

* * *

На этом самом месте у перил, на которые опирался Вейссе, перед тем, как упасть, сраженный на смерть, выслушал я из уст Пилотеля жуткий рассказ.

— Именно здесь... Да... Вот на этой плите... Писали потом, будто Вейссе был расстрелян у подножья статуи Генриха IV. Это неверно. Вот здесь... На равном расстоянии как от площадки статуи, так и от набережной.

Пилотель хлопнул рукой по роковой плите.

— Тут... Вот тут брызнул мозг... Череп был весь разворочен.

— Его так и оставили здесь? — спросил я.

— Нет. Двое или четверо подняли труп, раскачали его и бросили через перила в реку... Приближалась версальская стрельба... *Мстители* бегом направились к баррикаде на набережной... Ферре, Клермон, Вюрт пошли обратно по тому пути, по которому мы только что пришли... Я остался один... Я наклонился над рекой, ища глазами труп... И ничего не увидел... Только шляпа убитого, которую один из *Мстителей* поднял с земли и бросил через перила, качалась на поверхности воды...

---

[1] Это были единственные слова, произнесенные Вейссе. Лиссагарэ в своей «Истории Коммуны», ссылаясь на Вюрта, приписывает Вейссе следующие слова: «Вы ответите за мою смерть графу Фабрице» (германский генерал, начальник оккупационных войск. *(Прим. авт.)*

Никогда эти слова не были произнесены. Пилотель, не отходивший от Вейссе и стоявший в двух шагах от него, когда его расстреливали, услыхал бы их. *(Прим. ред.)*

ДОМИНИКАНЦЫ.

(Четверг, 25 мая).

РАЗГОВОР.

Декабрь 1903 года. Палата депутатов. В зале мира. Лео Мелье и я разговариваем, сидя на одной из боковых скамеек.

Я напоминаю ему нашу встречу в один из первых дней памятной недели, утром, на набережной близ Аркольского моста. Он на лошади, с красным шарфом члена Коммуны поверх куртки артиллериста и в кепи простого гвардейца, без галунов. Вторник это? Или среда? Не из ратуши ли он едет в форт Бисетр, где заключены доминиканцы Аркейля? Он останавливается перед баррикадой. Говорит несколько бодрящих слов тем, кто заканчивает ее возведение. Я подхожу к нему, жму ему руку...

Да, Мелье припоминает...

И мы беседуем... беседуем без конца...

— Доминиканцы? За что их расстреляли? И кто?

Лео Мелье делает неопределенный жест... Я жду его ответа. Всматриваюсь в него. Это уже не Мелье былых времен. Короткий, коренастый, но с высоко поднятой головой и прямо глядящими черными глазами южанина, живой и деятельный. Мелье отяжелел. Волосы поседели. В бороде его белые клочья. Говоря, он наклоняет голову. Слегка дрожащей рукой крутит папиросу.

Расстрел доминиканцев на Итальянском проспекте, после полудня в четверг, 25 мая, один из самых темных, наименее выясненных эпизодов трагической недели. Как и вокруг прочих казней, — казни епископа и той, что была на улице Аксо, — сложились легенды, которые так прочно утвердились в умах, что, кажется, нельзя их искоренить.

Серизье [1]; все Серизье и только Серизье. Серизье все устроил. Это он скомандовал залп у дверей районной тюрьмы. Это он велел арестовать монахов Аркейля.

---

[1] Серизье, командир 101-го батальона, во время осады полковник, командовавший 13-м легионом при Коммуне. Расстрелян в Сатори 25 мая 1872 года.

— Их арестовали, — расспрашиваю я, — действительно за то, что они сигнализировали версальцам?

Тот же неопределенный жест Мелье.

— Сигнализировали версальцам? Что касается меня, я никогда ничего такого не замечал... Правда, что раздражение против них было велико... Раздражение если и не основательное, то во всяком случае понятное... Недели за две до их ареста наши люди были захвачены ночью среди сна в соседнем редуте Мулен-Сакэ... Им завладел отряд жандармов, благодаря паролю, очевидно, выданному каким-нибудь предателем. Около тридцати несчастных были застрелены прямо в упор, заколоты штыками... Кто выдал пароль? Тайна... Может быть, это мирно жившие под боком монахи? Может быть, они предатели, эти доминиканцы в бело-черных рясах?.. Вот что повторялось среди бойцов... Этого было достаточно, чтобы сосредоточить на монахах всю ярость и озлобление...

...А доказательства, их не было вовсе... Я написал обо всем этом в военный суд, когда разбиралось дело... Мое письмо должно еще храниться в портфеле защитника Люсипиа...

— Адвоката Рену [1]?

— Да.

ПИСЬМО ЛЕО МЕЛЬЕ.

Следующее ниже письмо никогда не было опубликовано.

Уже само по себе оно является документом первостепенного значения. Лео Мелье был членом Коммуны и членом Комитета Общественного Спасения и гражданским комиссаром при генерале Врублевском [2] и комендантом форта Бисетр, где началась драма, получившая такую кровавую развязку на Итальянском авеню.

Из Гласго, куда он эмигрировал после поражения, Лео Мелье писал адвокату Рену, защитнику Люсипиа.

Гласго, 11 декабря 1874.
150, Bucelench Street.

Дорогой коллега. Вы просите меня рассказать вам все, что я знаю по поводу доминиканцев Аркейля. Так вот:

В день ареста отцов доминиканцев я находился в Аркейле и вот при каких обстоятельствах. Несколько национальных гвар-

[1] Адвокат Рену, защищавший Люсипиа перед военным судом, судившим в феврале 1872 года обвиняемых по делу доминиканцев, отец Ренэ Рену, помощника статс-секретаря министерства финансов.

[2] Врублевский (Болеслав), генерал Коммуны, командир второй армии на левом берегу. Умер в Уарвилле (деп. Эр-и-Луары) 5 августа 1909 года.

дейцев, кажется, из 142-го батальона, были ночью захвачены жандармами версальской армии на одном из передовых постов моего правого фланга, под названием Мулен-а-Мутар. Большинство спящих были прикончены револьверными выстрелами, а часовые, которым жандармы назвали пароль, были убиты холодным оружием. Жандармы, совершившие эту операцию, нашли, очевидно, средство прорваться через наши линии в каком-нибудь другом месте, потому что появились они, казалось, из главной квартиры Врублевского в Жентильи. Значит налицо были измена и выдача пароля. Но где же предатели? Об этом я не знал ничего.

Несмотря на самые деятельные и самые тщательные розыски, мне не удалось узнать, в каком месте прорвался неприятельский отряд. Все дороги были заняты нашими ротами. Не мог же я поверить в предательство целой роты. С другой стороны, отряд не мог миновать траншей, не будучи замечен охранявшими их гвардейцами. Велико было мое недоумение и тем сильнее желание выяснить дело.

С самого моего приезда в крепость я слышал разговоры о существовавших будто бы сношениях между монахами Аркейля и версальцами. Говорили даже о подземных ходах, доходящих до монастыря, и о тысяче других вещей. С первых же дней я установил самое деятельное наблюдение с этой стороны и должен, в интересах истины, сказать, что ничто не подтвердило взволновавших меня слухов. Настолько, что я уже не думал направлять в эту сторону свои розыски по поводу упомянутых событий.

Наконец, отчаявшись, я отказался пока найти ключ к разгадке тайны и принял меры к тому, чтобы помешать повторению подобного несчастья. Я попросил Врублевского прислать какой-нибудь батальон на смену 142-му, деморализованному этим набегом.

Он назначил 101-й. Но 101-й, беспрерывно перебрасываемый из Нейи в Исси, из Исси в Нейи, из Нейи в Иври, а оттуда в Кашан, был измучен в конец. Он отказывался итти и требовал передышки. Мое присутствие становилось необходимым, чтобы заставить его выступить на позиции, ибо я один имел достаточно влияния на людей моего округа, когда нужно было говорить с ними о дисциплине. Я и выехал 19-го около четырех или четырех с половиною часов пополудни в Аркейль, к месту стоянки 101-го батальона.

Там я был встречен всевозможными претензиями. «Заставьте итти дезертиров. Каждому свой черед. Мы согласны итти, но только завтра и т. д.» Привыкший к подобного рода приемам, я молча принялся выстраивать свои роты. И только после этой трудной работы я смог убедиться, что недоставало около половины со-

става. Им пришлось дать мне об'яснение, почему отсутствуют остальные, и только тогда я узнал о занятии школы Альберта Великого. Роты полторы были отряжены туда для охраны различных дорог.

Но моя тревога достигла наивысшей степени, когда я узнал, что батальон, которому поручено расследование, был 120-й, столь пострадавший при Мулен-Сакэ от такой же выдачи пароля, как и 142-й. Я содрогнулся при мысли о чувствах, которые могло возбудить в умах людей этого батальона это роковое совпадение — и немедленно отправился к отцам доминиканцам, в сопровождении Люсипиа, который был прежде моим вторым секретарем, а теперь на правах старого знакомого обращался ко мне за сведениями для своей газеты [1].

Не знаю, во-время ли я прибыл, и не могу вообще ничего об этом сказать. Но в момент моего появления настроение национальных гвардейцев отнюдь не показалось мне враждебным монахам; неприязнь к ним со стороны некоторых гвардейцев выражалась лишь в шутках сомнительного свойства, которые я немедленно и прекратил.

Но остаться тут на весь вечер я не имел возможности — дела призывали меня в другое место; с другой стороны, покинув школу, я ни за что не мог бы больше ручаться. Что было делать? Чтобы оценить правильность принятого мною тогда решения, я бы посоветовал вам ознакомиться с мнениями г-на Тюркэ и генералов Шанзи и Лангуриана, которых мне в свое время удалось спасти только благодаря тому, что с револьвером в руке я добился их перевода в тюрьму. Итак, я собрал несколько надежных людей, которым громко поручил препроводить отцов в Бисетр. Батальонные и ротные командиры должны были головой отвечать мне в случае неисполнения моего приказа. 101-й батальон я немедленно отправил в окопы. Сам же, сев в экипаж, взял с собою Люсипиа, которому хотел вручить письмо в Коммуну, на случай, если серьезность положения помешала бы мне покинуть форт. Увез я с собой также одного из преподавателей школы, от которого хотел узнать все подробности происшествия. После сделанного мне сообщения он был немедленно отпущен.

Вечером доминиканцы были вызваны на форт. Так как отношение к ним национальных гвардейцев резко переменилось, я оказался вынужденным тут же создать судебного следователя, на которого и возложил все дело. При этих серьезных условиях

---

[1] Люсипиа входил в редакцию «Крик Народа» Валлэса. Его присутствие на форте Бисетр и в Аркейле в день ареста доминиканцев вызвало против него судебное преследование. Военный суд приговорил его к смертной казни, которая была заменена пожизненными каторжными работами.

Люсипиа без колебаний пришел мне на помощь, приняв на себя это щекотливое поручение. Он провел за этим делом почти всю ночь.

Тем временем я отправился в главную квартиру Врублевского, чтобы узнать, каким образом подобный факт мог иметь место без моего ведома: оказалось, что приказ исходил от военного министерства, которое, в свою очередь, получило его от Комитета Общественного Спасения.

Когда я прибыл в ратушу, Комитет не был в сборе, но по моем возвращении на форт я нашел приказ не выпускать отцов. Приказ лишний, так как выпустить их значило бы обречь на расстрел.

Люсипиа тогда же дал мне отчет в своей работе, устанавливавшей полную непричастность доминиканцев, и мы стали изыскивать с ним средства к их освобождению, не находя, однако, подходящего способа.

25 мая после того, как мои офицеры, воспользовавшись двумя часами отдыха, которые я себе позволил после восьмидесяти восьми часов, проведенных без сна, решили эвакуировать форты и увезти орудия, — я велел выпустить всех пленных. Мне удалось вывести гарнизон, оставив отцов под надзором плац-ад'ютанта, уполномоченного по тюрьмам, к которому я прикомандировал несколько человек гвардейцев, поспешивших, однако, покинуть его, как только удалились их товарищи.

Каким путем отцы-доминиканцы попали в Париж, об этом я ничего не знаю. Мне пришлось собирать отсталых, которые покинули траншеи последними и которых я поджидал поблизости. Не знаю, прибыли ли монахи в Париж раньше или позже меня, так как мне пришлось возвращаться галопом под градом пуль, которыми осыпал меня из Виллежюифа и Бисетра авангард версальской армии: мой красный шарф служил для него прекрасной мишенью. Только после полудня я узнал о присутствии монахов в Париже; в тот момент, когда я принимал необходимые к их охране меры, я узнал о грозившей им опасности и вслед за тем об их трагическом конце.

Вот — чистая правда. Хотя мое прошлое и мой характер должны бы свидетельствовать о невозможности обвинять меня в таком деле, я подчиняюсь с покорностью побежденного. Мало того. Если нужно, чтобы я отправился в Париж, чтобы, отдавшись в руки правосудия, доказать невиновность Люсипиа, скажите только слово, и я не стану колебаться ни одной минуты.

Благодарю за ваше расположение к нему.

Примите мой почтительнейший привет

Лео Мелье.

Мулен-а-Мутар и Мулен-Сакэ.

Измена, о которой говорит Лео Мелье, повторяется в мае ежедневно. Мулен-Сакэ—это только начало. С этого дня, вернее с этой ночи, всех охватывает подозрительность.

Измена! Нас предали! Кто? Как? Нужно пережить это время, полное энтузиазма и тревоги, когда каждый час дня или ночи приносили восставшему городу либо весть о победе, действительной или воображаемой, либо о поражении, чтобы представить себе охватившую нас ярость, когда мы узнали о падении Мулен-Сакэ.

Мулен-Сакэ был надежный редут, построенный за время осады, настоящая маленькая крепость, расположенная на юго-восточной окраине Плато Виллежюифа на расстоянии тысячи метров от баррикады, замыкавшей главную улицу деревни.

На таком же примерно расстоянии, только вправо, находился второй редут От-Брюйэр. Оба охранялись отборными батальонами [1].

Мулен-Сакэ господствовал над всей равниной, расстилающейся от Виллежюифа до берега Сены и от Витри до Шуази-ле-Руа, прикрывая, таким образом, форт Бисетр и силы генерала Врублевского, расквартированные в Аркейле.

4 мая, с наступлением дня, распространилась ужасная весть.

Мулен-Сакэ занят ночью без единого выстрела со стороны версальцев, а его защитники перебиты.

Называли имя предателя, командира 55-го батальона, который вместе с 120-м охранял редут.

Вот как произошло дело.

Было одиннадцать часов вечера, когда к погруженному в молчание редуту приблизилась группа людей. От нее отделяется человек и подходит к часовому.

— Кто идет!

— Мститель.

Слово «мститель» было паролем.

Человек проходит. Но едва он сделал несколько шагов, как за ним устремляются другие, убивают часовых, наводняют лагерь. Там царит полная тишина. Люди 1-й и 3-й роты 120-го батальона спят в палатках. Иные даже разулись, чтобы лучше отдохнуть от

---

[1] 13-й легион, под командой Серизье, состоял из 42-го, 101-го, 102-го 120-го, 133-го, 134-го, 176-го, 177-го, 183-го и 184-го батальонов.

дневных трудов. Версальцы (ворвавшиеся в редут были версальскими солдатами) убивают спящих штыками и револьверами. Они запрягают захваченные орудия и уводят их вместе с пленными. На другой день эти пушки будут дефилировать перед парадным крыльцом версальского замка, украшенные цветущей сиренью.

НАС ПРЕДАЛИ!

Измена при Мулен-Сакэ, за которой последовали и другие, *прямым последствием имела обвинение* отцов-доминиканцев из школы Аркейля в сношениях с Версалем.

Командир батальона Галльен выдал пароль. Ну, а эти отцы, разгуливавшие в своих рясах вплоть до наших траншей, не находятся ли они в соглашении с неприятелем?

Некоторые из них совершают поездки в Версаль. Не с целью ли осведомления версальских генералов о наших позициях?

Парижская пресса описывала дело при Мулен-Сакэ в самых черных красках.

Что делает эту историю особенно ужасной, — пишет газета Рошфора «Le Mot d'Ordre»[1],—так это неслыханная жестокость, без всякой необходимости проявленная над несчастными национальными гвардейцами, от усталости впавшими в глубокий сон, которые, конечно, сдались бы в плен, не имея другого выбора.

Все до одного были перебиты, задушены, исполосованы штыками и шашками. Мы видели их страшно изуродованные трупы. Лишь очень немногие получили всего одну рану. У большинства их три, четыре и даже пять.

Рядом с несчастным артиллеристом лет шестидесяти двух, у которого торчал из головы мозг, лежал совсем юный девятнадцатилетний мальчик с проколотым в нескольких местах животом и с грудью, пробитой револьверными выстрелами в упор. У другого оба глаза были выколоты и вылезли из орбит. У третьего голова была на три четверти отсечена и почти отделялась от туловища.

Невозможно себе представить более ужасного зрелища.

Но негодяям мало было убивать с жестокостью, достойной африканских дикарей. Они не постеснялись еще и ограбить свои жертвы. Скромная касса маркитантки и та была взломана и опустошена...

«Крик Народа» Валлэса, газета Феликса Пиа «Авангард», «Социальная Революция» — все преданные Коммуне газеты опубликовали подобные же сообщения. По всему городу раздавались крики газетчиков:

— Измена в Мулен-Саке!

---

[1] «Le Mot d'Ordre» от 5 мая 1871 года.

«Пер-Дюшен» гремел[1]:

Эти мерзавцы не останавливаются ни перед каким преступлением! Хладнокровно, не моргнув глазом, убивают они наших храбрых федератов, мирно спящих в своих палатках под охраной часовых, бодрствующих у входа.

Им мало бомбардировать Париж.
Убивать женщин и детей.
Нет! Этого им не достаточно.
У них есть деньги!
Они покупают совесть!
Именно так они взяли Мулен-Сакэ!..

17 мая вспыхивает пожар во дворце маркиза де-ла-Плас, по соседству со школой Аркейля, где находится штаб 101-го батальона. Обвиненные в поджоге монахи арестованы 19-го, по приказу Врублевского. Их отводят в тот же день в форт Бисетр, заключают в казематы, из которых они выходят только в четверг, 25 мая, вместе с федератами, эвакуирующими форт, чтобы вернуться в 13-й округ.

Сперва их направляют в мерию округа, затем переводят в тюрьму сектора, в доме № 38 по Итальянскому проспекту.

Потом их отправляют на баррикады и возвращают снова в тюрьму. В четыре часа они расстреляны толпой.

СЕРИЗЬЕ.

Достаточно было нескольких часов, чтобы доминиканцы, вышедшие невредимыми из опасного для них форта, оказались на мостовой Итальянского проспекта, в крови, изрешетенные пулями.

Кто распорядился убийством?

Обстоятельства, сопровождавшие этот расстрел, остаются такими же загадочными, как и в первый день.

Козлом отпущения является Серизье.

Когда говорят о деле доминиканцев, то обязательно вспоминают Серизье. И только его.

Остальные участники, осужденные вместе с ним военным судом в феврале 1872 года, только статисты.

Командир славного 101-го батальона, потом полковник 13-го легиона, Серизье был во время империи видным борцом-революционером. Вместе с Дювалем, Лео Мелье, Шардоном, Пассдуэ, Люсипиа и другими, он вел упорную борьбу против император-

[1] «Пер-Дюшен», № 53 от 18 флореаля 79 года (7 мая 1871).

ского режима. Перед 4 сентября[1] ему пришлось укрыться в Бельгию. Вернувшись в Париж после провозглашения Республики, он присоединяется к революционному движению, выступает 31 октября. 22 января день его триумфа. Его видят во главе 101-го батальона, он руководит стрельбой на площади перед ратушой. 18 марта выдвигает его в полном блеске. Его 101-й батальон приводится в пример, как самый пылкий из федеральных батальонов. Он всюду, где дерутся. Россель назначает Серизье начальником 13-го легиона.

По ремеслу рабочий-кожевник, Серизье коренастый человек, с энергичным лицом, на котором блестят живые выпуклые глаза. Крепкая угловатая челюсть. Губы закрыты густыми нависшими усами, острая бородка. Люди, знавшие Серизье, описывали мне его как краснобая, нелишенного, однако, храбрости. Кичась своими нашивками и чином, он снимается в форме полковника с револьвером у пояса, в кепи сдвинутом на ухо, правой рукой опираясь на обнаженную саблю, воткнутую в пол. Он любил парадировать в таком виде, пугая рабочих. Он радуется внушаемому им страху, который в момент разгрома обречет его на месть доносчиков.

Серизье мог и не появиться на месте убийства. Обвинят все-таки его.

Легенда слагается. Она приведет его к столбу в Сатори.

ПРЕДСМЕРТНЫЙ ПРОТЕСТ.

Между тем нет ничего менее достоверного, чем участие Серизье в убийстве на Итальянском проспекте.

Лео Мелье, в тот самый день, когда я в палате напомнил ему о нашей встрече на Аркольском мосту, уверял меня, что Серизье нигде не видали во время борьбы за возвышенности Бют-о-Кайль. Иные, удивленные тем, что не видят его, говорили даже, что он бежал к версальцам.

Во время предварительного следствия в военном суде он был опознан многими свидетелями, в том числе и отцом Грандколла. Но, когда началось судебное разбирательство, Грандколла от своих показаний отрекся. Он уже не признавал его.

Серизье все время протестовал против обвинения в том, будто он распорядился расстрелять доминиканцев.

---

[1] 4 сентября 1870 года—революция в Париже, низложение Наполеона III и провозглашение Республики. *(Прим. ред.).*

Когда его уже отправляли в Сатори, он обратился к жене со следующим прощальным письмом[1]:

«Моя дорогая, любимая!

Я хочу, чтобы это письмо было опубликовано после моей смерти, для того, чтобы исправить ошибку, которую мое осуждение может оставить в общественном мнении, и чтобы все знали, что в казни доминиканцев я не при чем, и гибну только как человек из народа, достаточно сознательный и смелый, чтобы бороться против всего, что угнетает рабочего. Как я говорил и на суде, я узнал о прибытии доминиканцев в квартал только тогда, когда события уже совершились. Значит, я отнюдь не давал каких-либо распоряжений на их счет.

Во всем этом деле я поступил, как всегда, с полной лойяльностью и никогда не говорил и не мог сказать ничего иного, кроме того, что говорил на суде: ничего не зная, я не мог ничего и сказать ни прежде, ни после.

Я умираю за дело народа, за которое боролся. Я завещаю мою память народу и хочу, чтобы все честные люди выполняли свой долг до конца, как это сделал я, без ненависти, без личного тщеславия, с руками, незапятнанными никаким преступлениием...

Серизье».

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ.

В письме, которое Лео Мелье адресовал из Гласго защитнику Люсипиа адвокату Рену, есть указание на арест 19 марта 1871 года генералов Шанзи и Лангуриана.

Когда Лео Мелье умер, в марте 1909 года, Годен де-Виллен, сенатор Ламанша, арестованный одновременно с этими двумя генералами, выступил в печати, чтобы напомнить это событие и признать заслуги тех, кто спас их от ярости толпы. Среди этих спасителей фигурирует Лео Мелье и Серизье.

Я был арестован утром 19 марта 1871 года,—пишет Годен де-Виллен,—на парижских укреплениях, около Орлеанского вокзала вместе с генералом Лангурианом и был доставлен через восставшие уже предместья в тюрьму сектора на Итальянском проспекте. Там мы нашли генерала Шанзи и других пленников.

---

[1] Это письмо было напечатано в «Радикале» (редактором которого был тогда Моттю) от 27 мая 1872 года, два дня спустя после казни в Сатори (25 мая) Серизье, Буэна и Будэна. Оно было доставлено в редакцию сыном расстрелянного.

Около четырех часов вечера, совершая непрерывно наш крестный путь,— мы были брошены ротой 101-го федерального батальона, которая должна была отвести нас в тюрьму Санте, и очутились,—генералы Шанзи и Лангуриан, капитан де-Нажель и я,—беззащитные, во власти слепой и бессмысленной ярости бесновавшейся толпы...

Нас толкали, бросали на землю, поднимали ударами прикладов, снова опрокидывали. Наши мундиры были изодраны и покрыты кровью. Мы ждали трагической развязки; одна часть толпы предлагала нас расстрелять, другая предпочитала повесить на ближайших фонарях.

Эта отвратительная сцена, происходившая на Итальянской площади, длилась уже около двух часов, когда несколько энергичных людей, растолкавши неистовую толпу, бросились к нам на выручку.

Во главе их находились *Лео Мелье,* мер тринадцатого округа, Комб, его помощник, и *Серизье*, командир 101-го батальона: тот самый, который несколько недель спустя руководил избиением доминиканцев Аркейля.

Кое-как под их защитой и под прикрытием нескольких муниципальных гвардейцев нас дотащили до порога тюрьмы Сантэ и там тотчас же заперли в одиночные камеры. [1]

Когда в феврале 1872 года перед военным судом развернулся процесс обвиняемых по делу доминиканцев, генерал Шанзи явился дать свои показания (заседание 14 февраля).

— Я утверждаю,—сказал Шанзи,—что мы всецело обязаны своей жизнью офицерам национальной гвардии, *и в особенности Серизье.*

МОРО ДОМИНИКАНЕЦ.

Есть человек, о котором очень мало говорилось в военном суде, приговорившем к смерти Серизье и с ним Буэна, сторожа тюрьмы на Итальянском проспекте. Это—Эмиль Моро.

В Лондоне, где он проживал, после того, как покинул Женеву, куда бежал сперва, его называли «Моро-доминиканец».

Эмиль Моро, который заявил себя революционным борцом уже во время империи, — тогда ему было лет тридцать, — принял деятельное участие в революционном движении после 4 сентября. Завсегдатай клубов левого берега, делегированный в Кордери [2], он участвует во всех восстаниях. 31 октября он один из первых

---

[1] „Заметка Годена де-Виллена была напечатана в «Свободном Слове» («Libre Parole») от 19 марта 1909 года.

[2] Кордери—площадь в Париже, в одном из домов которой происходили заседания Федерального Совета парижских секций Интернационала, а также особой революционной организации, возникшей после 4 сентября — Центрального Комитета 20 округов Парижа, составленного из делегатов от окружных наблюдательных комитетов. Одним из таких делегатов и был, повидимому, Моро.

вошел в ратушу, разбив стекла окна. Любопытная подробность: помог ему взобраться папаша Белэ [1].

Среднего роста, с выпуклым лбом, серыми глазами, редкой бородкой, с головой, глубоко сидящей в узких плечах, Моро не выделялся наружностью. Люди, знавшие его, рассказывали мне, что он был вместе и вспыльчив и добр. Когда он сердился, что с ним случалось довольно часто, губы у него тряслись и вместо слов получался какой-то невнятный лепет. Он был командиром 138-го батальона в квартале Муффетар, батальона, в котором насчитывалось много тряпичников.

В день выдачи жалованья Моро, ловкий и практический делец, складывал вместе получки офицеров и простых гвардейцев и всю полученную сумму делил сообразно семейному положению каждого.

Врублевский сделал Моро начальником своего штаба. Он ему вполне доверял.

С самого приезда своего в Женеву Моро хвастался тем, что расстрелял доминиканцев.

Вот что писал мне по этому поводу мой старый друг Жюль Монтель, бывший начальником 12-го легиона:

30 августа 1871 года,—пишет Монтель,—на другой день после моего приезда в Женеву, я встретил Моро, который шел, опираясь на палку, так как не вполне еще выздоровел от раны, полученной на возвышенности Бютт-о-Кайль.

Несмотря на рану, Моро в блузе, надетой поверх мундира, нашел в себе силу добраться до Женевы, подсаживаясь иногда на телеги встречных крестьян.

Когда он прибыл в Женеву, его вылечил и поставил на ноги наш друг Жюль Дюкрок.

Если мне не изменяет память, это именно он велел арестовать доминиканцев. Он уверял, что его солдаты застали их за подачей сигналов версальцам.

Это он, Моро—все по его же рассказам—приказал расстрелять доминиканцев, которые были расстреляны, *наперекор Серизье,* наперекор Лео Мелье

Он даже грозил Мелье поставить его к стенке, если он воспрепятствует выдаче доминиканцев. Когда же узники были переведены в тюрьму на Итальянском проспекте, то,—так рассказывал Моро:

— Я велел выводить их по одному и говорил им: „Вы проповедуете рай. Мы вас туда и отправим".

---

[1] Белэ (Шарль), старейший член Коммуны, инженер, видный прудонист член Интернационала, комиссар Коммуны при государствен. банке. *(Прим. ред.).*

И Монтель прибавляет:

Я не был свидетелем этой казни и могу только рассказать то, что мне передавали, и ничего больше.

Верно, что было пред'явлено требование о выдаче Моро для привлечения к суду по делу доминиканцев Аркейля.

Дело показалось нам настолько серьезным, что мы помогли Моро бежать в Невшатель; оттуда, при помощи Белэ, он перебрался в Лондон.

Здесь, в Лондоне, Моро, хваставшийся своею ролью в убийстве на Итальянском проспекте, получил прозвище Моро-доминиканца.

Распоряжался ли действительно Моро убийством?

Или он был только одним из убийц?

Нам важно лишь отметить, что он отрицает, — а он должен это знать, — причастность Серизье к этому делу.

ЛЮСИПИА.

Люсипиа был приговорен военным судом к расстрелу вместе с Серизье, Буэном, Будайлем и Паскалем.

Тщетно протестовал он против обвинения, приводил то, что писал о нем Лео Мелье адвокату Рену, указывал, что все участие его ограничилось допросом приведенных в форт Бисетр доминиканцев.

Он был осужден.

Позднее назначенная ему высшая мера наказания была заменена пожизненными каторжными работами.

Мне Люсипиа приходился очень старым товарищем. Мы вместе сидели на скамьях Нантского лицея. В Латинском квартале [1] мы принадлежали к одному кружку. Во время осады он был в инженерных войсках национальной гвардии. Свою форму он сохранил и при Коммуне. В кепи простого рядового, в блузе без нашивок, с красным поясом, одетым под жилет, бегал он из «Крика Народа», в котором сотрудничал, в ратушу, где исполнял уже не помню какие обязанности. Кажется, секретаря Комитета Общественного Спасения или одного из секретарей [2]. Как-то находясь в ратуше, я наткнулся на Люсипиа, сидевшего за заваленным бумагами столом в маленькой золотисто-желтой комнате, в которой, как мне

[1] Латинский квартал—часть Парижа (на левом берегу), искони населяемая студентами; здесь расположено большинство высших учебных заведений Парижа. *(Прим. ред.)*

[2] Вильом ошибается. Секретарем Комитета Общественного Спасения был журналист, сотрудник «Коммуны», Анри Бриссак. *(Прим. ред.)*.

рассказывали, находила когда-то приют очаровательная артистка Комической Оперы, любовница префекта Гаусмана[1].

Когда Люсипиа вернулся с каторги, он стал одним из первых сотрудников «Радикала», основанного Виктором Симон, в котором сотрудничал и я. У нас был общий кабинет. Тысячу раз разговор возвращался к доминиканцам.

«— Доминиканцы! — говорил мне как-то Люсипиа, — да они прекрасно могли бы бежать, когда их вели из форта Бисетр в Париж, в четверг, 25 мая.

«Их поместили в хвосте колонны. Федераты, торопясь вернуться в свой округ, скорее бежали, чем шли.

«Никто не обращал внимания на монахов. И без них было не мало забот. Доказательство: дойдя до Брюквенного Поля, один из них, отец Русселен, отстал на сотню шагов и преспокойно возвратился назад, не думая уже догонять колонну.

«Когда дошли до укреплений, федераты в беспорядке стали ломиться в ворота Шуази. Ворота снова закрылись. Доминиканцы остались снаружи.

«Тут они опять могли бы бежать.

«И что же?—это говорили мне в Каледонии опять-таки надежные свидетели, — отцы стали стучаться в ворота, чтобы их впустили!

«Не чувствовали ли они себя в большей безопасности в Париже?

«Оставшийся позади Мелье, конечно, пропустил бы их. С начала их ареста он не скрывал, что сильно ими тяготится. Он надеялся, что как только форт будет взят, они будут освобождены версальцами. Но ему пришлось уступить неистовству окружающих, вытащить их из казематов и присоединить к колонне... Остальное тебе известно».

Однажды я завел разговор о Серизье.

— Серизье! Хвастун! Россель назначил его полковником, ни с кем не посоветовавшись... Мне говорили, что он вовсе не был на Итальянском проспекте, когда расстреливали монахов... Впрочем, как говорил мне там (в Каледонии) Паскаль, никто не отдавал приказа к расстрелу... Они были убиты толпой, когда стало известно, что версальцы приближаются.

---

[1] Барон Гаусман в бытность свою префектом (в годы второй империи) подверг Париж такой основательной перестройке, какой он не подвергался ни до, ни после того. Сооружение Центрального рынка, новых церквей, достройка Лувра, новых парков, сети газовых, канализационных и водопроводных труб, широких проспектов, связавших центр города со всеми вокзалами (для чего пришлось снести не мало узких и извилистых уличек, столь удобных для постройки баррикад),—такова в главных чертах эта грандиозная перестройка. *(Прим. ред.).*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ДРАМЫ.

Главные персонажи драмы доминиканцев все исчезли. Те, по крайней мере, которые попали на скамью подсудимых военного суда, Серизье, Буэн, Люсипиа, Будайль и Паскаль, были приговорены к смерти.

Серизье и Буэн, расстрелянные в Сатори 25 мая 1872 года, пали с сигарой во рту и с криком: «Да здравствует Коммуна!»

Люсипиа, Буайль и Паскаль, приговоренные к пожизненным каторжным работам, отправились на каторгу.

Паскаль там и умер, убитый канаками [1], во время восстания 1878 года.

Один из моих друзей, Александр Жиро [2], который также был приговорен к каторге по делу о поджоге церкви Сент-Элуа, рассказал мне трагический конец Паскаля.

— Паскаль, — рассказывал мне Жиро, — был в лагере Булупари. Накануне его смерти один из надзирателей, отводя арестантов в лагерь, замешкался в чаще, был схвачен и с'еден.

Паскаль копался в своем садике, когда группа канаков, симулируя покорность, пришла попросить табаку. Вдруг они ворвались в сад, бросились на Паскаля, который, вместе с одним товарищем, стал сопротивляться. Оба боролись отчаянно, но были подавлены численным перевесом туземцев.

На другой день нашли их трупы.

Люсипиа, вернувшийся в Париж, был последовательно муниципальным советником в квартале Красных Ребят, затем председателем совета. Он умер в мае 1904 года.

Мне неизвестно, какая участь постигла Будайля.

Лео Мелье, Таллер [3] и Моро были приговорены к смерти заочно.

Лео Мелье, бежавший в Англию, долгое время жил в Гласго, где занимался преподавательской деятельностью.

С 1898 по 1902 год он был депутатом от Марманда. Умер в марте 1909 года директором убежища для умалишенных в Кадильяке, близ Бордо.

Живы ли Таллер и Моро? Не знаю. О них ничего больше не было слышно.

---

[1] Канаки—племя дикарей, живущих на Сандвичевых островах. *(Прим. ред.)*

[2] Жиро (Александр), секретарь комиссара полиции 12-го округа Клавье. Приговорен к пожизненной каторге. Позже был депутатом Парижа (от Бельвилля).

[3] Таллер—помощник коменданта форта Бисетр (с 9 мая).

Что касается безымянных борцов, тех, что стреляли в монахов при их выходе из тюрьмы на Итальянском проспекте,—их судьба, как и их имена, осталась неизвестна.

Погибли они, защищая последние баррикады? Или были расстреляны после боя?

В этом 13-м округе, бывшем одной из цитаделей восстания, над которым еще витала тень Бреа, убитого в июне [1], бойня носила ужасный характер.

Один из свидетелей на судебном процессе, аббат Лезмайу, бывший 25 мая пленником федератов, вернувшись в тот же вечер, после разгрома, к баррикаде на улице Бодрикур, наткнулся там на груду мертвых тел.

— Мы подобрали там более ста трупов, среди которых нашли только одного солдата регулярной армии, — писал он. — Остальные девяносто девять были трупы убитых федератов.

За этой одной баррикадой!..

---

[1] Генерал Бреа, под руководством диктатора Кавельяка подавлявший восстание парижского пролетариата в июне 1848 года, был схвачен восставшими рабочими и расстрелян в ответ на зверскую жестокость усмирителей. Коммуна постановила вернуть из ссылки его убийцу Нурри, назначить его матери персональную пенсию, а также (декрет 27 апреля) разрушить церковь (так назыв. церковь Бреа), построенную реакцией на том месте, где был убит Бреа. *(Прим. ред.).*

МЕКСИКАНЕЦ [1].

(Пятница, 26 мая).

НЕ ОТПРАВИТЬСЯ ЛИ НАМ ЗА ЖЕККЕРОМ!

В пятницу, 26 мая, как только рассвело, пошел мелкий, частый, пронизывающий до костей дождик.

Федераты ждали у баррикады на площади Трона.

Только несколько человек, под предводительством лейтенанта, отправились вперед, к Мазасу.

Баррикада была в изобилии снабжена боевыми припасами. До двадцати бочек с патронами были расставлены в стороне.

Три человека командовали бойцами: Либертон, командир 275-го батальона, Г., капитан того же батальона, и Адольф Бодуэн, лейтенант первой роты.

Этот батальон, хотя и недавно сформированный, принял, однако, очень деятельное участие в борьбе.

(Когда 9 марта 1872 года военный суд разобрал дело под названием «дело церкви Сент-Элуа», по которому Адольф Бодуэн

---

[1] В «Правах Человека» от 19 января 1877 года появился рассказ о казни Жеккера, за подписью З. Марка,—псевдоним нашего покойного друга Эжена Разуа, депутата Бордосского Собрания, сложившего свои полномочия, бывшего во время Коммуны комендантом Военной школы и умершего в изгнании в Женеве в 1878 году.

Разуа передает этот рассказ со слов одного изгнанника, которого он называет Арманом и которого я тоже знал по Женеве. Эту версию о смерти Жеккера, в общем вполне точную, Разуа окружил красивой, но не всегда верной рамкой. В свою очередь Арман знал об этой истории от одного из пятерки, которая в пятницу утром отправилась за Жеккером в тюрьму Ла-Рокетт; сам же он к ней не принадлежал.

Эти пятеро были: Клавье, комиссар полиции квартала Picpus-Bel-Air, Либертон, командир 275-го батальона; Г., капитан того же батальона; Б. и М., секретарь комиссара Клавье.

Клавье и Либертон умерли. Трое других живы, и я не могу обозначить их здесь иначе, как инициалами.

был приговорен к смерти, а его брат Теофиль к пожизненным каторжным работам [1], капитан названного 275-го батальона, поляк Мизгир де-Турчина, также привлеченный к ответственности, явился на суд, опираясь на костыли. Он еще не оправился от жестокой раны, полученной в бою у площади Трона).

Последние приготовления к защите были закончены. Атаки ждали не раньше вечера.

Трое названных нами людей направились к соседнему комиссариату полиции, во главе которого стоял Клавье. Они нашли его там в беседе с членом Коммуны Жерезмом [2] и двумя друзьями Б. и М.

Разговор коснулся защиты площади Трона.

— Жаль, что у нас нет пушек, — сказал Ж. — Вот бы мы смели их оттуда, сверху!

— Пушек! — ответил Клавье. — Да вам стоит только спуститься в одиннадцатый округ. Там вам дадут наряд, по которому вы получите их в парке des Partants.

Артиллерийский парк des Partants был одним из многочисленных складов пушек, расставленных понемногу на всех возвышенностях 18-го, 19-го и 20-го округов. Парк des Partants был расположен на пустыре, к которому вела дорога, ныне улица des Partants, начинающаяся от улицы Амандье и доходящая до высот Менильмонтана [3].

Шестеро друзей, Клавье, Либертон, Жерезм, Ж., Б. и М., спустились по бульвару Вольтера. Адольф Бодуэн вернулся на площадь Трона.

На площади Вольтера Либертон и Жерезм поднялись в мерию, где еще заседало несколько членов Коммуны.

Клавье остался на площади с тремя другими [4].

До сих пор ни на баррикаде Трона, ни в комиссариате, ни по дороге в мерию ни разу не поднимался вопрос о Жеккере или о каком-либо другом заложнике.

---

[1] Адольф Бодуэн, который к моменту 18 марта был унтер-офицером армейской артиллерии, был расстрелян в Сатори 6 июля 1872 года. Теофиль Бодуэн умер на каторге на острове Ну.

[2] Жерезм (Ж. Б.), член Коммуны от 12-го округа.

[3] Чтобы следить за этим рассказом, необходимо обратиться к плану Парижа 1871 года. Так, например, читателю без карты не понять, почему на высоты Менильмонтана поднимаются по улице des Partants. Эта улица или «дорога», как говорили тогда, была единственным путем к высотам. Проспект Гамбетты, идущий вдоль северной стороны кладбища Пер-Лашез, был проложен позднее.

[4] В рассказе, напечатанном в «Правах Человека», Клавье приносит из мерии приказ расстрелять Жеккера. Это ошибка. Клавье не заходил в мерию и не принес оттуда никакого приказа ни от Коммуны, ни от кого бы то ни было вообще.

Имя мексиканского банкира [1] произнесено было впервые Клавье, неизвестно по какой ассоциации идей.

Может быть под влиянием соседства с Ла-Рокетт, где за два дня перед тем, в среду вечером, был расстрелян архиепископ.

Но почему именно Жеккер, а не кто-либо другой?

Говорил ли уже об этом Клавье с кем-нибудь из друзей?

Или это было заранее принятое решение, о котором он заговорил только теперь?

Во всяком случае он внезапно оборачивается к Ла-Рокетт и, указывая пальцем на тюрьму, говорит:

— Знаете, что мы сделаем, когда пушки будут спущены? Мы отправимся за Жеккером!

— Это идея! Но прежде нам нужны пушки для площади Трона!

— И мы расстреляем его, мерзавца, — добавил Клавье с угрожающим жестом [2].

Либертон и Жерезм вернулись с нарядом на пушки из парка des Partants.

Клавье сообщил им свой проект отправиться за Жеккером, чтобы расстрелять его.

Жерезм протестовал и покинул товарищей.

Приказ о взятии пушек из парка des Partants был отнесен на Тронную площадь одним федератом; запоздалый приказ: парк уже неделя как был эвакуирован федератами.

В ЛА-РОКЕТТ.

Пять человек, которых я назову еще раз, потому что до сих пор все путают их — Либертон, Клавье, Ж., Б. и М. — направились к тюрьме по той дороге, по которой во вторник вечером шли туда Жентон и Фортен с приказом о казни шести заложников в кармане.

Клавье позвонил у входа.

— Франсуа здесь? — спросил он у караульных.

Последовал утвердительный ответ и все пятеро вошли во двор, а оттуда в канцелярию, где находился Франсуа.

---

[1] На всем протяжении этого рассказа мы называем Жеккера мексиканским банкиром. Ж. Б. Жеккер, имя которого стало знаменитым в связи с его финансовыми операциями во время мексиканской кампании, был по происхождению швейцарец и родился в 1810 году в Поррентрюи (Бернский кантон).

[2] Лиссагаре тоже ошибается, когда в своей «Истории Коммуны» (изд. Дентю) говорит, что Жеккера вели на казнь Жентон, Франсуа, Бо и Кл. Двое последних действительно были в числе пяти, но ни Франсуа, ни Жентона там не было.

Обменялись рукопожатиями — все были старыми товарищами по политической борьбе.

— У тебя здесь имеется Жеккер? — спросил Клавье.

— Да.

— Ну-с, мы пришли за ним.

— У вас есть приказ?

— Тебя это не касается. Это наше дело.

И так как Франсуа не соглашался и медлил, Либертон и Ж. вытащили свои револьверы и, не говоря ни слова, приставили к горлу Франсуа.

— Теперь ты ничего не имеешь больше сказать? — спросил его насмешливо Клавье. — Ну, живей, подавай его сюда!

— Вы мне дадите расписку? — снова заговорил Франсуа.

Клавье черкнул расписку в принятии узника и положил ее на стол.

Франсуа отдал распоряжение привести Жеккера из его камеры, камеры № 28. С тревожным видом вертел он в руках расписку Клавье.

— Неприятный сюрприз для бедняги Жеккера! — сказал он вполголоса. — Еще вчера он предлагал мне миллион за устройство побега.

Дверь на лестницу, ведущую в коридор первого этажа западного флигеля, где помещался Жеккер, отворилась, и на пороге ее появился узник.

ДОПРОС.

Жеккер был в наглухо застегнутом сюртуке, стянутом в талии, который, вместе с коротко остриженными волосами и седеющей тщательно подстриженной бородой, придавал ему вполне корректный вид; у него было серьезное, покрытое легкой бледностью лицо.

Конечно, он не питал никаких иллюзий насчет ожидавшей его судьбы, заранее считая себя обреченным на смерть. Одному из своих товарищей по заключению, пытавшемуся подбодрить его, он сообщил, что его преследует дикая злоба, не имеющая никакого отношения к Коммуне, и что эта злоба не даст ему выйти живым из тюрьмы.

Итак, Жеккер был вполне готов к смерти. Твердым голосом отвечал он на то подобие допроса, которому подверг его Клавье, как только его ввели в канцелярию.

Клавье допрашивал узника более четверти часа. Он ставил ему в вину «огромное состояние», приобретенное банкиром в мексиканских спекуляциях.

Жеккер молчал, только время от времени выражая протест движением головы.

— Однако, — сказал Клавье, — эти деньги, где они? Куда вы их спрятали?

Жеккер возражал все так же спокойно:

— У меня нет ничего, — повторял он. — Ничего. Я должен миллионы своим кредиторам и собирался вернуться в Мексику, чтобы вновь попытать счастья [1].

— В таком случае, — продолжал Клавье, — как же согласовать ваши теперешние показания с предложением взятки, которое вы сделали вчера Франсуа?

— Никогда и никому я не делал предложений, — резко ответил Жеккер, — ни господину Франсуа, ни кому-либо другому.

Жеккер пожал плечами.

— Франсуа только что сказал мне, что вы предлагали ему миллион за устройство вашего побега.

— Повторяю вам, что я беден. У меня нет ничего, ничего. Как же вы хотите, чтобы я предлагал миллион!

Допрос окончился.

— Идем! В дорогу! — сказал Клавье, и все шесть человек вышли из тюрьмы.

Жеккер шел все такой же спокойный и невозмутимый в своем цилиндре и сюртуке.

Майор Либертон с револьвером в руке шагал впереди.

— Куда мы идем? — спросил кто-то.

— Пойдем в парк des Partants! — ответил Клавье. — Кстати увидим, отправлены ли наши пушки на Тронную.

В ПУТИ.

Пройдя улицу Ла-Рокетт до Пер-Лашез, а затем бульвар Менильмонтан, они углубились в улицу Амандье, узкую, окаймленную серыми домами с просветами на предместья Парижа, с окнами скромных мастерских, фабричными трубами и садами, окруженными грязными стенами.

Несмотря на ранний час, группы федератов, женщин, мальчишек толпятся на порогах дверей, у калиток.

Разглядывают арестованного, корректная осанка и строгий вид которого усиливают любопытство.

---

[1] Жеккер был арестован в префектуре полиции 10 апреля. Он явился туда за пропуском на имя Икра. Когда начальник отдела паспортов Шарль Риель задал ему несколько вопросов, Жеккер смутился. Его отвели к Раулю Риго, и там он назвал себя.

— Кто это?

— Куда вы идете?

И когда узнавали, что этот конвоируемый человек и есть «мексиканец», тот, о котором протрубили во все уши, Жеккер, знаменитый Жеккер, — кричали:

— Наконец-то! — и с ружьями на плечах присоединяются к конвою.

— Нам приходилось отказывать желающим!—говорил мне Ж.

Увеличенный «добровольцами» отряд достиг угла улицы des Partants.

Улица des Partants, не изменившая своего облика и по сей день, представляет собой род узкой и крутой тропы с буграми и рытвинами, углами и поворотами на каждом шагу, окаймленной глухими и таинственными пустырями.

Жеккер молчал, как бы чем-то поглощенный.

Шли уже более четверти часа.

— Это, однако, здорово далеко, — сказал М., когда дошли до улицы Пуэбла [1]. — Что если бы расстрелять его здесь?..

Жеккер не дрогнул.

Приостановились на минуту.

— Дойдем уж до конца, — сказал один из людей. — Все равно придется идти до парка.

Свернули направо в улицу Basses-Gâtines, по которой поднялись до Китайской улицы.

Парк des Partants был уже недалеко. Теперь можно было освободиться от пленника.

СТЕНА ЖЕККЕРА.

Вдоль левой стороны Китайской улицы тянулась старая стена, у подножья которой была вырыта канава.

Эта стена существует и сейчас (в 1902 г.). Но канава засыпана и по ней проложено нынешнее шоссе...

— Поставим его сюда, — сказал Либертон.

Сделали еще несколько шагов.

Жеккер продолжал хранить молчание. Он не проронил ни одной фразы, ни одного слова.

— Спускайтесь! — приказал ему Клавье.

Жеккер спустился на дно канавы.

Либертон стал в двух шагах от него, приставив свой револьвер к его виску.

---

[1] Ныне улица Пиринеев.

Человек пятнадцать выстроились напротив, взяв ружья на прицел.

— Пли! — скомандовал Либертон.

Только несколько человек выстрелили. Остальные подняли ружья.

Жеккер упал.

Толпа мальчишек, — копошившихся на улице как черви, — кинулась к трупу [1].

— Что с ним делать? — спросил своим гнусавым голосом один из мальчишек.

— Оставьте эту «падаль»! — сказал Клавье раздраженно, жестом отгоняя свору ребят.

[1] Максим Дюкан («Конвульсии Парижа», 8-е изд., , 277) говорит, что Франсуа «обыскал труп, забрал бумажник и кошелек». Между тем Франсуа там и не было.

УЛИЦА АКСО.

(Пятница, 26 мая).

ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

В тот момент, когда падал Жеккер, два человека, привлеченные звуками выстрелов, прибежали на место действия.

Один из них был Эмиль Гуа, председатель военного суда, заседавшего на улице Седен во время разбора дела капитана Бофора.

Гуа был в форме полковника федератов, с саблей на боку, с револьвером за поясом. Другой, офицер К., в блузе федерата и капитанском кепи.

Они были рядом в винном погребке улицы des Partants и закусывали, когда услыхали выстрелы...

Гуа спросил, вглядываясь в труп:

— Это кто? Шпион?

— Это Жеккер.

— Жеккер?.. Где вы его взяли?

— В Ла-Рокетт...

Гуа что-то обдумывал:

— В Ла-Рокетт...

Потом вдруг решился:

— А не отправиться ли нам за прочими в Ла-Рокетт!.. За попами... за жандармами... [1]

---

[1] Максим Дюкан («Конвульсии», I, 8-е изд., стр. 301) говорит, что Гуа получил от Коммуны довольно неопределенный приказ, который, не указывая никого поименно, «предписывал заведующему домом заключения Франсуа передать кому следует жандармов, содержащихся в Ла-Рокетт, а также всех заложников, которых конвой сможет увести».

Этот туманный приказ существует только в воображении Максима Дюкана. Гуа действительно получил в понедельник, 22 мая, приказ; но это был приказ о переводе заложников из Мазаса в Ла-Рокетт, приказ, которого он не исполнил. И тут, как и в рассказе о смерти архиепископа

Никто не отвечал.

Гуа продолжал:

— Мы бы взяли с собой роту Питомцев Коммуны... Идет?.. И, наконец, у меня есть еще мой карательный взвод.

То, что Гуа называл своим карательным взводом, была рота, составленная им из отборных людей, набранных среди самых отчаянных головорезов и предназначенных для исполнения приговоров военного трибунала, в котором он председательствовал. Эти люди носили на кепи широкую красную полоску.

Питомцы Коммуны, состоявшие под командой Эда, отличались своей темно-зеленой формой, шароварами, как у зуавов, того же цвета, обтянутыми внизу кожаными гетрами. На голове они носили мягкую «гарибальдийскую» шляпу с петушьим пером.

— Надо спросить мнения Эда, — сказал кто-то. — Он должен быть в секторе.

«Сектор» помещался в доме № 81 по улице Аксо, против Башенной улицы, в сотне метров от укреплений, на самой высоте Бельвилля. В течение шести месяцев осады этот маленький домик служил канцелярией генералу Каллье. [1]

Множество офицеров национальной гвардии, среди них и К., являлись с рапортом в низенькую комнатку этого серого домишка, окаймленного большим заросшим деревьями садом, где в пятницу 26 мая должны были встретиться некоторые члены Коммуны и Центрального Комитета.

В улице Аксо Эд выслушал, что сказали ему Гуа и пришедший с ним Ж., один из пятерки, расстрелявшей Жеккера. Но когда Гуа попросил Эда дать ему его отряд, последний засмеялся.

— Попробуй, может быть они пойдут за тобой, — сказал он Гуа, — что касается меня, то я не даю им никаких распоряжений.

Отнюдь не обескураженный этими словами Гуа покинул Эда, собрал вместе с Ж. два десятка *Питомцев Коммуны,* отыскал среди отступавших бойцов человек десять из своего взвода и, в сопровождении такого отряда, в общей сложности человек в тридцать, спустился обратно к Пер-Лашез и Ла-Рокетт, где его уже столько часов поджидали товарищи.

и о смерти Жеккера, Максим Дюкан на каждом шагу искажает истину: «Гуа садится на коня» (стр. 307); Ранвье говорит Гуа в мерии Бельвилля: «Пойди, расстреляй этот сброд на валу» (стр. 310). Все вымыслы, равно как и пресловутая маркитантка, одетая в красное, верхом на лошади, с саблей в руке!

[1] Парижский укрепленный район с начала осады был разделен на девять секторов; 2-й сектор (Бельвилль), обнимавший линию бастионов от 12-го до 24-го включительно, состоял под командой генерала Каллье.

МНЕ ИХ НУЖНО ПЯТЬДЕСЯТ!

Эти приготовления заняли целое утро. Было уже два часа, когда казнившая Жеккера пятерка, Гуа, К. и их вооруженный отряд явились в тюрьму.

Повторилась утренняя сцена.

Явившемуся на зов Франсуа Гуа бросает повелительным тоном:

— Мы пришли за заложниками!

— У тебя есть приказ? — спросил Франсуа. — Я никого не выдам тебе без ордера. С меня довольно одного Жеккера. Что вы с ним сделали?

М. и Ж. выхватили свои револьверы и приставили их к горлу Франсуа.

— Ну! — приказал ему Гуа, — давай сюда списки...

И, не сводя глаз с неподижного Франсуа, прибавил:

— На этот раз мне их нужно пятьдесят!

Франсуа сделал движение испуга.

— Во-первых—попов, — продолжал Гуа, не поднимая глаз от поданных ему списков и записывая на отдельном листке выбранные им имена, — иезуитов... тех, что из монастыря Пикпуса... затем парижских гвардейцев... и, наконец, самое главное, четырех сыщиков...

Франсуа поднял голову.

— Да-с, — продолжал Гуа... — Я прекрасно знаю, что ты хотел бы выручить одного из них... Но, не беспокойся, этому не быть...

Говоря это, Гуа не отводил своего жесткого, пристального взгляда от стола, за которым, согнувшись, стараясь скрыть свое лицо, сидел человек, о котором он говорил.

Этого человека звали Грефф. Он был другом Франсуа.

— Прибавь же к списку, — обратился Гуа к директору тюрьмы,—эти четыре хорошо известных тебе имени: Ларжильера, Рюо, Греффа и Дереста.

— Греффа! — воскликнул Франсуа. — Но почему же его?

— И ты еще спрашиваешь!.. Берегись!.. Я знаю, что ты уже раз помог ему бежать. Но на этот раз он уже не удерет... Довольно слов! Вели-ка вывести их всех из камер!

— Однако, — возразил Франсуа, — куда ты их хочешь вести?

— Тебе какое дело? Ну же! Вели скорее переписать список. И в путь!

Гуа пробежал переписанный в канцелярии список, сличил его с тем, который он сам составил, пересчитал еще раз имена. Через четверть часа обреченные на смерть заложники были собраны на главном дворе.

Тридцать шесть парижских гвардейцев, в большинстве арестованных 18 марта, десять священников и монахов, четверо штатских. [1] Многие с обнаженной головой. Некоторые, предполагавшие простой перевод в другую тюрьму, держали в руках своих пожитки, завязанные в платок.

Один из сторожей сделал перекличку. По отрывистой команде Гуа пятьдесят арестованных направились к выходу из тюрьмы.

По обеим сторонам аллеи, на том месте, где не так давно красовались пять каменных плит гильотины [2], стояли в ожидании, с заряженными ружьями в руках, *Питомцы Коммуны.*

Выйдя на улицу, колонна, которую сразу же окружила грозно жестикулирующая толпа, направилась к Пер-Лашез.

— Куда вы идете? — кричали тем, кто стал во главе шествия.

— В Бельвилль!

РАЗГОВОР В ТЮРЬМЕ.

Еще немного, и Ла-Рокетт увидела бы повторение трагической сцены, разыгравшейся в среду.

Пока сторожа делали перекличку, Гуа и его товарищи совещались на дворе.

— Куда мы их поведем? — спросил один.

Об этом еще никто не подумал.

Задавший этот вопрос продолжал:

— По-моему, от попов надо бы отделаться сейчас...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я говорю, что попов, как и четырех полицейских, следовало бы расстрелять здесь...

---

[1] В действительности выведено было тридцать семь гвардейцев, но один из них спрятался и спасся. Почти во всех книгах говорится, что священников было одиннадцать. Это ошибка: их было только *десять.* С четырьмя штатскими это и составляет *пятьдесят.*

Один свидетель и участник драмы, с которым я беседовал, ясно помнит эту цифру *пятьдесят,* во-первых потому, что сам пересчитывал заложников, а во-вторых потому, что присутствовал при разбивке их во дворе тюрьмы на пять групп, по десять человек в каждой.

[2] Вделанные в мостовую плиты, в которые упирались устои плахи во время казней, были выворочены 6 апреля 1871 года. Франсуа велел перетащить их к себе на улицу Шаронн, где у него была упаковочная лавка. Их можно было видеть там еще 14 января 1872 года.

— Почему?

— Потому, что потом, когда мы выйдем на улицу, они нам будут мешать... Не будь их, мы могли бы сказать толпе, что военные, которых мы ведем, это взятые нами в плен солдаты версальской армии... Это может произвести некоторое впечатление на бойцов, вселить в них уверенность, что мы побеждаем, или, по крайней мере, что наше дело еще далеко не проиграно... Сейчас всюду говорят о поражении... Повторяю вам, что этим путем мы сумеем ободрить тех, кто пал духом... Если вы со мной согласитесь, вы сами поймете, что не следует брать с собой ни попов ни сыщиков... Мы покончим с ними здесь прежде, чем уйдем из тюрьмы.

Никто не отвечал. Все слушали молча.

— Ба! — сказал Гуа, — лучше будет все-таки свести с ними счеты в один прием.

Несколько минут спустя колонна тронулась в путь по направлению к Пер-Лашез и Бельвиллю.

ЧЕТВЕРО ШТАТСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ.

Сорок шесть заложников, священников и военных, погибнут в буре революции безыменными жертвами, которых не преследует ничья личная ненависть. Другое дело четверо штатских, или, по крайней мере, трое из них.

На протяжении всего пути от тюрьмы до стены, к которой их приставят, с них ни на минуту не спускают глаз. Их ведут, держа револьвер у виска. Когда прогремят последние выстрелы, обшарят груду окровавленных тел, чтобы убедиться, что они действительно мертвы, что ни один из них не спасся.

Кто же были эти люди? И откуда такая непримиримая ненависть?

Для тех, кто их вел на смерть, преступление четырех штатских заложников заключалось в факте их принадлежности к бывшей полиции, при чем вина троих, Ларжильера, Рюо и Греффа, усугублялась тем обстоятельством, что они обвинялись в предательстве своих товарищей по политической борьбе, с какой целью они и вступили в ряды императорской полиции.

Конечно, ни в какой измене не могли упрекнуть чиновника Дереста. Его преступление заключалось в том, что называется «исполнение своего долга». Он был причастен ко всем политическим делам конца империи. Он был секретарем знаменитого начальника тайной полиции Лагранжа; только поэтому и пал на него выбор.

Ларжильер, старый боец 1848 года, за участие в июньском восстании был приговорен к каторжным работам. Его помиловали. Он фигурировал среди обвиняемых на процессе кафэ Ренессанса [1] с декабря 1866 по январь 1867 года (рядом с той молодежью, добрая часть которой впоследствии участвовала в Коммуне).

Рюо фигурировал в процессе, известном под названием процесса Комической Оперы [2]. Он был близок с Делеклюзом. Один из тех, кто его знал и уважал, не подозревая страшной истины, Ранк плакал, как мне говорили, когда узнал об ужасном обвинении, тяготевшем над Рюо.

Грефф начал кое с кем из молодежи в 1861 году агитацию за гражданские похороны. Он был самым рьяным из всех и каждый день привлекал новых сторонников. Прото [3], бывший тогда еще совсем новичком, не так давно делился со мною своими впечатлениями о Греффе и рассказывал, как тот, под видом привлечения неофитов, окружил, опутал своих юных товарищей какими-то подозрительными людьми.

Эмиль Жиффо, игравший в профектуре полиции у Рауля Риго роль доверенного лица, которому было поручено арестовать Ларжильера и Рюо, рассказал мне, каким образом открылось предательство этих трех человек и как они были схвачены и брошены в Мазас. Вот этот рассказ во всех своих любопытных и захватывающих подробностях.

---

[1] Этот процесс был создан полицией, об'явившей заговором небольшое собрание революционной молодежи в кафэ Ренессанса, на котором было прочитано известное письмо Феликса Пиа к студентам, призывавшего их быть «революционерами при Империи и социалистами при Республике». *(Прим. ред.).*

[2] Разбор дела Комической Оперы происходил с 7 по 16 ноября 1853 года под председательством Занджиакоми. В своей обвинительной речи генеральный прокурор Рулан сказал по поводу Рюо:

«Рюо! О чем спорить? Он замешан во всем. Он все организовал. Хитрый заговорщик, стойкий и непреклонный, он держит себя невозмутимо-спокойно и отвечает категорическим отрицанием на подавляющие его улики. Он один из наиболее виновных. Да будет же он строго наказан вашим правосудием!»

Рюо был приговорен к ссылке. Когда Альбер Ферме в 1869 году выпустил свою книгу «Заговоры в эпоху Второй Империи», Ранк, бывший одним из обвиняемых по делу заговора Комической Оперы, писал ему: «Через пятнадцать лет я, как сейчас, вижу скамьи суда присяжных, вижу сидящим между двумя жандармами Жозефа Рюо, человека стоического характера, непреклонной души...» Какие таинственные пути, какая суровая нужда привела этого гордого бойца к позорному ремеслу, за которое он заплатил смертью, увы, заслуженной!

[3] Прото (Эжен), член Коммуны (от 11-го округа), делегат юстиции (с 21 апреля), член Исполнительной Комиссии (с 21 апреля).

ЛАРЖИЛЬЕР, РЮО И ГРЕФФ.

Как-то в апреле 1871 года Эмиль Жиффо вздумал еще раз пересмотреть бумаги, найденные в кабинете начальника императорской тайной полиции Лагранжа. (После 4 сентября там уже производились однажды розыски).

Кабинет Лагранжа был расположен в старом флигеле префектуры довольно далеко от бюро делегата Коммуны.

Когда Жиффо вошел в кабинет Лагранжа, камин был еще полон бумаг, сгоревших почти до тла: это были знаменитые карточки, при помощи которых можно было разыскать имена агентов. Отделение Т. А. (Тайные Агенты) было совершенно пусто. Лагранж скрыл свою публику.

Открыли другие ящики. Там была напихана в беспорядке масса пустяковых бумажек, словно их положили обратно после того, как из'яли самые ценные. Все найденное было отнесено в кабинет Рауля Риго.

Когда их разобрали, нашли несколько писем, в которых узнали, как полагали, почерк Ларжильера. Одно из них была просьба денег, обращенная к Лагранжу.

Риго немедленно подписал приказ о его задержании.

Но где найти Ларжильера? Никаких сведений о нем с 4 сентября не имелось. Знали только, что он проживает в Бельвилле.

Решили поискать в списках национальной гвардии и действительно нашли его имя в списках одной резервной роты 47-го батальона. Рота несла караул в здании министерства финансов.

Когда Жиффо, уполномоченный арестовать Ларжильера, вошел в караульное помещение при министерстве, он увидел Ларжильера, которого знал по прежним встречам в политических собраниях времен Империи: последний, растянувшись на походной койке, спокойно покуривал свою трубку.

Жиффо сделал знак. Ларжильер поднялся. Оба вышли.

— Риго требует тебя в префектуру.

Ларжильер побледнел.

— Зачем?

— Какая-то справка.

Подошли два агента в штатском. Ларжильер понял.

— Опять клевета! — воскликнул он. — Я знаю, что у меня есть враги, которые уже пытались доказать, что я принадлежал к полиции.

Жиффо молчал.

У ворот их ожидал экипаж. Ларжильер сел в него вместе с Жиффо и одним из агентов. Другой поместился на козлах.

Во время переезда не было произнесено ни одного слова.

По прибытии в префектуру все четверо поднялись в кабинет Риго.

Риго сидел за своим письменным столом; перед ним лежало развернутое письмо Ларжильера.

— На, прочти, — сказал Риго арестованному. — Это, ведь, твой почерк...

Ларжильер не находил слов. Он был бледен, как смерть.

По знаку Риго четыре гвардейца окружили его. Секретарь прихлопнул печать к заранее заготовленному приказу. Ларжильер был отведен в депо для арестованных, а затем в Мазас, откуда он выбыл только в понедельник 22 мая, когда его вместе с прочими заложниками перевели в Ла-Рокетт.

Одновременно с письмом Ларжильера в деловых папках Лагранжа были обнаружены бумаги, которые оказались столь же компрометирующими для Рюо [1]. Был отдан приказ о задержании его; выполнение его опять было возложено на Жиффо.

Рюо жил на Монмартре. Его отыскали таким же способом, как и Ларжильера. Несмотря на свой преклонный возраст, он числился в маршевом батальоне, стоявшем в Клиши.

Когда Жиффо, получив дополнительные сведения в штабе укрепленного района, разыскал его, Рюо находился на баррикаде Аньера, близ типографии Поля Дюпона, построенной вдоль железнодорожного пути.

Рюо лежал за грудой камней.

Необ'яснимая загадка! Человек, предавший своих товарищей, сражается и не боится рисковать жизнью, появляясь в самых опасных местах!

В префектуре Рюо увидел себя перед лицом Реньяра [2].

Реньяр взял одну не подписанную бумагу, которую приписывали Рюо. Он протянул ее последнему, который в ответ только молча пожал плечами.

Перед Рюо положили чистый лист бумаги и предложили написать несколько строк.

---

[1] Перед военным судом Гастон Да-Коста дал следующее показание. «Производя розыски в префектуре полиции, во главе которой стоял тогда де-Кератри, мы (Риго, в то время центральный комиссар, и Да-Коста) установили, что Рюо был тайным агентом с 1857 года за плату в 200 франков в месяц. Если бы мы хотели расстрелять его при Коммуне, мы могли бы просто донести на него людям его же батальона, и он был бы расстрелян. Риго допрашивал Рюо 16 мая и сказал ему, что его расстреляют на другой же день, если он не сделает разоблачений. На завтра Рюо сделал разоблачения, и дело не получило дальнейшего хода». («Судебная Газета». Процесс Да-Коста, 28 июня 1872 года.)

[2] Реньяр (Альбер), доктор медицины, генеральный секретарь префектуры полиции.

Рюо заплакал. Реньяр сократил тяжелую сцену. Да-Коста подписал приказ о заключении его под стражу.

Грефф был арестован при обстоятельствах по меньшей мере необычайных. Он шел за гробом одного федерата, которого везли на кладбище Пер-Лашез, с цветком в петлице, когда был узнан, отведен в префектуру полиции, а затем в Мазас.

Когда 22 мая Греффа перевели в Ла-Рокетт, одновременно с Ларжильером и Рюо, Франсуа оставил его при себе в качестве письмоводителя, имея в виду устроить ему побег. Из Мазаса ему удалось уже раз бежать. Фортен, тот самый, который получил от Ферре приказ расстрелять архиепископа, узнав, что Грефф вернулся домой, отправился за ним и водворил его обратно в тюрьму.

Последние усилия Франсуа спасти Греффа от смерти не увенчались, как мы видели, успехом перед угрозами Гуа.

ПО ДОРОГЕ К МЕРИИ БЕЛЬВИЛЛЯ.

Едва только заложники успели переступить порог тюрьмы Ла-Рокетт, как толпа разразилась проклятиями по их адресу.

Колонна не сделала и двух шагов в направлении Пер-Лашез, как уже надо было защищать арестованных от женщин, бросавших в них нечистоты.

Когда свернули за угол бульвара Менильмонтан, злоба, клокотавшая в сердцах этой беспорядочной массы бойцов, обезумевших женщин и отчаянных мальчишек, перешла в бешенство.

— Смерть им! Смерть им! — кричали со всех сторон. — Смерть мерзавцам!

Люди проталкивались сквозь ряды конвойных, старались добраться до заложников и ударить их.

Конвоиры тщетно выбиваются из сил, чтобы оградить их от ярости толпы. Ж. получает удар дубиной, М.—ружейным прикладом.

На перекрестке Оберкампф, при повороте на шоссе Менильмонтан, шествие представляет собой уже одну грозно рокочущую массу, которая катится вперед под гул криков и лязг оружия.

Путь преграждает баррикада.

Добровольцы из отряда Эда, всего около тридцати человек вместе с людьми из взвода Гуа, взятыми поутру из сектора, напрасно пытаются успокоить толпу.

— Я уж думал, что их всех перебьют на месте! — говорил мне впоследствии один из конвойных.

Люди, охранявшие баррикаду, какая-то рота 74-го батальона под командой капитана Даливу[1], стояли, выстроившись в один ряд.

— Не можешь ли ты дать нам подкрепление? — спросил Гуа у капитана.

— Я иду с вами, — ответил Даливу.

Увеличенная двумя десятками гвардейцев и одним офицером, колонна двинулась по шоссе. Во всех дверях, во всех окнах виднелись группы любопытных или грозно жестикулирующих людей. Изо всех улиц, выходящих на широкую дорогу, притекают толпы мужчин, женщин, детей, удлиняя хвост колонны.

Горнисты, идущие впереди, начинают играть.

Покрывая проклятия и брань, они оглушительно трубят популярный марш времен осады:

Y a la goutte à boire là-bas...
Y a la goutte à boire!

В голове колонны идет Гуа в форме полковника федератов.

Сопровождавшие его в Ла-Рокетт одеты простыми гвардейцами; на некоторых кепи с галуном капитана или поручика.

Клавье, комиссар 12-го округа, одет в блузу федерата и опоясан красным шарфом; на голове у него кепи без галуна.

Рядом с ним идет маркитантка, совсем молоденькая брюнетка.

Дальше следуют парижские гвардейцы в форменных куртках, серых холщевых штанах и кепи. Некоторые в фуражках.

За ними десять священников, иезуитов и монахов Пикпуса в рясах.

В хвосте—четверо штатских заложников. Толстый, среднего роста, Ларжильер в зеленой шинели национального гвардейца, бывшей на нем в момент его ареста в караульном помещении министерства финансов. Маленький коренастый Рюо, в светло-голубых плюшевых штанах, синей блузе и красном шерстяном жилете — в костюме каменотеса. Полицейский чиновник Дерест, высокий, корректный, в черном пальто и панталонах.

Рядом с ними, следя за малейшим их движением, один из конвойных, К., с заряженным револьвером в руке, готовый выстрелить в того, кто сделал бы попытку бежать.

— В мерию! — кричит один голос.

Колонна достигла угла улицы Пуэбла, разрытой прокладкою новой улицы Пиринеев.

Там собралась густая толпа, привлеченная шумом и криками.

— Смерть им! Расстрелять их!

---

[1] Даливу (Луи), капитан 3-й роты 74-го батальона федератов. Приговорен к смерти по делу улицы Аксо. Расстрелян в Сатори 24 июля 1872 года.

Женщины обезумели от ярости.

— Свиньи! — кричит одна из них, уставившись на группу священников. — Свиньи! Не будете вы больше соблазнять [1] наших дочерей!

По улице Де-Риголь дошли до мерии, бывшей тогда против церкви.

Ранвье [2] стоял на пороге с ружьем на плече.

Он издали увидел приближавшуюся колонну.

— Куда вы их ведете? — спросил он у тех, что шли впереди, когда они поровнялись с ним.

— В сектор!

Шествие остановилось всего на несколько минут. Оно пересекло площадь и углубилось в Парижскую улицу, ныне улицу Бельвилля.

ПАРИЖСКАЯ УЛИЦА.

На этой Парижской улице, видевшей прохождение пятидесяти заложников, я нашел живого свидетеля этих жутких минут.

Однажды после полудня я бродил по соседним кварталам в поисках воспоминаний о незабываемых днях, как вдруг заметил бедную лавченку старьевщика, выходящую на узкий тротуар приблизительно на полдороге от улицы Аксо.

Я подумал, что в этой убогой лавченке, через распахнутую дверь которой видна была груда старых вещей, должен был витать еще среди вороха бумаг и всяких обломков дух ужасных дней майской недели.

На пороге стояла женщина.

Кто знает? В молодости она могла уже быть здесь и видеть проходящих заложников.

— Нет ли у вас чего-нибудь об осаде, — сказал я, — о Коммуне? Гравюр, медалей...

Она разложила передо мной папку с каррикатурами того времени...

— Вы были в Париже... во время войны?

— Да, сударь. И я помню это как вчера.

— А при Коммуне?

— Ну-да, при Коммуне, я хочу сказать.

— Значит, вы-таки здесь видели кое-что. Ведь по этой улице проходили заложники, расстрелянные на улице Аксо...

---

[1] Буквально гораздо грубее.

[2] Ранвье (Габриель), член Коммуны (от 20-го округа). Член Комитета Общественного Спасения (со 2 мая).

Язык лавочницы развязался. Я наводил ее на воспоминания, расспрашивал о сомнительном факте, легенде, слухе, пользуясь случаем выяснить их.

— Никогда я не забуду этого дня, — сказала мне женщина. — В то время мне было лет пятнадцать. Я жила здесь вдвоем с моей матерью, вдовой... Было около пяти часов вечера, когда заложники прошли мимо нас. Все закрыли двери и ставни. Были, знаете ли, предупреждены соседями, узнавшими о прибытии заложников в мерию... Скоро услыхали мы адскую музыку: звуки рожков, бой барабанов; потом громкие крики и топот, словно целый полк проходил беглым шагом... На углу улицы уже кричали: Смерть им!.. Мы слушали, дрожа от ужаса за ставнями... А горнисты трубили, трубили так громко, что стекла чуть не полопались.... Я решилась выглянуть, приоткрыв немного ставни. Я увидела их шагах в двадцати... Ах, сударь!..

Женщина умолкла, охваченная страшным воспоминанием.

— А была ли впереди маркитантка, — спросил я, — маркитантка верхом на лошади, с белой сеткой на прическе? Вы знаете: так рассказывают.

Она продолжала, не отвечая на мой вопрос:

— Я, как сейчас, вижу всю колонну. Впереди шли жандармы; я видела слезы у них на щеках... Старый, престарый священник. Потом разные люди: офицеры Коммуны; люди в таких костюмах, каких я никогда не видывала; женщины с ружьями, дети, тоже вооруженные; женщины, одетые в мужское платье, в форму национальных гвардейцев...

Я счел момент подходящим, чтобы снова заговорить о маркитантке, знаменитой маркитантке верхом на лошади, о которой упоминается во всех рассказах..

Женщина углубилась в свои воспоминания.

— Нет. Я не помню... Я никого не вижу верхом... Нет... Но я вижу... вот, как сейчас вас, вижу долговязого парня, кричавшего: «Уберите ваши головы, или я буду стрелять!» Сами посудите, закрыла ли я после этого ставни... С четверть часа еще я слышала крики, звуки рожков... Люди бежали вслед за толпой... Вечером нам сказали, что все они были расстреляны в Венсенском предместьи.

УЛИЦА АКСО.

Когда заложники прибыли на улицу Аксо, было шесть часов.

— Стройся в ряд! — крикнул Гуа.

Дисциплинированные, как на параде, молча вытянулись в линию парижские гвардейцы, и среди них, превосходя всех своим ростом, бригадир с приколотой к груди военной медалью..

Заложники были выстроены по шоссе, в том месте, где улица Аксо, которая, начиная с Парижской улицы, идет в город и теперь спускается к улице Боррего.

В одном из окон маленького домика, против входа в сектор, виднелась группа людей, среди них два члена Коммуны с красными шарфами на штатских костюмах...

Заложники ждали.

Один из офицеров, от самой тюрьмы шедший во главе колонны, обернулся к окну, в котором стояли два члена Коммуны, и обнаженной саблей сделал знак, что хочет говорить.

Едва поднял он свою саблю, как в этой беспорядочной и шумной толпе воцарилось молчание.

Взоры всех обратились к окну.

Офицер говорил.

Он обращался к Эду, стоявшему там в мягкой шляпе своих *Питомцев Коммуны.*

— Вот, — сказал офицер, указывая на группу пленников, — заложники, которых мы взяли в Ла-Рокетт... Куда их вести?

— Ты сам привел их сюда, — сухо ответил Эд, как и утром, снова отклоняя ужасную ответственность. — Мне нечего приказывать тебе.

— Тогда направо кругом. Марш! — крикнул офицер.

Направо кругом,—это был вход в сектор.

Один из людей открыл решетку, за которой начиналась длинная и узкая аллея.

Минут через пять заложники оказались загнанными в пустырь, окруженный одноэтажным строением с колоколенкой и деревянным балконом внизу.

В нескольких шагах от него виднелась зеленая листва сада, за которой чернела высокая стена.

Дело не обошлось без инцидентов. Какой-то человек атлетического сложения, стоя спиной к решетке, осыпал пленников бранью и ударами. Этот факт передавал мне бывший при этом Авриаль.

В то время, как заложники входили в сектор по аллее, толпа с своей стороны наводняла сад.

Что-то подсказывало этой толпе, доведенной поражением до отчаяния, что сейчас разыграется страшная месть, и что у подножия той стены, которую она рассматривает с самого прибытия колонны, заложники будут расстреляны.

СТЕНА

За четверть часа до казни три человека, — член Коммуны Авриаль и два журналиста Лиссагарэ [1] и Альфонс Эмбер [2] — находились в зале первого этажа маленького кабачка—кабачка «Дебен»—в доме № 78 по улице Аксо, расположенного против одного из углов рокового сада, угла улицы Боррего.

Один из них приподнял занавеску и увидел сад, переполненный вооруженными людьми.

На улице раздавались яростные крики женщин.

— Молчите, распутицы, — прикрикнул на них Эдуард Рулье [3], ветеран июньских и декабрьских дней, — завтра вы, пожалуй, то же сделаете с нами!

С момента прибытия колонны те несколько членов Коммуны, которые находились в это время на улице Аксо, всячески пытались помешать расправе.

Курне [4] надевает свой красный шарф, хочет говорить. Его голос заглушают. Ему грозят.

Варлен [5] делает нечеловеческие усилия. Он предлагает своим коллегам и нескольким друзьям броситься в самую гущу толпы, в сад.

— Нет, — возражает Рулье, — не надо, чтобы потом говорили, что там были члены Коммуны.

Прислонившись к стене сада, Валлэс агитирует в одной группе. Возле него Анри Фортюне [6] в штатском, Алявуан [7], Арнольд [8].

---

[1] Лиссагарэ (Ипполит), журналист. Во время Коммуны был главным редактором газет «Действие» («L'Action») и «Народный Трибун» («Le Tribun de Peuple»).

[2] Эмбер (Альфонс), журналист, один из трех редакторов газеты «Пер-Дюшен» («Le Pére Duchêne»).

[3] Рулье (Эдуард), сапожник, член комиссии труда и обмена (с 5 апреля).

[4] Курне (Фредерик), сложивший свои полномочия депутат Национального Собрания, член Коммуны (от 15-го округа), делегат Ведомства Общественной Безопасности (с 25 апреля).

[5] Варлен (Эжен), член Коммуны (от 6-го округа), член комиссии финансов (с 30 марта), причисленный к военной комиссии (6 мая). Расстрелян без суда на улицах Парижа 28 мая 1871 года.

[6] Фортюне (Анри), член Коммуны (от 10-го округа).

[7] Алявуан (Андрэ), член Центрального Комитета, управляющий национальной типографией.

[8] Арнольд (Жорж), член Коммуны (от 18-го округа) и один из основателей Центрального Комитета.

— Однако! — говорит Арнольд Алявуану, — не для этого же создавали мы Центральный Комитет!

Тем временем заложников прижали к решетке сектора.

Алявуан бросается, чтобы загородить вход. Он натыкается на федерата с седой бородой, который, встав перед ним, преграждает ему путь.

— Вот уж неделя как наших расстреливают пачками! — кричит старый боец, — а вы хотите, чтобы мы щадили этих людей!

И, вынув револьвер, он направил его на Алявуана..

Улица Аксо представляет в этот момент потрясающее зрелище. Когда утихают крики толпы, доносится пальба происходящего невдалеке боя. Тут же рядом люди бегут к воротам крепостной стены, чтобы прорваться сквозь линии прусских войск.

Какая насмешка! Сливаясь со свистом пуль и взрывами снарядов, доносятся звуки вальса, исполняемого в нескольких метрах от вала немецким военным оркестром!

Заложники вошли в сектор. Всякая дальнейшая попытка спасти их от смерти напрасна. Тем, кого возмущает эта ненужная бойня, остается только снова броситься в бой и бежать подальше.

Алявуан, узнавший в толпе несколько человек из своего четвертого округа, чертит мелом на ставнях какой-то лавченки слова: «Четвертый легион». Несколько вооруженных людей, принадлежащих к местным батальонам, собираются туда, чтобы направиться к баррикадам, окружающим Бютт-Шомон.

Варлен снова принимается подписывать приказы, выдавать боны и деньги для реквизиций. Внешне он спокоен.

Вдруг раздаются выстрелы.

— Я никогда не забуду этой жуткой минуты, — рассказывал мне Альфонс Эмбер, один из трех названных выше друзей,— никто из нас не решался подняться, чтобы подойти к окну... Вошла хозяйка, неся блюдо, которое мы ей заказали,—тушеного кролика. Она остановилась бледная, как смерть. Глаза ее были мокры от слез. Она поспешно поставила на стол блюдо, которое тряслось в ее дрожащих руках, закрыла лицо и зарыдала... Выстрелы продолжались. Мы сидели без движения, онемевшие, подавленные... Наконец, мы услыхали только глухой шум, подобный топоту обращенного в бегство отряда... Когда мы вышли, садовая калитка была отперта. Я подошел к решетке забора, идущего вдоль улицы Боррего, и увидел поломанные кустарники и истоптанную почву. Казалось, здесь пронесся опустошительный ураган... У подножия стены чернела страшная груда, наполовину уже окутанная тьмою. Это была груда трупов.

БОЙНЯ

Позднее я узнал все подробности бойни.

Одно из действующих лиц драмы, сопровождавших колонну к месту казни, дало мне детальное описание кровавой сцены на том самом месте, где она разыгралась.

Влево, на расстоянии нескольких метров от высокой стены, стоял капитан Даливу с обнаженной саблей в руках, с трудом сдерживая толпу.

Ружья уже были взяты на прицел.

— Стойте! — кричит Даливу, — не стреляйте пока! Ждите моей команды!

Направо от стены, в проходе, соединяющем сад с двором сектора, сквозь ветви деревьев, виднеются панталоны парижских гвардейцев и рясы священников.

Гвардейцы стоят в нескольких шагах от стены. Их десять.

К., один из тех, кто вел колонну, находится тут же. Он указывает пальцем на стену.

Гвардейцы молча выходят вперед и становятся в ряд лицом к толпе.

— Лицом к стене! — кричит Гуа.

— Ни за что! — отвечает один бригадир.

Но толпа слишком долго ждала. Ружья берутся на прицел. Раздается сто одновременных выстрелов. Десять заложников падают.

Не успели они пасть, как им на смену выталкивают новых десять.

Стреляют из всех углов сада, наугад, без всякой команды.

Стрельба до того беспорядочна, что стреляющие сами оказываются ранены. Рядом с Ж. одному человеку задело ухо, у другого оторван большой палец.

Один заложник, раненый первыми выстрелами, приподнимается. Новый залп сваливает его с ног.

— Их подстреливали, как кроликов, — рассказывал мне один из участников расправы, стоя перед знаменитой стеной и указывая на роковой угол, откуда выводили на казнь заложников.

После военных очередь пришла за священниками.

Последними были расстреляны четверо штатских заложников.

Когда все было кончено и груда больше не шевелилась, *Питомцы Коммуны,* во время стрельбы стоявшие в первом ряду, вскинули ружья на плечо и покинули сад....

Толпа ушла обратно к мерии, затихшая, словно уже преследуемая угрызениями совести и сознанием ответственности за кровавую расправу.

— Я оставался там одним из последних, — сказал сопровождавший меня приятель, — и продолжал стоять на выступе рядом с Даливу.. Я был словно пригвожден к месту. Вдруг я спрыгнул вниз и остановился только уже на улице... Там я взглянул на свой мундир: он был весь в крови и забрызган кусочками мозга.

Я взглянул на старого бойца.

— А не преследует ли вас иногда мысль об этом? — спросил я его.

— С чего!.. Это же не преступление... Это акт революционного правосудия, как в аббатстве [1]...

ПОДСЧЕТ МЕРТВЫХ.

За опустевшей оградой остались двое, Гуа и другой офицер, К

Начинало темнеть. Небо было дождливое.

— Никого больше! — сказал Гуа. — Да! теперь им страшно, трусам! Ни один не посмеет вернуться сюда!

Зрелище действительно было ужасное.

Груда мертвых у подножия стены на багровой от крови земле!

Гуа вынул из кармана сложенный лист бумаги, который он медленно развернул и положил на край выступа...

Это был список пятидесяти заложников, взятых им в Ла-Рокетт.

Оба офицера подошли к груде тел и стали приподнимать их, словно стараясь узнать и установить их личность.

— Мы искали трех шпиков, — говорил мне К. — И они действительно были тут! Мы узнали также рослого бригадира, изуродованного, с вывалившимся из орбиты глазом. Честное слово, он держал себя молодцом, и это единственный, о котором я пожалел, что ему не удалось удрать!

Когда мертвых вытянули в ряд, их пересчитали...

— Пятьдесят один!.. Ты-то хорошенько считал?

— Да, пятьдесят один.

— Странно!.. В моем списке значится только пятьдесят...

И они вновь пересчитали мертвых, одного за другим, боясь опять ошибиться.

---

[1] Тюрьма Аббатства (Prison de l'Abbaye)—духовная тюрьма, а со времени революции место заключения политических преступников. Здесь начались так называемые «сентябрьские убийства» 1792 года (народная расправа с сидевшими в тюрьмах бывшими дворянами и попами, вызванная опасением роялистского восстания в Париже, в виду неудач на фронте и приближения прусской армии к городу—сердцу революции). *(Прим. ред.).*

— Вот, считай, — сказал Гуа, — десять попов... четверо полицейских... тридцать шесть военных... Это составляет только пятьдесят...

Он снова взял свой список и еще раз пересчитал его.

— Положительно, есть один лишний!

КТО ЭТОТ ЛИШНИЙ?

Оба друга переглянулись.

Вдруг К. вспомнил.

Во время стрельбы, когда он смотрел на казнь, из-за угла беседки, направо от стены, высокий человек-зритель, неизвестно зачем и откуда появившийся в двух шагах от падавших заложников, — крикнул:

— Это низость!

Не успел он закрыть рот, как ружейное дуло опустилось на плечо К. и сделанный в упор выстрел раздробил человеку голову.

Два шага отделяли эту новую жертву от общей груды тел.

Ее толкнули туда ногой.

Это и был пятьдесят первый труп, труп неизвестного..

— Он был одет, — рассказывал мне К., — в костюм модного тогда зеленовато-рыжего цвета. У него была военная выправка. Он производил впечатление переодетого жандарма.

Этот пятьдесят первый, трагический конец которого удлинил список казненных, нашел себе товарища по несчастью..

Посреди сада, около бассейна, забитого в тот момент щебнем, валялся другой труп, одетый в блузу федерата.

Каким образом застигла его смерть?

От случайного ли выстрела, в тот момент, когда целились в заложников, «словно в кроликов на лужайке», или же при обстоятельствах, подобных тем, которые стоили жизни человеку в зеленоватом костюме?

Когда итог мертвых был окончательно установлен, Гуа и К. покинули зловещий сад.

Они переночевали в меблированных комнатах по соседству.

К., уже два дня как раненый в ногу, едва ходил.

На рассвете Гуа пришел за ним.

— Не вернуться ли нам в Ла-Рокетт? — предложил он.

Но К. молча указал на свою беспомощно болтавшуюся ногу.

Они спустились обратно к мерии Бельвилля.

В этот день, суббота 27 мая, охваченные ужасом при мысли о приближении неприятеля, опасаясь жестоких репрессий со стороны победителей, которые должны были наткнуться на эту гору

трупов, местные жители решили скрыть преступление хоть на несколько дней и бросили мертвых в ров, вырытый у подножья стены.

Яму [1] прикрыли досками и землею.

Только отвратительный запах, распространявшийся от этой ямы, помог обнаружить мертвых.

ПЕРЕД СУДЬЯМИ.

Семь смертных приговоров были вынесены шестым военным судом, разбиравшим дело улицы Аксо.

То были: Франсуа, отказавшийся выдать заложников; Даливу, один из тех, кто командовал при расстреле; Бено [2], который даже не присутствовал при этом и которого погубило показание одного из его бывших офицеров, Виктора-Клемана Тома, родного племянника расстреленного на Монмартре генерала; Сент-Омер, присутствовавший при казни, но никакого участия в ней не принимавший; и три молоденьких двадцатилетних солдатика—Обри, Труве и Расин, все преступление которых заключалось в том, что 18 марта они дезертировали и вступили в ряды федератов.

Никто из действительных инициаторов казни не подвергся преследованию. Их имена не были даже произнесены на процессе, кроме разве Гуа, названного в последнем заседании [3]...

Когда, зная истину, перечитываешь судебные отчеты, трудно отделаться от чувства невольного ужаса.

Как! Столько показаний, допросов и свидетелей, и ни одного зерна истины!..

Франсуа был расстрелян в Сатори 24 июля 1872 года одновременно с Даливу, Обри и Сент-Омером. Бено должен был ждать еще шесть месяцев, прежде чем стать к столбу смерти 23 января 1873 года.

Труве и Расин были счастливее, чем их товарищ Обри, и дождались того, что смертная казнь была заменена им пожизненными

---

[1] Эта яма не была выгребной ямой, как писали потом; она была вырыта для того, чтобы служить таковою впоследствии. Работы были прерваны осадой и она осталась незаконченной.

[2] Бено (Виктор), командир 1-го полка Бержере. Приговорен к смерти по делу улицы Аксо. Расстрелян в Сатори 23 января 1873 года.

[3] В заседании 21 марта 1872 года Франсуа поднимается и делает следующее сообщение: «Во время судебного разбирательства мне неоднократно задавали вопрос об имени офицера, командовавшего взводом, пришедшим в Ла-Рокетт за заложниками. Ни я, ни прочие обвиняемые не назвали его. Если я считал долгом молчать об этом во время процесса, то думаю, что не имею причин делать это теперь, когда суд готовится произнести свой приговор. Итак, знайте: офицер, который командовал взводом, был майор Гуа».

каторжными работами. Один из наших друзей познакомился с ними на Каледонской каторге на острове Ну.

Гуа, Клавье, Либертон умерли. Те, кого мы могли обозначить здесь только инициалами, еще живы..

СЕНТ-ОМЕР.

Бедняга Сент-Омер заслуживает особого упоминания.

Вся вина его состояла в том, что он, подобно многим другим, присутствовал при казни пятидесяти заложников.

На него донесли. Он был арестован и посажен в версальскую тюрьму Шантье, где с ним познакомился один из наших товарищей, обвиненный в превышении власти, за что поплатился пятью годами тюремного заключения, — завидная доля в те времена, когда всякого подстерегала каторга.

«— Сент-Омер,—рассказывал нам его старый товарищ,—был человек лет сорока пяти, с наружностью Дон-Кихота. Он был родной сын знаменитого Сент-Омера, профессора калиграфии, приятеля Брара... Сент-Омер (сын) был коммерсантом на о-ве Куба, но в первые же дни войны вернулся во Францию..

«В качестве национального гвардейца, Сент-Омер сражался при Шампаньи и при Бюзенвале, где был отмечен в приказе по своему батальону.

«Когда его привлекли по делу улицы Аксо, куда он сопровождал людей своей роты, — он был в то время капитаном, — он встревожился. Все мы в глубине души были уверены, что он будет оправдан, раз против него не могли выставить никакого обвинения. И мы, не стесняясь, стращали его, не думая о возможности рокового исхода.

«— Омер, — говорил я ему, шутки ради, опуская частицу Сент, — Омер, ты умрешь на Саторийском полигоне!

«Лицо Сент-Омера расплывалось в широкую улыбку...

«— Меня под расстрел! — гремел он. — Но каким образом могли бы меня осудить? Ведь у меня не было в руках никакого другого оружия, кроме тросточки!»

Бедный Омер!

ЭМИЛЬ ГУА.

В этом рассказе ярко выступает одна суровая фигура, это — Эмиль Гуа.

Председатель военного трибунала Коммуны, организатор ужасной бойни на улице Аксо, он был одним из верных соратников Бланки. Человек суровой энергии, испытанной преданности и стой-

кости убеждений, Гуа после переворота 2 декабря был сослан в Ламбессу. Он был другом Бенжамена Флотта, имя которого упоминалось в связи с начатыми Коммуной переговорами об обмене заложников на Бланки.. На квартире у Гуа частично изготовлены были те знаменитые кинжалы, которыми были вооружены бланкисты, участвовавшие в заговоре Ла-Виллет 14 августа 1870 года [1].

Когда пробил час амнистии, бежавший в Лондон Гуа вернулся в Париж, где снова примкнул к революционному движению. Он служил в то время счетоводом у оптового виноторговца на Вогезской площади. Через несколько лет по возвращении во Францию болезнь сломила его. Рассудок его угас. Один из его друзей, Ледрю, во время Коммуны командовавший фортом Ванов в чине полковника, взял на себя заботу о нем. Он сопровождал его во время коротких прогулок, которые еще был в состоянии делать бедный Гуа. Иногда больной, заупрямившись, не хотел итти домой. Местом прогулки всегда служила одна и та же улица, где помещался полицейский пост.

— Вот, смотри, — говорил больному сопровождавший его друг, указывая на двух-трех полицейских, беседовавших около поста,— если ты не пойдешь домой, я скажу этим господам и они возьмут тебя и отведут в тюрьму...

И бедный Гуа — бесстрашный руководитель казни на улице Аксо — испуганно опускал голову и послушно давал отвести себя домой, как ребенка.

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ.

Загроможденный булыжником пустырь, бывший свидетелем трагедии 26 мая 1871 года, ныне покрыт газоном и прорезан аккуратными аллеями. Бассейн украшен фонтаном, в котором отражается радуга и отряхивая перья полощатся важные утки [2].

Деревянная ограда заменена каменной. Деревья подросли. Уголок полон свежести и оживления.

[1] 14 августа 1870 года отряд вооруженных бланкистов совершил нападение на казарму пожарных в Ла-Виллет, чтобы раздобыть там оружие для рабочих и начать всеобщее восстание против Империи. Но массы не поддержали заговорщиков, и восстание не удалось. Организаторы этого дела (кроме Бланки, который успел скрыться) были арестованы и преданы военно-полевому суду, приговорившему шесть человек к смертной казни. Революция 4 сентября и крушение Империи спасли их от смерти. *(Прим. ред.).*

[2] Написано в 1898 году. Чтобы судить о расположении сада в 1871 году, за недостатком современной фотографии, смотри гравюру в «Illustration» от 13 апреля 1872 года.

В той части сада, где были поставлены заложники, выстроен детский приют. Веселая толпа мальчуганов играет и смеется на том самом месте, где пятьдесят заложников ожидали смерти.

Большое одноэтажное строение, увенчанное колоколенкой, попрежнему стоит там со своим балконом, откуда смотрели на казнь офицеры федератов.

Зловещая стена совсем почернела. Время стерло белые пятна— следы расплющенных пуль.

В тот день, когда мы с офицером федератов К. посетили места, бывшие свидетелями страшной бойни, в саду было пусто.

Не успела привратница отворить калитку, как глаза наши обратились к стене.

Я входила сюда впервые. К. тоже первый раз (с 1871 года) видел сад, который должен был вызвать в нем столь жгучие воспоминания.

Я взглянул на лицо своего спутника. Ни одна складка не бороздила его лба.

Вдруг на повороте аллеи появились три престарелых священника. Они медленно направлялись к стене, около которой, как мы видели, преклонили колени.

Мы спрятались в ожидании, когда они пройдут, чтобы продолжать нашу прогулку.

Когда священники удалились, мы приблизились к стене...

На метр от стены яма, обнесенная решеткой, по которой вьется плющ и цветет ярко красная герань.

Я бросаю взгляд на дно ямы.

Сюда свалили их окровавленные трупы.

Мы ищем следов пуль на высокой стене.

Офицер-федерат восстанавливает передо мной картину казни

— Я находился там... заложники подходили с этой стороны...

Он говорил громко, и голос его четко раздавался в тишине.

Я услыхал скрип шагов по песку аллеи...

Три старых священника, скрытые от нас деревьями, стояли позади нас.

Слышали ли они? Поняли ли они, что находятся лицом к лицу с одним из действующих лиц драмы?

СРАВНЕНИЕ.

Когда мы покидали сад в улице Аксо, разгромленный в тот роковой день, а ныне тенистый и цветущий, как итальянский некрополь, я в последний раз оглянулся на стену.

Я мысленно увидел перед собой груду расстрелянных, мундиры и рясы, окровавленные лица, изуродованные члены. Я почувство-

вал, как сердце мое сжимается от боли и скорби. И чудилось мне, что встают еще другие мертвецы — наши, жертвы гнусных военных судов, Люксембургского застенка, казармы Лобо, сквера Сен-Жак, Саторийского лагеря, и идут длинными вереницами, прибывая сотнями и тысячами, чтобы лечь у подножия стены, заполнить сад, образовать жуткую гору трупов, вершину которой я едва различал, и под которой исчезали пятьдесят заложников, казненных 26 мая 1871 года.

КОГДА МЫ ИЗДАВАЛИ «ПЕР-ДЮШЕН»

РЕСПУБЛИКА ИЛИ СМЕРТЬ!

Я ВСТРЕЧАЮСЬ С ВЕРМЕШЕМ.

Конец февраля 1871 года, — бульвар Сен-Мишель. Встречаю Вермеша. С начала осады я не имел о нем никаких сведений. Он в куртке полкового врача. Откуда он взялся? Припоминаю, что он когда-то занимался медициной: вот откуда на нем такой мундир. К тому же, разве не все теперь носят мундир? Даже сам Жиль [1], добрейший Жиль, который уж конечно далеко не вояка, и тот ведь явился однажды вечером в нашу пивную на улице Сен-Северен в великолепном кепи с зеленым бархатным околышем, на котором красовалась вышитая серебром змея Эскулапа.

Жиль сиял.

— Откуда у тебя это кепи?

А Жиль, закручивая усы:

— Милый друг, я помощник аптекаря в нашем батальоне.

Жиль, аптекарь!

Вермеш об'ясняет мне, что он с самого начала военных действий зачислился в санитарный отряд, сформированный епископом Бауэром, который прославился тем, что появлялся на передовых позициях верхом на коне, в рясе и кавалерийских ботфортах.

— Счастливец! Тебе не пришлось голодать!

Взявшись под руки, мы спускаемся по бульвару. Проходит батальон с музыкой впереди, играя «Марсельезу». За командиром старший унтер-офицер несет большой венок. На красной ленте вышитые золотом слова:

— Республика или смерть!

— Куда вы идете?

— К Бастилии!

Идем туда.

---

[1] Андре Жиль, рисовальщик и каррикатурист, сотрудничал в «Эклипсе», «Луне» и других журналах. Был управляющим Люксембургского музея во время Коммуны.

На всем протяжении пути по улице Риволи раздаются несмолкаемые крики:

— Да здравствует республика!

— Да здравствует Коммуна! [1].

Встречаются другие батальоны.

На каждом углу улицы колонна становится длиннее; скоро получается целый полк. Следом идут прохожие; мужчины, женщины, дети смешиваются с рядами.

На улице Сент-Антуан, стоя у дверей домов, жители приветствуют шествие рукоплесканиями.

Перед нами высится июльская колонна, а на ней золотая статуя гения, разукрашенная алыми лентами.

НА ПЛОЩАДИ.

Площадь кишит народом. С 24 февраля она не пустеет ни на минуту. Целый день непрерывное шествие. К трехцветным знаменам, увенчанным красными фригийскими колпаками, присоединяются масонские флаги с изображением золотого храма и циркуля.

Нам удается протискаться сквозь толпу. Батальон, за которым мы шли, приблизился к подножию памятника. Повсюду венки из иммортелей. Бронзовое тело колонны усеяно ими, как звездами.

Командир поднимается на цоколь.

— Граждане, поклянемся защищать республику до последней капли крови! Горе Бордосскому собранию! Долой монархистов!

Толпа отвечает грозным рычаньем. Широко открытые рты кричат. Сколько может охватить глаз, видны только движущиеся кепи, сверкающие на солнце штыки, шелестящие знамена. Женщины поднимают детей над головами, чтобы они запечатлели навсегда в своей памяти чудесное зрелище.

Рядом со мной какой-то дюжий национальный гвардеец плачет от умиления.

— Ах, гражданин, сил моих нету! А ведь я не из чувствительных! Но, видите ли, это хватает меня за сердце...

Кажется, что и на моих глазах сейчас выступят слезы.

— Гром и молния! — говорит мне Вермеш, наклоняясь к моему уху. — Какая богатая картина!.. Такою и должна была быть федерация... Но, старина, это же настоящая революция!.. И подумать только, что «они» собираются разоружить этих людей!.. Да они просто рехнулись!

---

[1] Коммуна еще не была провозглашена. Но возглас: «Да здравствует Коммуна!» был популярен уже во время осады со времени 31 октября.

Мы жмем руку командира. Другой оратор уже сменил его.

— Побудем здесь, — говорю я Вермешу.

До позднего вечера оставались мы на площади. Толпа сменяла толпу.

Эти прижатые друг к другу люди, эти волнующиеся знамена, венки, напряженные лица во мраке площади принимали странные и таинственные очертания.

На цоколе колонны груда венков вздымается все выше и выше. Множатся торжественные клятвы. Казалось, что этому лихорадочному возбуждению, охватившему целый народ, никогда не будет конца.

РЕСПУБЛИКА ИЛИ СМЕРТЬ!

Неохотно оторвались мы от оп'яняющего зрелища. У нас с Эмбером свиданье на улице Круассан. Проектируется издание газеты. Т.-е. не то, чтобы настоящая газета — для этого нам не хватит денег, — но серия ежедневных плакатов, на подобие плакатов первой революции. Марат или Гебер? [1] *«Друг Народа»* или *«Пер-Дюшен»*? Разумеется, *«Пер-Дюшен»!* Великий гнев, великая радость, адски патриотические послания, — словом, в стиле того времени. Мы толковали об этом уже пару дней. Я сообщаю наши проекты Вермешу.

— *«Пер-Дюшен»!* Я участвую... Когда мы соберемся? Где? Если хотите, можно у меня.

На улице Круассан застаем Эмбера. Сговорились. На следующий день соберемся у Вермеша на улице Сены, в третьем этаже дома издателя Сарториуса.

Все трое верны назначенному часу. Вермеш гостеприимно встречает нас в своем жилище. Вдоль стен кипы газет и книг. Когда-то эту комнату занимал Бодлэр, чем очень гордится теперешний ее хозяин.

— А ведь, кто знает, может быть на этом самом столе Бодлэр написал свои «Цветы зла». Здесь я работал над моим «Великим Заветом» [2].

---

[1] Гебер (Жак-Ренэ) (1757—1794)—журналист, видный деятель великой французской революции. Издавал газету «Пер-Дюшен» («Le Père Duchêne»), в которой с успехом подлаживался под вкусы и язык парижского простонародья. Был помощником прокурора Парижской Коммуны и одним из руководителей клуба Кордельеров. Казнен 24 марта 1794 года после неудачной попытки свергнуть якобинское правительство. *(Прим. ред.)*

[2] *«Великий Завет Вермеша»* («Le Grand Testament du sieur Vermesch»). Брошюра в 70 страниц, склад издания у автора: Улица Сены, 27 (1888).

И Вермеш декламирует нам — он никогда не упускал удобного случая — любимую строфу из своей поэмы, строфу о смерти:

Когда бы мог в тени лесов,
Иль в вольной зелени лугов
Свое я сердце схоронить,
Его я не боялся б скрыть
Под нежным мхом и под листвой;
Без страха ждал бы силу ту,
Которая, отняв все то, что было мной,
Создала б из него растение в цвету!

Один из нас принес с собой несколько номеров газеты Гебера. Ее еще можно было найти в то время в книжных ларьках на набережной Сены. Мы разостлали их на столе.

Была у нас также книжечка Шарля Брюне — «Пер-Дюшен Гебера» — который приводит заголовки всех номеров этого революционного листка.

Я открываю наудачу и читаю:

№ 253. *«Великий гнев «Пер-Дюшена» на негодяев, финансистов, кулаков, монополистов и барышников, тех, что из денежного сундука делают себе бога, вызывают беспорядки и хищения и играют в руку контр-революции».*

Немного далее:

№ 260. *«Великий гнев «Пер-Дюшена» по поводу смерти Марата, павшего от ножа одной девки из Кальвадоса...».*

И в один голос:

— Вот что нам нужно!

Мы долго спорили, как мне помнится, по вопросу о виньетке. Заимствовать ли виньетку у Гебера—санкюлота, угрожающего топором тощему маленькому попику, стоящему перед ним на коленях — украшенную девизом «Memento mori».

Нет, это было бы уж слишком рабским подражанием предкам!

— Мы попросим Регамэ [1] набросать для нас что-нибудь, — сказал Вермеш.

Через два-три дня после этого разговора Регамэ, еще не снявши форму своего батальона «Друзей Франции», показал нам прелестный маленький рисунок, которому предстояло украшать заголовок шестидесяти восьми номеров нашей газеты.

На куче булыжника, опираясь на льва, олицетворяющего народ, сидит санкюлот в фригийском колпаке. В правой руке он держит треугольник равенства, левой — обнимает пушку. У ног его валяются короны, митры, жезлы. На горизонте видна стая черных

[1] Регамэ (Фредерик), рисовальщик и гравер. Основал в 1873 году художественный журнал «Париж в офортах». Гильом и Феликс Регамэ, живописцы и рисовальщики,—его братья.

птиц, улетающих вдаль. На ясном небе выделяется бессмертный девиз наших славных предков:

«Республика или смерть».

Когда Регамэ представил нашим взорам это чудо искусства и революционной мысли — подписанное в левом углу инициалами Ф. Р. — оно вызвало больше чем радость, настоящую бурю восторгов.

— Браво! Когда же первый номер! Когда первый великий гнев!

«Пер-Дюшен» появился на свет.

МАМАША ГЭТТЕ.

Эмбер, Вермеш и я встретились впервые у мамаши Гэтте.

Кто помнит теперь мамашу Гэтте!

Почтенная дама, которую мы между собой называли этим фамильярным прозвищем, в последние годы второй Империи имела небольшую типографию в маленькой уличке Латинского квартала, частью исчезнувшей теперь — улице Жардине — и прилегавшей к улице Ларрея, где находилась «Ля-Мармит» Варлена [1].

Когда в компании завсегдатаев — Марото [2], Вермеш, Эмбер, Франсис Энн [3], Гюстав Пюиссан [4], Пилотель [5], Пасседуэ [6], Эжен Муро [7], я — решали выпустить какой-нибудь зажигательный листок, то обязательно стучались в двери мамаши Гэтте...

В первых числах декабря 1869 года Гюстав Марото печатал у мамаши Гэтте своего маленького «Пер-Дюшена», in-quarto в четыре странички. Я послал ему статью. До того момента я еще ни разу не видал своей прозы в печатном виде. На другой день

---

[1] «Ля-Мармит», ресторан на кооперативных началах, устроенный на улице Ларрея (ныне исчезнувшей) под руководством Варлена, где по вечерам встречались активные революционеры в последние годы второй Империи.

[2] Марото (Гюстав), приговоренный к смерти, замененной потом пожизненными каторжными работами за одну статью в его газете («Гора»), в которой он писал: «Ах, боюсь я за его святейшество парижского архиепископа!». Родился в Шартре (1848). Умер на каторге на острове Ну (Каледония) в 1875 году. Один ссыльный вырубил на его могильном камне раскрытую книгу.

[3] Энн (Франсис), журналист. Сотрудничал в «Улице» Валлэса и в мелких республиканских листках конца Империи. После Коммуны, в которой он не принял участия, работал в «Радикале».

[4] Пюиссан (Гюстав), сотрудник «Улицы».

[5] Пилотель (Жорж), рисовальщик. Специальный комиссар префектуры полиции во время Коммуны.

[6] Пасседуэ (Огюст), журналист. Мер 12-го округа. Умер в Каледонии.

[7] Муро (Эжен), сотрудник «Le Mot d'Ordre», секретарь Анри Рошфора.

развертываю газету. О, радость! Мне бросается в глаза моя статья, напечатанная на видном месте. Автора вызывают особой заметкой. Я ее читаю и перечитываю:

«Автор статьи нам неизвестен. Пусть он заглянет к нам. Мы бы хотели пожать ему руку».

Моя статья была озаглавлена: «Июнь». Июньские дни.

В пять часов я во дворе мамаши Гэтте. Какой-то сапожник в глубине своей лавочки крепко колотит по подошве. Это — привратник. Стучу в его окошко.

— «Пер-Дюшен»?

— Там. В глубине. Дверь со ступеньками.

Я собираюсь повернуть ручку, войти, как вдруг за дверью поднимается страшный гвалт. Я выжидаю. Возвращаюсь к своему сапожнику.

— Там дерутся, что ли? Или во всяком случае спорят...

Сапожник усмехнулся:

— Да нет, не бойтесь. Там всегда так. Эти господа беседуют...

Вхожу. Там их с десяток спорящих, кричащих, галдящих. Мой приход не производит никакого впечатления. Наконец, один из них оборачивается и подходит ко мне. Я называю себя.

— Ах, да! Ваш *Июнь* очень хорош. Мы никак не могли решить, чья это статья. Никто здесь не знал вашего имени.

— Эй, Марото! Здесь автор утренней статьи. Знаешь... *Июня*...

Меня окружают. Жмут мне руки.

Входит какой-то толстяк. Нос трубой. Голубые глаза смотрят вопросительно. Губы насмешливы. Одет в поношенный сюртук с длинным мохнатым ворсом.

— Вермеш, представляю тебе нашего друга, того, кто прислал нам *Июнь*.

Говоривший оказался Эмбером.

Знакомство завязалось. Мы отправились втроем по направлению к площади Сен-Мишель. Компания собиралась в то время в кафэ «Саламандра».

По дороге мы подцепили Жиля.

В кафэ, в зале первого этажа, мы застаем Валлэса, Лонге, Сорне [1], который должен был стать нашим издателем, Паже-Люписена [2], Эдуарда Рулье, Тельера [3] и других.

---

[1] Сорне (Леон), прежде чем стать издателем нашего «Пер-Дюшена», был замешан в некоторые политические дела конца Империи. Издавал «Нищету» («La Misère»).

[2] Паже-Люписен (Леопольд), фельдшер, ученик Прудона, изгнанник 2 декабря 1851. Автор «Права Рабочих» (1870). При Коммуне был директором госпиталя «Божий Дом».

[3] Тельер (Эдуард), член комиссии труда и обмена при Коммуне.

С этого момента я завербован. Нас, т.-е. тех, кого я только что перечислил, увидят бок-о-бок на манифестациях, на собраниях, в стычках, на похоронах Виктора Нуара[1], 4 сентября, 31 октября, 22 января, вплоть до того момента, когда наконец 16 вентоза 79 года (6 марта 1871), за 12 дней до 18 марта, «Пер-Дюшен» бросит в мятущийся и взбудораженный Париж свой первый гневный призыв.

ДЕНЬГИ.

Во всяком случае, нам чего-то не хватает для осуществления нашей мечты.

Денег.

У нас нет ни гроша. Уж конечно не скудное жалованье полкового врача у епископа Бауэра могло обогатить Вермеша. Мой чин поручика 248-го батальона давал мне только злополучные тридцать су в день. Эмберу было не легче. Словом, денег не было.

Где их взять?

Мы отправились к Валлэ, владельцу типографии на улице Круассан (ныне «Типография прессы»). Мы выработали смету, во что нам обойдется первый номер.

Оказывается, что нам необходимо 500 франков.

Мы обегали газетные киоски, начиная от Мадра, находящегося в начале улицы, до Штрауса, который в другом конце ее. Никто не поддался соблазну.

— «Пер-Дюшен»!.. Да их уже столько было!

Мы уже начинали совсем отчаиваться, когда на улице Монмартра, по пути к Латинскому кварталу, где мы жили все трое, я почувствовал, как меня хлопнули по плечу.

— Гражданин, это вы собираетесь издавать «Пер-Дюшен»?

Передо мной высокий бледный юноша, один из тех торговцев,— как я вскоре узнал, — которые скупают оптом «бумагу», чтобы перепродавать ее в розницу газетчикам.

— Ну, да!.. Мы трое...

— Пойдемте! Я думаю, мы сойдемся.

Мы возвращаемся обратно. В кафэ Круассан нам представили второго компаньона. Горбатый, рыжеволосый, с живыми глазами.

— Ну вот!—заявляет долговязый юноша,—мы вдвоем,—и он указал на горбуна, — мы даем пятьсот франков.

[1] Виктор Нуар, молодой журналист, сотрудник газеты Рошфора «Марсельеза», предательски убитый двоюродным братом Наполеона III принцем Пьером Бонапартом 10 января 1870 года. Похороны его (12 января 1870), в которых приняло участие более двухсот тысяч человек, вылились в грандиозную противоправительственную демонстрацию, чуть было не закончившуюся вооруженным восстанием. (*Прим. ред.*).

— Ваше имя?

— Меня, — продолжает юноша, — меня зовут Родольфом Симон, а это — Обуэн.

Наши пайщики, кажется, в восторге.

— Дело пойдет! — заявляют они в один голос.—Вот увидите, что будут расхватывать, как «Крик»...

«Крик», это «Крик Народа» Валлэса [1], тираж которого достигает пятидесяти тысяч экземпляров.

Мы излагаем технику издания. Никаких редакционных расходов. Никаких посторонних сотрудников, кроме нас троих. Никакого аппарата. Итоги будут подводиться ежедневно. Никаких помещений под контору. Нам дадут комнату при типографии. Симон и Обуэн берут на себя продажу.

— А когда же ваши пять сотен?

— Сейчас.

— Условия?

— Вас — трое. Нас — двое. Вместе это составляет пятеро. Мы будем делить ежедневную выручку на пять частей.

Вот каким образом за все свое существование с 6 марта по 22 мая — 68 номеров — «Пер-Дюшен» был собственностью пяти пайщиков: трех редакторов и двух продавцов.

Пятьсот франков Симона и Обуэна (дальше мы подведем итог) принесли этим последним не один десяток тысяч дохода.

Мне неизвестно, что стало с Симоном, длинным бледным юношей, после Коммуны. Что касается Обуэна, то я еще лет пятнадцать тому назад встречал его в кафэ Круассан с пачками свежеотпечатанных газет на горбатой спине. В один прекрасный день я перестал его встречать.

ОН ЗДОРОВО ГНЕВАЕТСЯ!

Нужна реклама! Как оповестить этих «славных ребят патриотов» о появлении нашей газеты?

5 марта, едва занялся день, стены запестрели красными бумажными «мотыльками» [2], перед которыми собираются группы.

---

[1] «Крик Народа», ежедневная газета (ответственный редактор Жюль Валлэс), появилась 22 февраля 1871 года и была закрыта 11 марта, наряду с газетами: «Пер-Дюшен»; «Мститель» («Le Vengeur») Феликса Пиа; «Пароль» («Le Mot d'Ordre») Рошфора; «Железные Уста» («La Bouche de Fer») Паскаля Груссэ; «Карикатура» («La Caricature») Пилотеля. Большинство этих газет вновь стали выходить после 18 марта 1871 года (*Прим. ред.*)

[2] Смотри афишу «Пер-Дюшена» в «Политических Плакатах («Murailles Politiques Françaises») от 18 июля 1870 до 25 мая 1871 года», том I, стр. 9с5 (Париж 1874).

А на другой день, 6 марта — за двенадцать дней до победы — целая армия газетчиков рассыпалась по улицам, крича на все лады:

— Эй! он здорово серчает, этот *«Пер-Дюшен»!* Покупайте «Пер-Дюшен»!..

Первую статью написал Вермеш... В ней был затронут жилищный вопрос. Платить ли нам квартирную плату за три терма, просроченных по случаю осады:

Терпеть голодовку, проливать свою кровь, испить до дна свой позор, всего этого недостаточно: нам предстоит платить еще за три квартирных срока.

Уже более шести месяцев мы ничего не производим, не продаем.

Чем же мы заплатим за три срока?

Мы не будем платить за них!

Тщетны все усилия биржевиков: напрасно судебные пристава будут работать день и ночь, трибуналы приговаривать от утренней зари до темной ночи, военные суды выносить свои зловещие приговоры, бретонцы Трошю и солдаты Шанзи заряжать свои ружья.

Мы не заплатим!!!

Из стены не выжать масла; из пустых касс разоренной Франции не извлечь четырех миллиардов квартирной платы, которыми ежегодно обогащаются паразиты капитала!

Мы не заплатим!!!

Со страхом ждали мы с одиннадцати часов утра наших двух компаньонов.

Как шла продажа? Разошлись ли выпущенные нами тридцать тысяч экземпляров или вернутся в типографию в виде макулатуры?

Мы завтракали втроем в кафэ, что на углу улицы Монмартра— все то же кафэ Круассан — когда к нам ворвался наш горбун. Его красная грива метала искры.

— То-есть, как расхватывают!.. Мне нужно еще десять тысяч. Бегу к Валлэ...

Не десять тысяч экземпляров пришлось нам выпустить дополнительно, а двадцать пять. Бедные машины просили пощады.

Вечером, около полуночи — второй номер уже был почти сверстан — газетчики еще останавливали на бульваре редких прохожих.

— Гражданин, купите у меня «Пер-Дюшена»!.. Ну и здорово же он гневается, этот «Пер-Дюшен»! Стоит посмотреть!

Недолго пришлось, однако, гневаться «Пер-Дюшену».

Винуа не спускал с него глаз.

Еще бы! Этот старый грубиян (статья принадлежала Эмберу) позволил себе требовать суда над «капитулянтами» из Ратуши:

До сих пор еще не преданы суду капитулянты из Ратуши!

Похоронить пятьдесят или шестьдесят тысяч человек вокруг Парижа, в Шатильоне, в Шампиньи, в Буржэ, в Бюзенвале; предавать в течение

шести месяцев подряд; сажать по тюрьмам после 31 октября и расстреливать 22 января честных граждан, которые хотели спасти родину и не допустить ее раздробления,—неужели этого недостаточно?

... Если их не предадут суду, то возмутится сам Жан Гиру [1]!

Сколько же патриотов надо теперь убить, чтобы попасть под суд?

Вот о чем спрашивает вас «Пер-Дюшен», граждане народные представители!

Парижская армия — вернее остатки армии — представляла в эти печальные дни, последовавшие за капитуляцией, самое жалкое зрелище. По улицам бродили солдаты в накинутом на плечи овечьем тулупе, защищавшем их от холода на передовых позициях, в грязных мундирах, обтрепанные, безоружные, останавливая подчас прохожих и прося у них милостыни. (Такой случай был и со мной). Дезорганизация достигла своей высшей точки. И тем не менее эту озлобленную армию, готовую кинуться в революцию, собираются реорганизовать и двинуть против восстания, признаки которого уже намечаются...

«Пер-Дюшен» в своем третьем номере обращается к «солдатам армии генерала Шанзи, которых хотят превратить в убийц патриотов» [2]:

«Пер-Дюшен» приветствует вас, солдаты! Он рад видеть вас в стенах Парижа, где так же голодали и так же холодали, как голодали и холодали вы, когда шагали по грязи и снегу в проклятой бумажной обуви и дрянной одежде, которую негодяи-поставщики продали республике!

«Пер Дюшен» всегда рад видеть славных ребят, которые дрались за отечество.

Ах! он отлично знает, что не ваша вина, если нас посадили в лужу.

Вы исполнили свой долг, и наши победные знамена обошли бы весь мир, если бы мы не были так глупы и не дали управлять собою иудам-предателям и негодяям!

... Франция потеряла свой Эльзас, потеряла свою славную Лотарингию, которые проявили, чорт возьми, такой патриотизм, что «Пер-Дюшен» плачет в три ручья при мысли о том, что этим храбрым жителям Страсбурга и Меца угрожает теперь сабля Мольтке и кулак Бисмарка.

... Идите к нам, солдаты!

Сливайтесь с народом и вы увидите, что такое истинные граждане...

Идите к нам!..

Это не могло долго продолжаться.

Впрочем, мы и не создавали себе никаких иллюзий на этот счет. И каждый день ждали приказа, который заткнет нам рот.

---

[1] Жан Гиру (Jean Hiroux)—тип зверского и циничного убийцы, ставший легендарным. Герой популярной в свое время комедии «Процесс, осуждение, казнь и дальнейшие похождения Жана Гиру», представляющей пародию на «Последний день осужденного» Виктора Гюго (1829). *(Прим. ред.)*

[2] Эта статья в № 3 «Пер-Дюшена» (от 18 вентоза 79—8 марта 1871) принадлежит мне. Вермеш в опубликованной им в Лондоне в 1872 году брошюре, где он воспроизводит наши первые пять номеров, по ошибке подписал ее своими инициалами.

УМЕР И ВОСКРЕС.

В один прекрасный день, под вечер, — это было 10 марта, — мы составляли наш шестой номер, когда сквозь стеклянную дверь редакционной комнаты увидели незнакомого человека в черном. Он скромно постучал в стекло. В руке он держал голубоватый листок, покрытый каракулями, который он нам и протянул, как только его впустили.

— Так и есть! — сказал Сорне, наш издатель, беря в руки листок.

Это было уведомление через судебного пристава о закрытии нашей газеты по приказу Винуа.

Сорне пришпилил листок к перегородке.

— А мы все-таки будем выходить! Если не в Париже, то в другом месте... Поедем в Лион!

Были приглашены Симон и Обуэн. Они поморщились, когда мы изложили им наш проект. Эмбер и Вермеш поедут в Лион. Я останусь в Париже, чтобы быть настороже. Завтра соберем все деньги, задолженные продавцами. И... на все четыре стороны! Если что-либо случится здесь, что-ж! я обойдусь как-нибудь. На всякий случай мы сохраним уже начатый шестой номер...

Вермеш и Эмбер в сопровождении Симона отправились в путь в тот же вечер. В Лионе были выпущены об'явления. Но выпускать газету не оказалось никакой надобности: грянуло 18 марта.

Утром 21-го [1] газетчики выкрикивали наперебой:

«Великая радость «Пер-Дюшена», который может, наконец, поговорить о делах нации с честными патриотами, выгнавшими из Ратуши всех негодяев».

Эмбер и Вермеш, едва победа на Монмартре стала известна и подтвердилась, вскочили в поезд. Я закусывал в нашем кабачке, на улице Медицинской Школы, как вдруг они ворвались, полные ликования.

Мы обнялись. Еще немного и наши слезы полились бы в тушеные почки, дымившиеся передо мной на блюде...

---

[1] Наш № 6, первый вышедший после 18 марта, ошибочно помечен 30 вентоза 79 года. Точное число—1 жерминаля 79 года (вторник 21 марта 1871).

НАШИ ДОСУГИ.

ПАТРИОТКА.

Незабываемые юные годы...

Настала горячая пора, в которую мы и кидаемся все трое, очертя голову.

Вечер посвящен газете. Днем же всегда бывает нужно или принять или отдать визит.

Батальон, возвращающийся с передовых позиций, посылает пять-шесть человек приветствовать в погребке на улице Круассан того самого «Пер-Дюшена», который составляет единственную отраду ужасных дней на аванпостах.

— Эге! А мы думали, что он будет постарше, этот «Пер-Дюшен»!

И славные ребята жали нам руки. Иной раз шли чокнуться у стойки или в соседнем кафэ.

Однажды, после полудня, я был один в редакции. В дверь постучали. Женщина. Конечно, гражданка. Я это вижу сразу.

— Гражданин, вы меня не знаете. Я рассыльная на складе. «Пер-Дюшен» писал на-днях, что пруссакам надо заплатить, чтобы они убрались, и мы снова стали свободной нацией. У меня лично денег нет, но может быть вы согласились бы взять вот это.

И гражданка поставила ко мне на стол коробочку, которую держала в руке.

— Откройте, гражданин, откройте.

Я приподнимаю крышку.

— Драгоценности! Что же вы хотите, чтобы мы с ними сделали?

— Что хотите. Продайте их и внесите вырученную сумму в Ратушу.

Я пытаюсь раз'яснить гражданке, что ее скромная лепта ни на шаг не подвинет уход неприятеля. Она настаивает. Наконец, она протягивает мне руку и исчезает.

Я хочу ее окликнуть. Она скрылась.

В коробке я нахожу: серебряную ложечку, серебряное кольцо для салфетки, пару золотых сережек, дамскую золотую цепочку.

Я закрываю коробку. Прячу в верное место, в ящик стола, служащий нам кассой, в тайной надежде, что рано или поздно сумею вернуть гражданке ее маленькое сокровище.

Увы, я больше ее не видал. Пришел час разгрома. И я до сих пор не знаю, в чьи руки попали драгоценности славной патриотки [1].

КОММУНА ПРОВОЗГЛАШЕНА.

Двадцать восьмое марта. Четыре часа. Я дошел как раз до середины своей статьи. Мне небезызвестно, что в настоящую минуту на площади Ратуши происходит торжество официального провоглашения Коммуны. Но что делать: статья! Приходится оставаться дома...

Бум... Пушечный выстрел... Прислушиваюсь... Браться ли снова за перо... Нет! Скорей, скорей на Гревскую площадь!

Бегом спускаюсь по улице Монмартра.

Улица Риволи, сколько хватает глаз, полна мундиров, развевающихся знамен, сверкающих штыков. Музыка гремит во-всю.

Десять, двадцать, сто батальонов проходят, вливаясь в многоцветное море знамен, бушующее на площади Ратуши.

Красавцы батальоны! Во время осады мы видели их покрытыми грязью, измученными, отдающими поражением.

А сегодня какие они нарядные, свежие, блестящие!

Как весело бьют барабаны! Это уже не тот тревожный, зловещий бой, как в ночь вступления пруссаков, но звонкая дробь, звучащая как крик победы. Как радостно гремит музыка! А эти широко разинутые рты, орущие *Марсельезу!*.. Эти красные знамена с золотой бахромой, эти кокарды из красных лент на штыках, подобные пучкам красных цветов!

Тротуары запружены народом. Разодетый по праздничному, словно в день Пасхи или 15 августа [2] (тогда еще не праздновали 14 июля), сам буржуа, который станет впоследствии таким свирепым, теперь увлечен. Он идет рука об руку с простонародьем, охваченный одним из тех порывов энтузиазма, подобных которому солнце не озаряло со времен великой федерации [3].

---

[1] Смотри № 40 «Пер-Дюшена», (от 5 флореаля—24 апреля), где рассказана эта история.

[2] 15 августа—день именин императора Наполеона III. *(Прим. ред.).*

[3] Федерация—праздник федерации, устроенный 14 июля 1790 года (в годовщину взятия Бастилии) на Марсовом поле в Париже, в знак единения всех классов в общем служении революции, привлекший громадную толпу народа и отпразднованный с большим подъемом и единодушием. *(Прим. ред.).*

Посмотрите на него, на этого здорового мужчину с цветущим лицом, который через два месяца станет доносчиком: как он сияет! Он, пожалуй, отказался бы, как некогда его деды, от своих привилегий и изорвал бы свои процентные бумаги, чтобы заткнуть их в дуло своего ружья. Он охвачен лихорадкой. Он ликует. А когда на площади Ратуши он оказывается пред лицом этой простушки Коммуны в фригийском колпаке, опоясанной красным шарфом, он охотно расцеловал бы ее, если бы только посмел!

Мы подходим медленным шагом. Вот мы и на авеню Виктории.

Накануне я был в Ратуше. Сегодня она преобразилась.

Еще вчера баррикады, пушки, часовые, подозрительно окликающие прохожих. Чтобы пересечь площадь, надо пробираться гуськом через узкий проход, оставленный между баррикадами и зорко охраняемый вооруженными гвардейцами. Ряд митральез охраняет фасад. В окнах группы федератов. Ратуша имеет вид крепости.

Сегодня все изменилось. Исчез прежний воинственный вид. Не видно больше баррикад, караулов. Огромная красная драпировка скрывает большую среднюю дверь и бронзового Генриха IV (того самого, который находится теперь в музее Карнавале). На ней выделяется бюст Республики. Под ним эстрада, убранная красной материей с золотым шитьем. Флаги во всех окнах. Группы, теснящиеся на всех балконах. А там, вверху, залитое яркими лучами солнца, красное знамя, водруженное на другой же день после победы на Монмартре.

Крыши усеяны любопытными. Мальчишки облепили карнизы и бесцеремонно оседлали плечи статуй. Фонари похожи на живые гроздья.

Вдали реят знамена батальонов; древки их увенчаны красным колпаком. Знамена красные и трехцветные: день примирения. Тут сто тысяч человек, вчерашних врагов, сегодня союзников, сердца которых бьются в унисон.

Толпа кричит, поет, ревет, бушует. Что она поет? *Марсельезу!* Что она кричит? *Да здравствует Коммуна!* Она грохочет, как буря, и бушует, как море...

РАУЛЬ РИГО.

Сквозь эту возбужденную толпу непрерывным потоком движутся батальоны с музыкой впереди. Красные и трехцветные знамена развеваются бок-о-бок. За ними следуют избранники округов, которых избиратели ведут в Ратушу.

Вот монмартрские батальоны. Барабаны бьют поход. Впереди идут пять человек, образуя один ряд: пять членов Коммуны, выбранных 18-м округом. Трое из них мои друзья. Делаю им знак.

Они приветствуют меня улыбкой: Верморель, высокий, бледный, худой, с выдающимися скулами; Ферре, маленький, бородатый (оба в шинелях национальных гвардейцев); Ж.-Б. Клеман, с согнутой спиной, в блузе с косматым ворсом и мягкой серой шляпе, опирающийся на простую палку.

Меня хлопают по плечу.

Риго!

Рауль Риго, в форме начальника батальона. В этом костюме мне придется увидеть его еще раз только во вторник 24 мая, за несколько часов до того, как он падет с простреленным черепом у подножия баррикады в улице Руайе-Коллар.

— А ну-ка, идем с нами.

— Да ведь я не вхожу в Коммуну...

— Все равно, идем...

Я следую за ним сквозь толпу федератов. Мы взбираемся во второй этаж. В тронном зале ружья в козлах. Ротные значки засунуты в дула, точно букеты полевого мака.

Стены еще испещрены следами пуль, выпущенных 22 января.

Вместе с Риго я проникаю в угловой салон, выходящий на набережную. На одной из стен толстый слой афиш, подписанных Эрнестом Пикаром. Плакаты 18 марта. Читаю первые слова... «Шайка бандитов и т. д.»... Шайка бандитов заполняет площадь...

Вокруг большого стола начинают собираться избранники Парижа, Артюр Арну, Груссе, Валлэс. На стуле Делеклюз, с изможденным лицом аскета... Лонге, мой бывший командир по 248-му батальону. Трилон, сутулый, с иронической и страдальческой улыбкой на лице. Он ходит с трудом, опираясь на трость...

Я жму протянутые мне руки...

Однако, мне пора вернуться на площадь.

Перед под'ездом Ратуши проносятся вестовые, снуют гарибальдийцы в красных плащах и полицейских кепи, украшенных лошадиными хвостами; моряки в кожаных блестящих фуражках и блузах с откинутыми назад синими воротниками. Черный, как уголь, тюркос лихо гарцует на чудной арабской лошади. Группа разодетых маркитанток, облокотившихся на бронзовые жерла митральез, с трехцветными манерками, болтающимися на поясе...

ТОТ, КОГО ЗДЕСЬ НЕТ.

На эстраде уже собрались члены вчерашнего правительства и члены нового правительства. Центральный Комитет и Коммуна. Горсть мятежников и горсть неизвестных.

Рядом со мной пара. Мужчина в форме национального гвардейца. Женщина держит за руку малыша лет трех-четырех. Муж-

чина об'ясняет своей подруге ослепительное зрелище. Называет тех, кого знает.

— Вот, видишь этого высокого бородача, с большими глазами и седеющей густой шевелюрой, это — Феликс Пиа, портрет которого у нас висит... Старик, с белой бородой и измученным строгим лицом, это — Делеклюз. Рослый парень, что стоит в кепи батальонного командира, это — Прото, славный малый из одиннадцатого, защитник Межи в процессе Блуа [1]... А тот, с длинными отвислыми усами, это — Ж.-Б. Клеман [2], знаешь, тот самый, что написал «Le Temps des Cerises». Ну и пойдет же дело с этими молодцами!

Он продолжал свой перечень:

— Высокий малый с тонкими усами, это—Эд, которого должны были расстрелять по делу в Ла-Виллет, если бы мы не помешали, сделав 4 сентября. Человек, с которым он беседует, это — Рауль Риго, вон тот бородач с лорнетом. Высокий, бледный, с выдающимися скулами, это — Верморель. Красивый старик с длинной белой бородой и живыми, как у молодого, глазами, это — Мио [3]. Он был в Ломбессе. Это ветеран из старой гвардии.

И он продолжал называть их своей хозяйке, слушавшей его с загоревшимся взглядом.

— Приподними-ка ребенка, пусть малыш тоже посмотрит. Такие дни должны запечатлеваться на всю жизнь.

И он называл еще других членов Интернационала, к которому быть может принадлежал и сам: Малона [4], Варлена, Авраиля. Потом Флуранса [5], которого слыхал в публичных собраниях времен осады, Дюваля, Ферре.

---

[1] Межи был приговорен к 13 месяцам тюрьмы за убийство полицейского, явившегося его арестовать. Его защитник Прото был арестован и ему зажали рот (май 1870 года). *(Прим. ред.)*.

[2] Клеман (Ж. Б.), журналист и поэт. Автор популярной народной песенки «Le Temps des Cerises». Член Коммуны (от 18-го округа).

[3] Мио (Жюль), член Коммуны (от 19-го округа), член комиссии просвещения. Народный представитель в Законодательном Собрании 1850 года, сосланный Ламбессу после переворота 2 декабря 1851 года. В Коммуне был одним из наиболее ярких представителей старых революционных традиций якобинизма. Ему принадлежит инициатива создания Комитета Общественного Спасения. *(Прим. ред.)*.

[4] Малон (Бенуа), член Коммуны (от 17-го округа), член комиссии труда и обмена. Во время осады был помощником мера 17-го округа. Один из основателей Интернационала во Франции. Впоследствии видный сподвижник анархиста Бакунина и основатель так называемого «эклектического» социализма». *(Прим. ред.)*.

[5] Флуранс (Гюстав), член Коммуны (от 20-го округа). Замещал своего отца академика Пьера Флуранса по кафедре физиологии в Коллеж-де-Франс. Активно участвовал в движении 31 октября. Убит при Шату жандармом Демарэ 3 апреля 1871 года.

— Этот другой белобородый старик, это г-н Белэ [1]. Богач, примкнувший к нам. Старый друг Прудона...

И вдруг:

— Вот — самый лучший. Видишь, сидит с лицом, узким, как лезвие ножа, глубокими глазами и тонкими губами... Сколько он выстрадал! Всю жизнь в тюрьме! Я дам тебе почитать об этом. Жена его умерла в то время, как он был заточен в Мон-Сен-Мишеле [2]. Настоящий мученик, гражданин Бланки.

— Вы ошибаетесь, гражданин, — вмешался я. — Это не Бланки. Его вы не увидите. Он был арестован у своего племянника в Ло и в настоящий момент он находится в тюрьме Фижак.

— Они его арестовали! Его!.. Он не будет в Коммуне!

И я увидел, как дымка печали заволокла радостное до того лицо говорившего. Парочка удалилась. На эстраде, потрясая своим кепи с галуном, говорил член Коммуны, но слова его терялись в разроставшемся шуме.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ!

Снова грянула музыка. На набережной вновь загремела пушка. Из толпы поднялся громкий гул, прогремело такое могучее «Да здравствует Коммуна!», что от него задрожал воздух и заколыхались флаги, украшавшие фасад.

Батальоны дрогнули. Несмотря на темноту, они все еще прибывали. Смутно виднелись руки, тянувшиеся к эстраде... Толпа все еще продолжала кричать: «Да здравствует Коммуна!» до потери дыхания.

Наконец, площадь опустела. Окна Ратуши засияли огнями. Коммуна была провозглашена.

Я возвратился на улицу Круассан. В дверях типографии я столкнулся с группой федератов, среди которой громко разглагольствовал поручик 248-го батальона (моего бывшего батальона и батальона Лонге). Он рассказывал о том, что видел на площади Ратуши. Он оказался счастливее меня, был у самого подножия эстрады и мог слышать все речи.

— Говорил Ранвье...

— А что он сказал? — спросил я.

— Он сказал... он сказал... что Коммуна провозглашена... Разве этого не достаточно? А потом мы ответили: «Мы будем защищать ее до последней капли крови!».

---

[1] Белэ (Шарль), член Коммуны (от 6-го округа), председательствовал в первом заседании, как старейший член ее. Делегат Коммуны при французском банке.

[2] Мон-Сен-Мишель—старая государственная тюрьма Франции. *(Прим. ред.).*

И воодушевившись:

— Да, до последней капли крови!

Я поднялся в нашу контору.

Меня ожидало письмо. Я открыл его. Это было — о, ирония судьбы — извещение о похоронах гвардейца Тюрпена[1], смертельно раненого на Монмартре утром 18 марта, во время взятия возвышенностей.

Этот безвестный гражданин, умиравший в госпитале Ларибуазьер, испустил дух как раз в ту минуту, когда Париж приветствовал знамя, которое он окрасил своею кровью.

Весь вечер шло безудержное веселье. Бульвары кишели гуляющими. Ежеминутно проходил какой-нибудь батальон, неся знамя, блестевшее над штыками своей золотой бахромой.

Со всех балконов, изо всех окон раздавались крики:

— Да здравствует Коммуна!

Незнакомые люди обнимались, охваченные каким-то экстазом.

Когда, после девяти лет разлуки, амнистия вновь открыла мне двери Парижа, я первым долгом посетил Ратушу, которую в последний раз видел во время майской битвы, когда она пылала багрово-красная, словно горн.

Вдоль почерневших от пожара стен, в обрушившихся нишах, бывших свидетелями незабываемого зрелища 28 марта 1871 года, я искал взглядом человеческие гроздья, лепившиеся по ним в день провозглашения Коммуны. Мне казалось, что я все еще слышу потрясающий рев толпы, приветствующей избранников, в то время, как пушка гремит, а над морем голов развеваются красные знамена батальонов...

ПУШКА «ПЕР-ДЮШЕНА».

— Граждане, — пришел сказать нам однажды один из артиллеристов Коммуны, этих незаметных героев, — завтра мы ждем вас к себе. Не у заставы Майо, а у заставы Терн, где мы установили сегодня на бастионе одно новенькое орудие. Мы окрестили его. Оно будет называться «Пер-Дюшен» и, клянусь вам, будет здорово рявкать!

Итак, завтра утром в путь к заставе Терн!

На полдороге туда, между площадью Согласия и Триумфальной Аркой мы встречаем 85-й батальон, идущий с Марсова поля. Он отправляется на баррикады Нейи сменить 141-й, который дерется там уже целую неделю. Их около двухсот пятидесяти чело-

[1] Смотри «Пер-Дюшен» № 13 (от 8 жерминаля—28 марта).

век, шагающих с решительным видом. Впереди командир. Военная выправка выдает старого солдата.

Я выражаю ему свое восхищение по поводу отличной выправки его людей.

— Гм! гм! — говорит он, — они еще не видали огня. А там здорово жарко! Впрочем, у них вид решительный. И потом, если кто-нибудь захочет удрать, я закрою на это глаза. На что нам такие трусы!

Мы у Триумфальной Арки. Большие облака пыли, словно поднятые копытами целого эскадрона.

— Снаряды! — об'яснил мне командир. — А, чтоб их! Трудновато будет пройти в первый раз. Ну-ка, ребята, *Марсельезу!*

И солдаты подхватили *Марсельезу*. Площадь пройдена без помехи. Мы на авеню Терн, где сыпятся гранаты.

— Вы останетесь на бастионе? — спрашивает меня командир.

Я об'ясняю ему цель своего посещения.

— Видите-ли, — говорю я ему, — я иду на крестины...

Старый офицер покрутил свой ус.

— У вас будет славная музыка! — сказал он усмехаясь.

И действительно, к чему скрывать, я начинал чувствовать, как сердце мое сжимается. Как! Я трушу! Какую жалкую физиономию изображу я перед этими храбрецами, проводящими здесь дни и ночи. Ах, я несчастный молокосос, которому запах пороха бросается в ноги и в голову, вместо того, чтобы дать буйное упоение храбрости!

Так думал я, в то время, как снаряды производили над нашими головами шум, подобный грохоту катящейся по булыжнику телеги, и время от времени мы слышали, как трещат и рушатся стены.

На носилках проносят раненого.

Фонарь шатается и падает с дребезжанием железа.

Кругом дома изрешетены пулями, магазины закрыты, улицы пустынны. Две-три лавки разгромлены снарядами.

— На улице Акаций, — рассказывает нам один из редких прохожих,—снаряд упал в булочную. Приказчик был убит на месте. Хозяйке оторвало ногу. Хозяин тяжело ранен. Оба они, муж и жена, отправлены в Божон [1]... На бульваре Перейр, в табачной лавочке был ранен хозяйский сынишка...

И помолчав немного:

— Ах! канальи! канальи, бомбардирующие нас, как пруссаки. А между тем мы и не думаем драться. Кой чорт мне до Коммуны!— закончил прохожий, прощаясь с нами.

---

[1] Божон—госпиталь в Париже. *(Прим. ред.).*

Мы вышли на круговую дорогу. Командир 85-го батальона дает отдохнуть своим людям, которые группами расходятся по кабачкам в прилегающие улички, где они могут чувствовать себя сравнительно в безопасности.

— Помните: через четверть часа быть на месте! — говорит им начальник отеческим тоном. — Выпейте малость, это придаст вам храбрости.

Через десять минут трубят сбор. Не хватает только двоих.

— Ну, дети мои, вперед! А вам — до свидания, — говорит славный малый, протягивая мне руку...

ГЕРОИ.

Я был в каких-нибудь ста метрах от заставы Терн, которая пылала передо мной, полуразрушенная, об'ятая кольцом пламени.

— Иди! Иди! — убеждал я себя. — Чего ты колеблешься?

И хладнокровно продолжал свой путь. Дойдя до круговой дороги, я почувствовал, как чья-то рука опустилась мне на плечо.

— Как вы хорошо сделали, что пришли! Вот вы услышите сейчас, как он рычит, старик! Видите вы его там, внизу? Он не может пожаловаться. Мы отвели ему особое место, там, где еще уцелела трава.

Огромное орудие лежало на бастионе, обращенное жерлом к Курбевуа.

— Чорт возьми! — продолжал артиллерист. — Мы не хотим оставаться в долгу у наших соседей артиллеристов Майо. На-днях они всадили снаряд в самую середину площадки!..

И артиллерист звонко расхохотался.

— Зато, — продолжал он, — Домбровский посетил их на-днях, когда я там был. Ну и смелый же этот человек! Мы видели, как он мчался сюда с тремя офицерами. Под'ехав к нам, он соскочил с своей белой лошадки и, не говоря ни слова, взобрался на бруствер и стал хладнокровно рассматривать неприятеля в зрительную трубу. Потом, не сходя вниз, он сказал нам со своим дьявольским акцентом: «Не надо больше стрелять по Мон-Валерьену. Ударьте на площадке Курбевуа!». Я смотрел на генерала. У него действительно внешность поляка: светлая бородка, голубые глаза и выдающиеся скулы. Он пожал нам всем руку и ускакал обратно по круговой дороге.

В то мгновение, когда артиллерист кончал свой рассказ, раздался сильный взрыв. Я думал, что снаряд разорвался у меня под ногами. У меня невольно подогнулись колени.

— Экая чертовщина! — услышал я голос моего артиллериста,— ведь это наш «Пер-Дюшен»! Ах, старый чорт!

Когда дым рассеялся, я почувствовал, что в моих жилах течет новая кровь. Волнение исчезло. Я поднялся на бруствер и стал спокойно глядеть на тяжелые облака, таявшие на горизонте: то был дым от залпов версальских орудий.

А внизу храбрецы, черные от пороха, оборванные, окровавленные, с горящими глазами, снова и снова заряжали без передышки, не думая о смерти, которая их окружала.

Когда я спустился, то готов был всех их перецеловать.

ГЕНРИЕТТА — ХОРОШЕНЬКАЯ МАРКИТАНТКА.

— Поручик, поручик!

Мне нет надобности оглянуться, чтобы убедиться, что свежий молодой голос, окликнувший меня таким образом посреди улицы Круассан, принадлежал очаровательной и доблестной гражданке Генриетте, маркитантке одной из рот моего 248-го батальона, которым командовал сын Режера [1].

— Ну, — сказал я, когда она фамильярно взяла меня под руку, — рассказывай-ка, что ты тут делаешь. Разве ты бросила батальон?..

— Бросить батальон! Ну, нет. Если я в Париже, так это потому, что третьего дня мы вернулись из Ванва, откуда привезли тело нашего бедного капитана 5-й роты, знаешь, Штауба. Версальцы убили его, нашего славного Штауба. Мы похоронили его на кладбище Монпарнасс. Наш маленький командир сказал нам речь. Он так хорошо говорил, что у меня даже мурашки по спине пробежали.

— Но куда же ты теперь идешь, и почему бы тебе не отдохнуть немного перед отправкой?

— Отдохнуть? Да разве я в этом нуждаюсь? Мы остановились в Латинском квартале во вторник вечером. Только-только успею повидать своего мужа.

— У тебя, значит, есть теперь муж? — сказал я, смеясь.

— Ну, а скажи пожалуйста, когда у меня не было мужа, хотя бы одного? — ответила красавица. — Конечно, у меня есть муж, его то я и иду навестить в Божоне.

---

[1] Режер (Теофиль), член Коммуны (от 5-го округа). Его сын Анри Режер был во время осады капитаном и ад'ютантом 248-го батальона. Во время Коммуны он был командиром этого батальона.

И выпрямившись так, что ее жакетка с ярко начищенными пуговицами чуть не лопнула, она добавила с оттенком гордости в голосе:

— Он — майор одного батальона, который стоит вместе с нашим. Я тебе не сказала, что мы сегодня же отправляемся в Ванв; там довольно жарко. Приезжай как-нибудь туда повидать нас.

Мы направились к Божону. В этот день должны были состояться торжественные похороны тридцати федератов. На углу одной улицы группа людей читала белую свеже-наклеенную афишу, — исходившее от Коммуны приглашение на похороны.

— Граждане! — гласила афиша: — Парижская Коммуна приглашает вас на погребение наших братьев, убитых врагами республики. Собирайтесь в два часа дня к госпиталю Божон, откуда процессия направится на кладбище Пер-Лашез.

Не было еще двенадцати часов. Я вернул свободу Генриетте, назначив ей свидание у госпиталя.

— Я надеюсь, что сегодня ты оставишь в покое своего майора и пойдешь с нами на кладбище Пер-Лашез.

Красавица возмутилась. Как я мог подумать, что она пренебрежет своими обязанностями маркитантки федератов и гражданки!

— Ты разве не видишь, что я в полном параде! — крикнула она мне, прощаясь.

Любопытный тип эта Генриетта — мы знали ее только под этим именем — бросившаяся, как многие другие женщины, в том числе и молодые и хорошенькие, очертя голову, в борьбу. Смелые, как мужчины, а иногда и смелее их, храбрые, как львицы, они держали себя под пулями и взрывами снарядов с той же непринужденностью, с какой носились по залам сада Бюлье [1], не боясь картечи, с улыбкой неописуемой нежности подносили раненым водку и прощались дружеским поцелуем с теми, кто умирал.

Бедные девушки! Когда какая-нибудь из них попадалась в плен на поле сражения, какое ликование подымалось среди аристократических дам Версаля!

— Видали вы эту шлюху! — злорадствовали на ее пути обитательницы особняков на Оружейной площади.

Ее осыпали ударами зонтиков, ей плевали в лицо. Бедняжка часто совершенно теряла человеческий облик, пока достигала темного и вонючего подвала Оранжереи, куда ее загоняли ударами прикладов.

---

[1] Сад Бюлье—одно из танцовальных заведений Парижа. *(Прим. ред.).*

В ГОСПИТАЛЕ БОЖОН.

Еще не было двух часов, когда я входил в главный под'езд госпиталя Божон...

Мне недолго пришлось искать мою маркитантку. Вместе с ней проник я в залу, где заканчивали укладку тел в гроба.

Двадцать гробов были уже наполнены...

— Как только прибудут дроги Коммуны, их вынесут, — сказал мне врач. — У нас есть еще десять трупов, которые лежат пока прямо на плитах. Хотите взглянуть на них?

Мы вошли в амфитеатр госпиталя. Трупы лежали один подле другого. Большинство в рубашках и панталонах. Некоторые сохранили свою блузу, по запыленному галуну которой можно было определить чин убитого. На правой ноге дощечка с фамилией покойника и номером батальона, в котором он служил.

До десяти трупов вовсе не были опознаны. Среди этих безыменных мертвецов выделялся старик с длинной белой бородой, спокойное лицо которого казалось улыбающимся.

В двух шагах от него лежал мальчуган, которому на вид было не более шестнадцати лет. Он был убит ударом сабли в грудь.

Время шло. Уже слышался шум под'езжающих катафалков и гул толпы, явившейся на призыв Коммуны.

В ту минуту, когда мы собирались переступить порог амфитеатра, с улицы донеслись громкие приветственные клики. Мы бросились к окну коридора и увидели зрелище, одновременно горестное и величественное.

Заполняя улицу и растекаясь по прилегающим путям, теснилась толпа федератов, простого народа, буржуа, женщин, детей, вооруженных и безоружных людей, с цветами иммортелей в петлицах. Все без исключения головы были обнажены. Время от времени из толпы вырывался возглас:

— Да здравствует Коммуна!

— Мы отомстим за них!

В нескольких шагах от под'езда стояла группа людей в штатском платье с приколотой к груди красной розеткой с золотой бахромой — отличительный знак членов Коммуны. На некоторых из них был, кроме того, красный шарф, надетый через плечо, с блестящими золотыми кистями.

КРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ.

Наконец, процессия составилась. Покинув Божон, она медленно спустилась через предместье Сент-Оноре к церкви Мадлен.

При ее приближении все обнажали головы.

Только один человек, взобравшийся на церковные ступени, остался в шляпе.

Один из гвардейцев, отделившись от процессии, спокойно поднялся по ступеням, подошел вплотную к этому человеку и, не говоря ни слова, сильным ударом ладони сбросил с него шляпу, которая покатилась на мостовую.

Около бульваров процессия остановилась, чтобы дать проехать обгонявшим ее ординарцам.

Во главе колонны, составляя ее авангард, шел батальон молодых «добровольцев республики» в своей грифельно-серой форме. За ними два батальона федератов с музыкой впереди, с обтянутыми крепом барабанами и красным знаменем с траурной черной каймой.

Траурные покровы трех катафалков исчезли под грудой венков. По углам красные знамена. Лошади в попонах, покрытых длинным черным вуалем. Поверх венков на катафалке последний лоскут славы — знамя, бахрома которого ярко горит. Они умерли за него.

Члены Коммуны идут за траурным кортежом. Их около десятка. Феликс Пиа, превосходящий других своим ростом, Малон, Амуру [1], Артюр Арну [2].

Следуют батальоны, еще и еще. Позади людской поток, который растет с каждым шагом. На каждой улице, пересекающей бульвары, отделяются группы федератов, чтобы примкнуть к процессии. Проходя мимо погребальных колесниц, офицеры салютуют саблей, гвардейцы обнажают головы.

Эта безмолвная толпа испускает как бы одно сплошное рыданье, покрывающее собою глухую дробь барабанов и мрачные звуки похоронных маршей.

Многие плачут. Другие крепятся и украдкой утирают слезы.

Я смотрю на свою юную маркитантку. Она гордо выступает во главе своей роты. Бедняжка! Ее опухшие, влажные от слез глаза блестят, как живой источник.

---

[1] Амуру (Шарль), член Коммуны (от 14-го округа). Член комиссии внешних сношений (с 21 апреля), секретарь Коммуны. Рукописные протоколы заседаний Коммуны, хранящиеся в библиотеке Лепеллетье-Сен-Фаржо, почти целиком написаны его рукой.

[2] Арну (Артюр), член Коммуны (от 4-го округа), бывший редактор «Марсельезы» (1870).

ДРУЗЬЯ.

ФЕЛИКС ПИА.

Двадцать пятое марта. Восьмой день после победы. Утро.

Что делает Пиа [1]? Где Пиа? Почему он нигде не показывается? Выборы в Коммуну уже на носу. А Пиа не видать.

Отправляемся в поиски за ним.

Пиа — старый заговорщик, сохранивший манию конспиративных квартир. Никто не знает его адреса. Разве Рожар? Не обратится ли нам к Рожару? Мы находим автора «Речей Лабиена» в маленькой сливочной на углу улицы Мадам и улицы Флерос, где он столуется.

— Мы хотим видеть Пиа... Он должен для нас что-нибудь написать... Воззвание к избирателям... Волнующее, как он один умеет волновать... Мы его напечатаем в «Пер-Дюшене»... Мы выпустим его отдельной афишей, если ему угодно... Мы сделаем все. Но нам нужно воззвание...

Рожар не колеблется более. Да, он знает, где Пиа. Он безвыездно пребывает у Мориса Лашатра [2], издателя «Тайн Народа» Эжена Сю [3], «Истории Революции» Луи Блана [4], — в книжном складе на Севастопольском бульваре.

Идем туда.

У Лашатра. Здесь совсем другой прием. Рожар быстро дал себя убедить. Не то здесь, на пороге тайны! Никто из служащих не

---

[1] Пиа (Феликс), член Коммуны (от 10-го округа), член первого Комитета Общественного Спасения (со 2 мая).

[2] Лашатр (Морис), издатель. Выпустил большой словарь, носящий его имя.

[3] Эжен Сю (1804 — 1857), знаменитый французский романист, автор «Вечного Жида» («Le Guif errant»). *(Прим. ред.).*

[4] Луи Блан (1811—1882), французский историк, политический деятель и публицист. Автор книги «Организация труда» (1840). Был членом Временного Правительства 1848 года. Во время Коммуны этот бывший «социалист» изменил пролетариату и клеймил восставший Париж с трибуны Национального Собрания. *(Прим. ред.).*

хочет, или не смеет мне ответить. Наконец, появляется Лашатр. Я называю себя. Передаю ему, как мы все удивлены, что до сих пор не слышим «мощного голоса великого изгнанника». Надо, чтобы Пиа высказался. Надо, чтобы сегодня же вечером на всех стенах Парижа красовалось воззвание Пиа к избирателям...

— Дорогой гражданин, — говорит мне Лашатр, — пусть будет по-вашему: надо же что-нибудь сделать для «Пер-Дюшена»... Но, вообще говоря, наш великий друг не хочет никого видеть... Он наблюдает. Он выжидает... Приходите после завтрака. Я его предупрежу.

Являюсь в два часа. Лашатр указывает мне узкую темную лестницу—настоящую лестницу заговорщика. Бесшумно открывается дверь, и я вижу Пиа, который работает за низким столиком. Все окна завешаны.

Пожав мне руку, Пиа молча протягивает лист бумаги. Это — воззвание. Не было ли оно написано заранее?

— Прочтите это, гражданин!

Читаю вслух. Оно поистине великолепно по силе чувства и дышит упоением победы [1].

> ... Сегодня голосование! Или... завтра война!
> ... Никаких воздержаний!
> Против этой золотой молодежи 71 года, сыновья санкюлотов 92-го, я скажу вам, как Демулен:
> «Избиратели, к урнам!».
> Или как Анрио:
> «Канониры, к пушкам!»

Вермеш и Эмбер ждали меня на улице Краусcан. Мы с увлечением читали и перечитывали блестящую прокламацию.

Едва успели набрать, как еще сырые корректурные листы полетели к Лашатру. На другое утро, как было решено, манифест красовался уже на всех стенах Парижа, равно как и в очередном номере «Пер-Дюшена».

Несколько дней спустя — 30 марта — Пиа, избранный в Коммуну, начал вновь издавать свой «Vengeur» в той самой типографии, где печатался «Пер-Дюшен».

Вечером он приходил туда править корректуру или, вернее, переделывать свою статью. У Пиа был своеобразный метод работы. Он набрасывал на бумагу первоначально короткую статью и отдавал ее в набор. Корректура подавалась ему с очень широкими интервалами между строк. На этой канве он вышивал. Набросок превращался в рисунок ослепительных красок. Когда он находил какой-нибудь яркий эпитет, мы видели, как он поднимал голову,

---

[1] См. полный текст в № 12 «Пер-Дюшена» (от 7 жерминаля—27 марта).

встряхивал своей гривой старого седеющего льва и выталкивал свои сверкающие глаза, такие большие и блестящие, что можно было поклясться, что они сделаны из чистейшего хрусталя и готовы выскочить из орбит.

В 1871 году Пиа было более шестидесяти лет, но он был еще великолепен. Стройная фигура не обнаруживала ни малейшей тенденции гнуться. Густая шевелюра, поразительно живой взгляд искрящихся, пленительных глаз, звучный голос, грациозный жест. Что за жест! Помню, как однажды, находясь в ратуше, я встретил в тронном зале Тридона и Риго, беседовавших в амбразуре окна. Наш разговор был прерван раскатами голоса оратора, говорившего на площади; звучный голос его доносился до нас.

Голос принадлежал Пиа. Какой-то батальон, отправляясь на передовые позиции, явился, по установившемуся обычаю, приветствовать Коммуну и поднести ей красное знамя, окаймленное золотой бахромой. Пиа был там. Он спустился вниз. Схватив знамя, он накинул его на себя и запахнул как плащ. С поднятой кверху правой рукой, закинув голову назад, он говорил, когда наши глаза остановились на нем. Окончив свою речь, он величественным шагом спустился по ступеням крыльца, служившего его трибуной, и, медленно развернув знамя, покрывавшее его, подобно пурпурно-золотой мантии, вручил его командиру с глубоким поклоном.

Грянуло могучее «Да здравствует Коммуна»! Забили барабаны. Полились волнующие звуки *Марсельезы*. Батальон пересек площадь и удалился по улице Риволи.

Пиа вернулся в Ратушу. Он подошел к нам.

— Мы смотрели на вас, — сказал Тридон, смеясь, — и говорили себе, что, обращаясь к этим храбрецам, вы наверное переносились во времена великих предков... на ступени какого-нибудь алтаря *Отечества в опасности*.

— Память о них всегда со мной, — ответил Пиа. — Могу даже сказать, что они никогда меня не покидают...

И он вытащил из кармана маленький томик в коричневом переплете.

— Они всегда при мне...

Это был один из двух томов миниатюрного редкого ныне издания «Истории Революции» Минье.

Романтик до мозга костей, живя исключительно традициями прошлого, слегка самовлюбленный, Пиа внушил нам, с первого же своего появления в углу нашей редакционной комнаты, самое искреннее расположение. Однако, Гебера он не долюбливал. Он смотрел на него глазами ненавистника Гебера Мишле. Но это не мешало ему говорить с нами отечески ласковым тоном. Он назы-

вал нас: «дети мои». Думаю, что он охотно давал бы нам каждый вечер свое благословение революционера.

Иной раз он журил нас, но так благодушно! Однажды я показал ему статью, которую написал на другой день после капитуляции в «Карикатуре» Пилотеля. Пиа пробежал ее. Вдруг он оборачивается ко мне, указывая пальцем на одну из строк текста.

— Не надо никогда писать этого! — сказал он мне с оттенком недовольства в голосе. — Никогда не надо писать, что Франция умерла...

Я перечитал место, задевшее за живое нашего великого друга. Оно гласило:

«Отечество действительно мертво. Нет больше фригийского колпака» и пр.

— Нет, нет, — повторял Пиа. — Никогда не надо этого говорить. Франция не умерла. Она не может умереть.

Да! Он был большим патриотом, этот старик Пиа. И он не шутил традицией, великой традицией революционного патриотизма.

Увы! Нам недолго пришлось быть друзьями. Скоро поведение Пиа в Ратуше стало казаться нам отрицательным. Его ссора с Верморелем, резкость, с какой он нападал на своего молодого товарища, — которому суждено было в последние дни Коммуны заплатить жизнью за свою храбрость, — отдалили нас от нашего бывшего наставника. «Пер-Дюшен» сделал несколько резких выпадов против Пиа. Это привело к окончательному разрыву. Однажды вечером между нами завязался спор. На другой день Пиа не пришел к своему столу править корректуру, как делал это до сих пор. Мы больше с ним не встречались. Должен признаться, — мы долго испытывали подлинное огорчение.

РОЖАР.

Двадцать четвертое апреля. Эмбер и я решили провести вечер на улице Мадам у нашего старого друга Рожара. Как раз в этот день «Пер-Дюшен» обрушился на него, равно как и на Пиа, с гневными упреками. Дело в том, что Пиа и Рожар только что подали в Коммуну заявление об отставке. Рожар, которого избиратели шестого округа послали в Ратушу, отказался принять свой мандат. Он был избран только 2.292 голосами и находил, что этого недостаточно. Закон 1849 года требовал, как минимума, восьмой части общего числа записанных избирателей. Рожар не собрал этой восьмой и потому не считал себя избранным [1].

[1] Дополнительные выборы 16 апреля дали по 6-му округу следующие результаты. Общее число записанных избирателей — 24.800; голосовало 3.442. Курбэ получил 2.418 голосов, Рожар 2.292 голоса. Комиссия, назна-

Мы уже толковали с ним об этом. Мы горячо убеждали его стать выше этого. Коммуна нуждается в ценных работниках. Автор «Речей Лабиена» не может из-за соображений формальной легальности уклоняться от чести бороться за торжество наших общих идеалов.

Рожар не дал себя убедить и ушел. Мы встретили его в самый день его отставки.

— Берегитесь «Пер-Дюшена»! — сказали мы ему смеясь.

А я прибавил:

— Уж я проберу вас.

И написал статью:

«Великий гнев «Пер-Дюшена» на людей, которые слагают с себя обязанности членов Коммуны и не боятся оставлять патриотов в затруднительном положении, и его важное предложение Коммуне добиваться всеми возможными способами освобождения гражданина Бланки, задержанного версальскими негодяями» [1].

Чего стоило уж одно заглавие! Но статья была еще сильнее.

Отказываясь от участия в Коммуне, убегая от власти в тот момент, когда опасность возрастает с каждым днем;

когда версальские негодяи для скорейшего подавления Революции набивают Вильгельму карманы, чтобы получить право и возможность еще сильнее бомбардировать нас;

когда каждый пушечный выстрел, отдающийся в наших ушах, говорит нам может быть о новом избиении патриотов, если не о торжестве Революции;

в этот напряженный момент, в этот страшный час, когда дело идет о жизни или смерти целого народа, вы, граждане, были бы предателями Революции, оставляя ее без поддержки,—вы, на которых с надеждой взирает народ!

... Граждане, патриотам остается теперь сделать только одно:

Предать вас забвению—в случае торжества, проклятию—в случае поражения!

Мы отворяем дверь сливочной на улице Мадам. Рожара, который обычно восседает там с газетой в руках, за белым мраморным столиком в уголку, не видно.

— Г-н Рожар не придет сегодня, — говорит нам хозяйка. — Он просил передать вам вот это. — И она протягивает нам тщательно перевязанный увесистый пакет. Открываю: аккуратно сложенные столбиком двадцать пятифранковых монет...

ченная для утверждения выборов (см. «Официальную Газету» от 20 апреля), решила утвердить всех кандидатов, получивших абсолютное большинство избирательных голосов (общего числа голосовавших). Курбэ согласился принять свой мандат, Рожар отказался, мотивировав свой отказ в письме, помещенном в газете «Vengeur» от 22 апреля.

[1] Смотри «Пер-Дюшен» № 39 (от 4 флореаля—23 апреля).

— Конечно, — сказал я Эмберу. — Папаша Рожар по настоящему обиделся на нас. Никогда бы он этого не сделал, если бы не был здорово зол на мою утреннюю статью.

Эти двадцать пятифранковых монет — в то время золото и банковые билеты были редкостью — мы ссудили Рожару, недели две тому назад как раз именно на печатную пропаганду его кандидатуры в Коммуну. Он не мог не знать, что эти деньги нам совершенно не нужны («Пер-Дюшен» приносил ежедневно каждому из нас изрядный доход)... Нет, это уже не хорошо с его стороны...

Мы ушли огорченные.

Решительно мы потеряли еще одного друга, большого друга, учителя.

И мне вспомнилось появление бессмертных «Речей». Я вновь увидел себя в аудитории Горного института на лекции по анализу, в тот памятный день, когда знаменитая брошюра переходила у нас из рук в руки. Рядом со мною — это было в 1865 году, и я был тогда на подготовительном курсе — студент-иностранец, поляк Андреевич, еще не расставшийся со своим кожаным доломаном, подбитым белым барашком, который он носил во время недавнего восстания. Наш профессор Гатон де-ла-Гупильер, чертя мелом на доске свои интегралы, следит в то же время за тем, как брошюра перелетает со скамьи на скамью. Наконец, она возвращается ко мне, и я бережно засовываю ее в карман. Накануне на нее был наложен арест, и теперь ее можно было достать только за очень большие деньги.

С Рожаром мне пришлось снова встретиться только уже к концу, на другой день после вступления в Париж версальских войск. Это было в понедельник, 22 мая, когда мы — Эмбер и я — решили прекратить издание «Пер-Дюшена». Мы бросились в редакцию «Vengeur». Рожар был там. Он составлял призыв к оружию, появившийся на другой день в газете за подписью его и его сотрудников. Как только он нас увидел, он тотчас же встал и пошел нам навстречу; мы обменялись долгим, молчаливым рукопожатием...

РОССЕЛЬ.

Один из первых друзей «Пер-Дюшена».

Он был начальником штаба Клюзере, когда я встретил его в первых числах апреля в военной делегации.

Последние дни осады я провел на оружейном и патронном заводе, оборудованном в помещении табачной мануфактуры на набережной д'Орсэ. После капитуляции Парижа большие запасы патронов системы Шаспо, в общем несколько миллионов, были

эвакуированы оттуда на площадь Трокадеро и сложены в подвалах дворца.

Известно ли это военному министерству? Такова была цель моего визита.

Меня принял Россель [1]. Он всего несколько дней как вступил в исполнение своих обязанностей, так как по прибытии своем в Париж командовал некоторое время 17-м легионом.

Спустя некоторое время я привел его в редакцию «Пер-Дюшена».

Среднего роста, в сюртуке и мягкой шляпе, с окладистой и довольно длинной каштановой бородой — он дал мне прекрасную фотографию, снятую в лагере Невер незадолго до его от'езда в Париж — с глубоко сидящими глазами, блестевшими из-за стекол пенснэ, с высоким лбом и тонкими губами, Россель совсем непохож был на военного. Говорил он мягко, без раскатов голоса, и ничто в его лице не выдавало того волнения, которое он сообщал своим слушателям. В министерстве он составлял полный контраст с манерами богемы и развязной хвастливостью своего начальника Клюзере, впрочем лично очень храброго человека.

Однажды мы завели Росселя в наш любимый ресторанчик на углу площади Виктуар и улицы des Petits-Champs. Около полудня там обычно сходились многие журналисты и члены Коммуны, — Валлэс, Лонге, Ж.-Б. Клеман, Вальян, Рожар, Пьер Дени [2], Казимир Буи [3], Анри Бриссак [4], Люсипиа и др. Мы расположились в отдельном кабинете.

---

[1] Россель (Луи-Натаниэль), молодой инженерный полковник. Командуя инженерными частями лагеря Невер, он, по получении известий о революции 18 марта, немедленно прибыл в Париж и отдал себя в распоряжение революционного правительства. Был последовательно начальником 17-го легиона, председателем баррикадной комиссии, начальником главного штаба, председателем военного трибунала и, наконец, после отставки Клюзере, военным делегатом, в каковой должности пробыл всего 10 дней (с 30 апреля до 10 мая). После падения Коммуны был арестован, судим и приговорен к смертной казни «за дезертирство». 28 ноября 1871 года был расстрелян в Сатори вместе с членом Коммуны Ферре и унтер-офицером регулярной армии Буржа, перешедшим 18 марта на сторону революции. Оставил интересные «Посмертные записки», переведенные, между прочим, на русский язык (1872) и немедленно конфискованные цензурой. (В Ленинграде в «Музее Революции» имеется один экземпляр этих «Записок»). *(Прим. ред.).*

[2] Дени (Пьер), журналист, сотрудник Валлэса по «Крику Народа». Позднее стал советником генерала Буланже (1887).

[3] Буи (Казимир), сотрудник «Крика Народа». Написал предисловие к книге, где были собраны статьи Бланки в газете «Огненное в опасности» (1870).

[4] Бриссак (Анри), сотрудник газеты «Le Vengeur», секретарь Комитета Общественного Спасения. Приговорен к пожизненным каторжным работам.

Россель ослепил нас с первых же слов. Сам Вермеш, который перед уходом из редакции шепнул нам на ухо, что хочет «пощупать его», слушал как загипнотизированный. Короткими, отрывистыми фразами, которые сыпались с его уст, как удары шпаги, освещая на минуту ярким блеском глаз его холодное непроницаемое лицо, Россель рассказывал нам весь ужас и весь позор Меца.

Для него, несмотря на поражение, капитуляцию, мир, несмотря на его первые разочарования в военных силах, которыми могла располагать Коммуна, — еще ничто не было потеряно. Коммуна могла одержать верх над Версалем, распустить Собрание, обратиться с воззванием к избирателям, возобновить войну...

Когда мы расстались с Росселем, и он ушел в свое министерство, мы переглянулись между собой. Эмбер и я не скрывали своих опасений. Вермеш ликовал.

— Вот увидите, — говорил он, — что этот малый будет скоро военным министром, и «Пер-Дюшен» будет его доверенным, подобно тому, как «старик» был доверенным Бушотта [1].

«Старик» это был Гебер!

Предсказание Вермеша сбылось. Россель стал преемником Клюзере. Но ему повезло не лучше, чем его предшественнику. Он был сломлен, так как, несмотря на всю свою властную внешность, не мог добиться никакого влияния на неустойчивые и неопределенные по своим функциям комиссии Коммуны и на Центральный Комитет, действовавший за кулисами.

Однажды, когда мы находились в военном министерстве в кабинете Росселя или в одной из смежных комнат, военный делегат, подойдя к окну, указал нам пальцем на группу сильно жестикулирующих офицеров, — в числе которых, мне помнится, был Люсьен Комбатц [2], один из наших собутыльников по пивной улицы Сен-Северен, в нашивках, в сапогах со шпорами, с саблей на боку, — обернулся к нам и медленно проговорил сквозь зубы:

— Не расстрелять ли мне их там, во дворе...

Он этого не сделал. Он и не мог ничего сделать...

Всего несколько дней — с 1 по 10 мая — продолжалась военная диктатура Росселя или то, что он считал своей диктатурой, когда Вермеш решил попытаться осуществить свою мечту. Он был весь увлечен ею. Среди этой невообразимой сумятицы одна мысль преследовала его: воспоминание о славе Гебера. «Пер-Дюшен» стал органом Росселя. Но это не могло длиться долго. Гневные выпады

---

[1] Бушотт (Ж.-Б), военный министр (с 4 апреля 1793 года по жерминаль 11 года). См. о Гебере и Бушотте газету «Le Vieux Cordelier» (№ 5), «Le Père Duchêne» (№ 330 и 332) и «Гебертистов» Тридона (1864, стр. 22).

[2] Комбатц (Люсьен), начальник 6-го легиона и член Центрального Комитета национальной гвардии.

нашей газеты обеспокоили Ратушу. Однажды вечером друзья предупредили меня, что уже поднят вопрос о нашем аресте.

— Пусть только явятся! — кричал Вермеш. — Пусть только посмеют тронуть «Пер-Дюшена»!

— Ну, ну! успокойся, — сказал я ему. — Кой чорт! Гильотины нет еще пока на площади Революции.

Я бросился в делегацию по просвещению, к Вальяну, который продиктовал своему секретарю Констану Мартену [1] записку к Эду, бывшему тогда членом Комитета Общественного Спасения. Вальян подписал ее. Я посетил Эда, и все уладилось. (У меня до сих пор сохранилась эта записка Вальяна к Эду).

«Пер-Дюшену» не оставалось теперь ничего другого, как поддерживать Делеклюза, который сменил Росселя.

Славный Делеклюз! Меня до сих пор мучит совесть за тот почти оскорбительный прием, который мы ему оказали, когда он явился принять дела военной делегации после бегства Росселя из Ратуши. Эмбер и я были в комнате, смежной с кабинетом делегата, когда туда вошел Делеклюз в своем неизменном сером пальто поверх черного сюртука, в цилиндре, с тростью в руке.

Худой, желтый, сгорбившийся, с измученным, больным лицом, призрак, идущий навстречу смерти, — геройской смерти — Делеклюз направился к группе, в которой находились и мы. Когда мы увидели, что он подходит к нам, мы тотчас же оставили своих друзей:

— Идемте, — вслух произнес один из нас, — нам нечего больше здесь делать: Росселя уже нет здесь.

Делеклюз поднял голову. Я до сих пор вижу перед собой его взгляд, полный вместе и презрения и печали, который он устремил на нас. Я до сих пор не могу простить себе этой недостойной и грубой выходки, которую мы позволили себе по отношению к человеку, который должен был скоро дать нам всем такой прекрасный пример.

РАУЛЬ РИГО.

Будучи одним из наших старейших и самых близких друзей, Риго всего один раз пришел пожать нам руку в нашей комнате на улице Круассан.

Он сердился на нас.

За что?

Причина была простая. Он не мог простить нам, что мы перехватили у него идею «Пер-Дюшена».

[1] Констан Мартен, секретарь делегации по просвещению. По возвращении во Францию принимал деятельное участие в анархическом движении.

В последние годы Империи все усилия Риго были направлены к одной цели: влезть в шкуру «Пер-Дюшена» — старого. У него в революции был единственный герой — Гебер, единственное учение — гебертизм, единственная газета — газета Гебера.

Заговорить при Риго о Робеспьере значило вызвать настоящую бурю. Робеспьер! А казнь гебертистов!

Ранк рассказывал мне сценку, хорошо рисующую Риго и его культ старого «Пер-Дюшена».

Это было в 1870 году. Ранк и Рошфор поднимались по лестнице типографии на улице Абукир, где помещалась контора газеты «Марсельеза».

Они были у порога дверей, когда до их слуха долетели шумные голоса более чем оживленного спора.

Вдруг из залы редакции вылетают, как ураган, два человека. Один из них Риго, другой—Эмбер. Риго лихорадочно поправляет свое пенснэ, когда натыкается на Ранка и Рошфора...

— Но, но, что случилось?

— Случилось... Чорт возьми! Что случилось... — кричит Риго, продолжая кипеть... — Случилось, что этот негодяй Эмбер хвалит Робеспьера...

Таков он был в то время...

А теперь, да, Риго на нас сердился.

Недостойные руки, чужие дерзнули коснуться «Пер-Дюшена»!

Своего старого «Пер-Дюшена» Риго знал наизусть. Когда в Национальной Библиотеке я беру в руки экземпляр газеты Гебера, я никогда не открываю его без мысли об этой гебертистской мании Риго. Уж конечно эти истрепанные листы переворачивал по сто раз не кто иной, как Риго.

Надо было слышать, как он цитирует одним духом какую-нибудь из своих любимых страниц:

«Великая радость Пер-Дюшена при виде, что Конвент собирается примерить галстук Сансона рогоносцу Капету» [1].

— Каково! Когда вы мне тиснете подобное заглавие!

— Но ведь это все давно прошло, старина. Капет умер. Самсон на том свете, если таковой существует. И в настоящую минуту никто и не помышляет о гильотине...

— Увы!—вздыхал Риго.

— Пожалуй, ему действительно недоставало гильотины для той мечты, которую он лелеял столько лет, — увидеть воскрешение великих дней.

---

[1] Сансон (или Самсон)—династия французских палачей. Наиболее известны: Шарль-Анри (1740—1793), казнивший Людовика XVI (Капета), и его сын Анри (1767—1840), казнивший Марию-Антуанетту, сестру Людовика XVI, Елизавету и герцога Орлеанского (Филиппа Эгалите). *(Прим. ред.).*

Иногда мы беседовали— у себя в Латинском квартале—о наших надеждах, о планах на будущее.

— А ты, Риго?

— Я, я хотел бы стать когда-нибудь прокурором Коммуны, как Гебер [1].

И он им стал!

ЗАВТРАК У ПРОТО.

Май. Утро.

Эмбер и я отправляемся завтракать в делегацию юстиции. Это с нами случается часто. Прото — старый товарищ. Там, за большим столом, в столовой, окно которой приходится как раз над воротами Вандомской площади, мы застаем целый ряд друзей.

Председательствует Прото. За столом сидят: его генеральный секретарь Эдмон Дессескель, умерший лет десять тому назад адвокатом в Сайгоне; Поль Брикон, также умерший (доктором медицины и ассистентом доктора Бурневиля в Бисетре); Леон Сорне, совмещающий обязанности прикомандированного к кабинету делегата—я чуть не сказал: министра—с обязанностями издателя нашего «Пер-Дюшена»; Шарль Да-Коста, брат товарища прокурора Коммуны; Вениамин Закс, один из ее молодых следователей; должностные лица, много должностных лиц—Коммуна назначала даже приставов:—офицеры и простые федераты. Иногда, какой-нибудь член Коммуны с красной розеткой в петлице; журналисты, в роде Эмберга, Бермеша и меня. Легкий завтрак на скорую руку, за который каждый платил за все про все сорок су [2], каковые и вносились в кассу, когда подавался кофе.

Это-то и были пресловутые «оргии» Коммуны — по крайней мере те, которые происходили в министерстве юстиции.

По окончании завтрака спускались в сад, украшенный пышными клумбами красной герани. Посреди одной из клумб прелестная маленькая бронза работы Бозио — Генрих IV дитя — серебряная модель которой находится в Лувре. Но маленький принц сброшен на землю, головою вниз. Видны только ноги, торчащие кверху. Если вы подойдете ближе, вы увидите, что бронза вся продырявлена, и ножны маленькой шпаги жалко повисли... Когда федераты на другой день после 18 марта заняли министерство юсти-

---

[1] В действительности Гебер был только товарищем прокурора Коммуны; прокурором был Шометт.

[2] По довоенному курсу около 75 копеек. (*Прим. ред.*).

ции и нашли у входа маленького Генриха IV, они взвалили его на плечи, скинули посреди аллеи и, забавы ради, расстреляли. И последняя выдумка: несчастного маленького калеку зарыли с головой в гущу герани...

Другие довольствуются тем, что выходят на балкон выкурить сигару. Площадь всегда представляет интересное зрелище. В этот жаркий полдень на ней почти не слышно шума. Все кажется уснувшим. Прислонившись к баррикадам, замыкающим улицу Мира и улицу Кастильоне, похрапывают часовые. Только еле слышный скрип нарушает безмолвие. Это скрипит пила, которою работают два человека, присевшие на корточках на пьедестале колонны. Маленькое облачко пыли отделяется от бронзового ствола... Двое людей пилят мягкий камень, из которого сделан гигантский ствол, покрытый слоем бронзы, как ярмарочный пряник, покрытый оберткой из золотой бумаги.

Со стороны улицы Кастильоне доносится лошадиный топот. Группа всадников спешивается по другую сторону баррикад и направляется через площадь. Среди них Домбровский... Генерал, командующий в Нейи, оживленно беседует с сопровождающими его офицерами. Группа скрывается под аркой здания генерального штаба.

Мы покидаем балкон, но шум голосов заставляет нас вернуться на наш наблюдательный пост.

Внизу, в нескольких метрах от решетки, окружающей пьедестал колонны, галдят люди, обступившие незнакомца в сером штатском сюртуке с гладко выбритым лицом. Два гвардейца держат его за шиворот и толкают вперед. Воротник его платья оборван. Его пихают, тащат к посту, охраняющему вход в министерство—в делегацию.

— Что случилось? — кричим мы сверху.

— Ничего... Это поп.

Поп! Мы окликаем офицера:

— Поднимите его сюда.

Его приводят. Брикон, который числится судебным следователем, приступает к допросу. Прежде всего он урезонивает тех, которые арестовали человека и довольно дурно обошлись с ним. В самом деле, в чем его обвиняют? Он бранил людей, которые пилят колонну, — вот что выясняется на допросе. Из-за бритой физиономии его приняли за священника, за попа. Дело не очень серьезное. Каждый день арестовывают подобным образом неосторожных людей, слишком громко выражающих свое неудовольствие. Если они не очень шумят, то отделываются тумаками, которыми награждают их усердные патриоты и от которых после ноют все члены. А затем их посылают ко всем чертям.

Брикон продолжает свой допрос.

— Есть у вас документы?

Молчание.

— Эй, опростайте-ка ваши карманы!

— Ну-да! это поп. Вот его требник.

Брикон хмурится. Человек бледнеет: депо для арестованных не пользуется репутацией земного рая.

По счастью, Брикон в хорошем настроении. Хорошая головомойка попу, и его отсылают к его пастве, после того как он дает клятву «не оскорблять больше колонну».

С балкона мы провожаем глазами священника, который улепетывает, поправляя на ходу свой оборванный воротник...

НАШ ГРАЖДАНИН АББАТ.

— Гражданин, внизу ждет священник, который хочет с вами переговорить.

Это наш горбун Обуэн вошел ко мне с таким сообщением.

Я собираюсь спуститься. Надеваю свое кепи поручика и наскоро соображаю: священник... священник!.. Какого чорта ему нужно от меня?.. Выхожу на улицу. Высокий парень в коричневой куртке стоит, облокотившись на прилавок торговца.

— Вот — гражданин священник, — говорит мне Обуэн со своим смехом добродушного Квазимодо [1].

Я рассматриваю этого так называемого священника. Стройная фигура, вьющиеся темные волосы, открытое лицо... что-ж! Впечатление хорошее... Невольное любопытство заставляет меня поднять глаза к месту тонзуры. Да, это священник: волосы на затылке недавно отросли. Я начал первый.

— Что вам угодно, гражданин? Чему обязан я чести вашего посещения?

— Я, — отвечает священник,—аббат Перрен, викарий церкви Св. Элуа, находящейся, как вам известно, на улице Рейи. По правде сказать, уже несколько дней, как я больше не викарий. Мое начальство, аббат Дени об'явил мне на-днях о моей отставке. Причина: я—республиканец. Впрочем, прочтите это письмо, за опубликование которого в вашей газете я был бы вам очень признателен.

Священник протянул мне письмо. Я развернул его и быстро пробежал:

---

[1] Квазимодо—горбун-пономарь в романе Викт. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831). *(Прим. ред.)*.

«Гражданин редактор,

«Беру на себя смелость писать вам эти строки в надежде на то, что вы не откажетесь оказать мне честь, дав им скромное место на столбцах вашей газеты.

«Я протестую, во имя права и свободы, против несправедливости клерикального деспотизма по отношению ко мне. Граждане Дени, настоятель церкви Св. Элуа и Корнюбер, его викарий и представитель, ставят всевозможные препятствия к выполнению мною обязанностей, которых требуют от меня наша церковь и мои религиозные убеждения.

«Если я республиканец по духу и убеждениям, то это не должно быть причиной к тому, чтобы преследовать меня. Слишком долго уже наше низшее духовенство стонет под игом унизительного рабства. Пора освободить его от детских пеленок и показать нашим деспотам, что нами должен руководить разум, и что мы не согласны ради куска хлеба жертвовать своими убеждениями, честью и независимостью.

Аббат Перрен».

Пока я читал это письмо, гражданин-священник продолжал стоять.

— Вы твердо решили опубликовать это письмо? — спросил я его.

Он сделал утвердительный жест.

— Хорошо! Завтра же оно будет в «Социальной Революции».

Письмо было опубликовано. Само собой разумеется, оно только обострило ссору аббата Перрена с его настоятелем. Аббат Перрен еще раз навестил нас. Он поделился с нами своим проектом арендовать одну из парижских церквей [1] и просил нашей поддержки. Я не могу сказать, осуществил ли он свой проект. Это маловероятно. В течение обоих месяцев революции во всех парижских церквах с католическим духовенством продолжалось богослужение. Пасха была отпразднована как обычно, только по вечерам некоторые из церквей превращались в клубы. Как бы то ни было, церковь Св. Элуа испытала довольно печальную судьбу. Настоятель и его оба викария были арестованы. Во время майских дней церковь служила складом снарядов и чуть не сгорела. Во всем этом обвиняли бедного аббата Перрена. Конечно, без всякого основания. На меня он произвел впечатление мягкого человека, единственным недостатком которого была вера в евангелие первых христиан.

[1] «Пер-Дюшен» в № 17 (от 12 жерминаля—1 апреля) опубликовал свое «великое предложение заставить попов платить за наем их молитвенных домов».

По вопросу о безбрачии священников он должно быть также держался принципов первых христиан. Однажды он пришел к нам на улицу Круассан в сопровождении прелестной молодой женщины. Он рассказал нам трогательную историю о том, как любовь вошла в его сердце священника. В тот день мы позавтракали вместе. Больше я его не видел.

Аббат Перрен был арестован по доносу и отправлен в Версаль. Один из моих друзей, также арестованный и отбывший добрых восемь лет на острове. Ну—в то время каторга была уделом храбрейших—встретил аббата Перрена в тюрьме Шантье. Священник-бунтарь не растерял своих убеждений. Когда он узнал, что ему придется предстать перед военным судом, он решил появиться перед своими судьями в церковном облачении.

Кто-то из друзей—может быть верная подруга, которую я видел с ним на улице Круассан—принес ему его рясу. Об этом было дано знать властям. От него потребовали отказаться от своего намерения. Так как он настаивал, то от него силой отняли платье, которое он собирался надеть, и бывший викарий Св. Элуа должен был предстать перед своими судьями в гражданском платье.

Его прежние товарищи в своих показаниях перед судом старались всячески очернить бедного аббата Перрена. Аббат Гебель, викарий церкви Св. Элуа, обвинял его в том, что он «громогласно употреблял слово гражданин и давал это звание национальным гвардейцам».

— Свидетель ставит мне в вину то, что я называл национальных гвардейцев гражданами,—возражал аббат Перрен,—я напомню ему, что святой Павел обошел весь мир, повторяя: Civis romanus sum [1]. Поэтому я нахожу странным, что свидетель вменяет мне в преступление произнесение слова гражданин.

Председатель суда перебивает его:

— Не приводите цитат, — говорит он обвиняемому, — и отвечайте: призывали вы к нарушению порядка или нет?

— Я решительно отрицаю этот факт, — отвечает аббат Перрен, — я думаю, что лучше выполнял свой долг, чем свидетель. Не стану упоминать о некоторых подробностях, рисующих его далеко не в благоприятном свете. Скажу только, что моя отзывчивость вошла в поговорку в квартале, и что я был самым неутомимым из моих коллег в посещении бедных и больных.

Аббат Перрен отделался двумя годами тюрьмы [2].

Что сталось с нашим гражданином аббатом? Где он? Что делает? Раскаялся ли он? Жив ли еще? Никто из нас ничего не слыхал о нем со дня его осуждения.

---

[1] «Римский гражданин есмь». *(Прим. ред.)*

[2] См. «Судебную газету» («Gazette des Tribunaux»), дело аббата Перрена на военном суде (7 апреля 1872 года.).

ВЕСЕЛЫЕ МИНУТЫ.

Двадцать седьмое марта. Вчера были выборы в Коммуну. На душе так светло и радостно. «Пер-Дюшен» ликует. Перо его впадает в самый горячий лиризм:

«Если кто доволен сегодня, так это Пер-Дюшен!

«Да, чорт побери!

«Зато и закатил же он себе стаканчик, после того как пришел с выборов. А вечером отправился с друзьями на улицу Монторгейль, где слопал целое блюдо рубцов, которое разрешил себе с чувством живейшего удовлетворения.

«Крышка теперь реакционерам!

«У народа будут наконец свои представители» [1]...

К полудню мы по обыкновению приходим на улицу Круассан. Вестовой, который служит у нас в конторе, отдает нам честь по-военному.

— Граждане, тут принесли что-то для вас.

Серый каменный горшок. Приподнимаю его. Вес почтенный. Открываем. Рубцы! Рубцы от Жуанна!

И мы вспоминаем нашу статью. Этот добрейший Жуанн не дал остыть своему порыву благодарности. Он прислал нам с одним из служащих своего заведения на улице Монторгейль хороший горшок отборных рубцов.

— За твое здоровье, гражданин Жуанн! Сегодня вечером мы полакомимся твоими рубцами в компании приятелей.

Но как отблагодарить его!

Наши первых десять номеров только что сброшюрованы в книгу с золотисто-желтой обложкой. На обороте воззвание Феликса Пиа к избирателям, то самое, за которым я бегал к Лашатру.

Мы пошлем брошюру Жуанну. Но нужно сделать посвящение, надпись. И вот один из нас своим самым лучшим почерком надписывает на заглавном листе первого номера:

A Jouanne, marchand de tripes,
Le Pére Duchêne, marchand de fourneaux [2].

Вот интересный экземпляр, если только он сохранился.

Другая история.

Конец апреля. Разгар борьбы. «Пер-Дюшен» в одном из своих номеров рассказывает, что в погребах Тюльерийского дворца

---

[1] См. «Пер-Дюшен», (№ 12 от 7 жерминаля—27 марта).

[2] Жуанну, торгующему рубцами,
Пер-Дюшен, торгующий печками.

найдены колоссальные запасы тонких вин. Сорок две тысячи бутылок!

Коммуна сейчас же распределяет вино между госпиталями и лазаретами.

А «Пер-Дюшен» добавляет:

«А ведь, честное слово, это винишко вольет-таки кровь в жилы тех, у кого ее больше нет.

«Пейте на здоровье, мои храбрые санкюлоты.

«И не бойтесь этой маленькой выпивки...

«Она вам не повредит.

«Не бурду подсовывает вам Коммуна, а настоящее и хорошее вино!

«Вино господское!

«И вы имеете полное право его пить.

«Ибо это вы, работники, вырастили виноград, который дает ему кровь.

«Итак, мои славные ребята, пейте без зазрения совести и за здоровье Парижской Коммуны, чорт возьми!» [1].

Этот восторженный призыв должен был обойтись нам довольно дорого.

В тот же день две или три делегации от батальонов явились в редакцию «Пер-Дюшена».

— Граждане, мы уходим на передовые позиции. Нельзя ли нам отведать малость вина из Тюльери? Какого чорта, 42.000 бутылок! Можем же мы промочить себе горло парочкой из них!

Что было делать?

Существовали ли в действительности эти 42.000 бутылок? Мы не очень-то были в этом уверены. Кто-то рассказал нам о них, и мы решили, что это прекрасная канва, чтобы вышивать по ней узоры.

И мы действительно вышивали во-всю.

Оставалось только покориться судьбе. Советовали же мы санкюлотам «пить без зазрения совести». Право было на их стороне.

В тот же вечер мы послали на место расположения каждого из батальонов, напомнивших нам о своем существовании, по корзине отборного вина.

Но это не было вино из Тюльери. «Пер-Дюшен» заплатил за него чистоганом из своего собственного кармана.

---

[1] См. № 36 «Пер-Дюшена» (от 1 флореаля—20 апреля).

СКОРБНЫЕ МИНУТЫ.

Апрель. У нас в типографии Валлэ, на улице Круассан, для набора наших двух газет — «Пер-Дюшена» и «Социальной Революции» — имеются две отличные смены рабочих. Настоящие граждане. Все из одного батальона, это само собой разумеется. Но батальон батальону рознь. Есть батальоны, которые несут караульную службу в бесчисленных учреждениях, министерствах, мериях, казармах, тех или иных управлениях. Эти батальоны — счастливые батальоны. Мундир на них всегда чистенький, провиант обеспечен, равно как и тридцать су. Можно не тужить. А главное, в таких батальонах не рискуешь своей шкурой.

Рядом с этими привиллегированными батальонами есть батальоны, которые дерутся. В одно прекрасное утро в квартале бьют сбор. Люди наскоро одеваются. Одной рукой хватают свое ружье, другой — патронташ. Обнимают жену и бегут на сборный пункт. С развернутым знаменем отправляются сначала к ратуше, чтобы приветствовать Коммуну перед тем, как итти в бой.

Потом живо на передовые позиции.

Наборщики «Пер-Дюшена» и «Социальной Революции» принадлежат к этой последней категории батальонов. Когда мы приходим в типографию, случается, что мы не всегда находим одни и те же лица.

Отсутствующие, те, которые заменены другими, ушли—куда? Может быть это они стреляют из пушек, гул которых мы слышим между разговором со стороны фортов Ванва и Исси.

— Когда они вернутся?

— Через неделю, а может быть и позже.

Среди наших рабочих был один славный парень, великан, с мускулистой шеей и круглыми, как ядра, мускулами рук. Плечи его, казалось, были созданы для того, чтобы одному поднимать на себе тележку. Каждый вечер, когда «Пер-Дюшен» был оттиснут, он имел привычку, взяв по форме под каждую руку, обойти так всю мастерскую, прежде чем положить их на машину — старую плоскую машину, каких уже не употребляют в наши дни — с такою же непринужденностью, как если бы это была пара литровых бутылок.

Такие подвиги заслужили нашему добродушному великану прозвище Геркулеса.

С тех пор как Геркулес работает у нас, он ни разу не был на фронте.

Не то, чтобы он увиливал. О нет!

— Чорт возьми! Ну и покрошу же я их, когда попаду туда,— говаривал он.

Однажды вечером мы не нашли Геркулеса за его кассой. Настал его черед. Утром он ушел со своим батальоном на баррикаду улицы Перроне в Нейи.

Проходит неделя, десять дней. Ушедшие вернулись на свои места.

А Геркулес?

— Геркулес, гражданин?.. Разве вы не знаете?.. Ну, так он в Божоне....

— Ранен?

— Убит!.. Его завтра хоронят... Вчера за два часа до того, как мы должны были уходить, он получил осколок снаряда в живот... Его привезли в тележке маркитантки...

Бедный Геркулес! Уж не будет он больше носить своих форм... По счастью, он никого после себя не оставляет. Он сам рассказал как-то, что у него нет ни отца, ни матери... Подкидыш... Мы так любили его... При всей своей силе, он не обидел бы даже мухи...

БАТАЛЬОН «ДЕТЕЙ ПЕР-ДЮШЕНА».

НЕ СФОРМИРОВАТЬ ЛИ НАМ СВОЙ БАТАЛЬОН!

Конец апреля. По дороге к заставе Терн нам приходит в голову чудесная мысль. Мы сформируем батальон вольных стрелков, на подобие уже существующих *Тюркосов Коммуны, Стрелков Коммуны, Мстителей Флуранса, Питомцев генерала Эда* и мн. др. Мы создадим вольных стрелков «Пер-Дюшена».

Вечером мы обсуждаем этот проект. Дело решено. Батальон будет называться: *Дети Пер-Дюшена.*

Газета, располагающая собственным батальоном, это не так уж банально.

На другое утро мы публикуем в заголовке газеты (№ 47 от 12 флореаля — 1 мая):

Великую декларацию Пер-Дюшена к гражданам Парижа о том, что он формирует свой батальон вольных стрелков под названием «Дети Пер-Дюшена» и что организацию его он поручает капитану Пьеру, молодцу, каких мало, который задаст перцу версальским негодяям».

Декларация обещает чудеса:

«Пер-Дюшен» думает, что не сядет в галошу, утверждая, что этот батальон будет таким, какого никто еще не видывал, и что он будет состоять из молодцов, каких мало...

«Ах, чорт возьми! Как будет радоваться «Пер-Дюшен», когда увидит перед собой этих славных ребят с изображением печки[1] на кепи, готовых всыпать версальцам по первое число, ибо эти негодяи — будь они прокляты — не заслуживают ничего другого!

---

[1] У «Пер-Дюшена» Гебера в конце номера подпись заменяли две печки, причем одна опрокинутая. До великой Революции отец Дюшен (le pere Duchêne), гончар и печник, являлся одним из любимых народных типов.

«Когда же он отправится в лагерь выпить с ними стаканчик-другой, то охотно примет все патриотические советы, которые они вздумают дать ему на пользу народа...»

В тот же день «Социальная Революция» [1] печатала в заголовке своих столбцов самые заманчивые подробности об организации, командном составе, мундире, жаловании, пайке, приеме офицеров и пр.

Скоро должен был состояться первый смотр.

БЛЕСТЯЩИЙ МУНДИР.

Ах этот мундир! Мундир!

Никогда его не видавши (слишком поздно задуманный, наш батальон не успел пощеголять в своей блестящей форме), я вынужден заимствовать его описание из «Социальной Революции».

Форма рядовых мало чем отличалась от формы федератов. Блуза и кепи национальной гвардии. Панталоны из серого рубчатого бархата. Две рубашки из красной фланели, «чтобы, — поясняет «Пер-Дюшен», — не схватить ночью какой-нибудь проклятой простуды» на аванпостах.

Офицерская форма была действительно завидной, — если бы она существовала не только в воображении.

Черный мундир с красными отворотами, с такими же пуговицами на груди, как у батальона *Защитников Республики* [2]. Красный воротник. Кепи пехотного офицера. Красный жилет. Черные с красной полоской панталоны. Плащ с капюшоном. Пехотная сабля и револьвер. Сапоги à la Суворов.

В штаб батальона, кроме командира, капитана с функциями казначея и капитана с функциями ад'ютанта, должна была входить еще особая комиссия из трех членов по назначению редакции — «Пер-Дюшена».

Под этими тремя членами подразумевались, конечно, три редактора «Пер-Дюшена», мы трое.

Из той же газеты узнаю, что каждый из трех членов комиссии получает кавалерийскую саблю и будет носить под портупеей красный шарф с золотой бахромой.

Это было великолепно и достаточно воинственно. Нам не хватало бы только шляпы с перьями, которую носили наши великие предки, комиссары армий Конвента.

---

[1] См. «Социальную Революцию», № 33 от 2 мая 1871. В заголовке: «Формирование батальона детей Пер-Дюшена».

[2] *Защитники Республики,* которые назывались также *Тюркосами Коммуны;* находились в то время в Исси. Командовал ими гражданин Наз. (См, «Оффициальную Газету» от 2 мая).

Нам не было дано, однако, осуществить эту блестящую мечту. Мы — Вермеш, Эмбер и я — не успели ни прицепить себе к поясу кавалерийскую саблю, ни обмотать вокруг талии красный шарф с золотой бахромой.

Надо ли говорить, что я до сих пор об этом жалею...

ДЕЛО НЕ ЛАДИТСЯ.

Можно ли было ожидать, что при таких заманчивых обещаниях вербовка *Детей Пер-Дюшена* будет итти так медленно. Впрочем, в тот момент борьба была в полном разгаре. Речь шла уже не о том, чтобы фланировать по улицам, а на передовых позициях; дело было не шуточное.

На столбцах «Социальной Революции» мы открыли патриотическую подписку. Дело не шло. 6 мая мы имели только минимальную сумму в 724 франка. Да и то мне пришлось накануне, после завтрака в делегации юстиции, наказать Прото и его гостей франков на двадцать...

Нет, дело не клеилось.

По чьей вине?

Мы решили переменить командира. На первых порах командование было возложено на некоего гражданина Пьера, который именовал себя капитаном пехоты и делегатом и был кандидатом на дополнительных выборах 16 апреля[1].

Однажды утром нас навестил наш друг Гюстав Мэтр, о котором уже шла речь в моем рассказе о Люксембургском военном суде. Он прибыл из Исси, где провел две недели с 205-м батальоном, которым командовал. Он выразил нам желание повидать Росселя, которому хотел сообщить какие-то сведения о покинутых им на несколько дней позициях... Что если бы нам заменить Пьера Мэтром?

Обращаемся к Мэтру. Он согласен. Завтра он примет командование *Детьми Пер-Дюшена*.

Отправляемся к Росселю в военное министерство.

У РОССЕЛЯ.

Россель сидит за столом, заваленным бумагами, картами, книгами. Он в сером сюртуке, его мягкая шляпа рядом на стуле. Он пишет, склонившись над столом. При моем появлении поднимает голову.

[1] См. № 32 «Пер Дюшена» от 27 жерминаля—16 апреля. Кандидаты от 18-го округа: Дюпа и А. Пьер, капитан пехоты и делегат.

— А, здравствуйте. Какие новости со вчерашнего дня?

Накануне он провел с нами несколько часов в нашем кабачке на площади Виктуар.

Увидев пришедшего со мной незнакомого офицера, Россель умолкает.

Мэтр в форме начальника 205-го батальона. Его потертый мундир покрыт черными пятнами, забрызган грязью наших славных окопов. Открытое лицо, светлые голубые глаза сына Вогезов, белокурые усы, вз'ерошенные точно у рассерженного кота.

— Это приятель, — говорю я Росселю... — командир 205-го, Мэтр. Он проделал всю кампанию в егерях.

Но Россель обрывает меня.

— В 205-м?.. Вы из Исси?

— Да, генерал.

— А что там делается, в Исси?

Мэтр сообщает привезенные им новости... Форт наполовину разрушен... Дерутся в нескольких сотнях метров от версальских окопов...

— А как вы думаете, форт еще долго продержится?

Мэтр делает жест, выражающий сомнение[1].

— Когда вы возвращаетесь в Париж?

— Завтра же... Я буду в Исси сегодня вечером... Мои люди измучены после двухнедельных боев. Батальон, который их сменит, должно быть уже прибыл на место.

Россель снова принялся писать. Комната наполнилась посетителями...

На другой день Мэтр привел в Париж свой 205-й батальон и подал в отставку. В тот же день в казарме Ситэ он принял командование нашими *Детьми Пер-Дюшена.*

ЗАВТРАК В КАЗАРМЕ.

Середина мая. Мэтр пригласил нас позавтракать за офицерским столом батальона.

— Я вам представлю, — сказал он, — капитана моего штаба, храбреца Самсона.

[1] Форт Исси, оставленный в первый раз в ночь с 29 на 30 апреля его комендантом Межи, был снова занят федератами на другой же день. Окончательно он перешел в руки версальской армии 8 мая. Тогда же Россель подал в отставку, опубликовав (9 мая) свою нашумевшую афишу: «Трехцветное знамя развевается над фортом Исси, оставленным вчера вечером его гарнизоном». Арестованный и преданный суду военного трибунала «за измену», он бежал из Ратуши с помощью своего друга, члена Коммуны Шарля Жерардена (10 мая), и скрывался под чужим именем вплоть до дня своего ареста полицией Тьера (7 июня). *(Прим. ред.).*

Батальон расквартирован в казарме Ситэ. В воротах, против паперти Нотр-Дам, целый муравейник мундиров. Множество вольных отрядов — *Тюркосы, Защитники, Мстители* расквартированы там. До 18 марта казарму занимала парижская муниципальная гвардия. Новоприбывшие, осмотрев помещение, выкинули за окно каски и кивера, которые валяются там и сям на дворе.

Я пришел вдвоем с Вермешем. Мэтр ждет нас. С ним какой-то офицер. У этого последнего вся грудь в медалях, крымских, итальянских, мексиканских...

— Капитан Самсон.

На нас нет ни сабли, ни красного шарфа с бахромой, и тем не менее Самсон отдает нам честь по всем правилам военного искусства.

— Граждане, Коммуна может рассчитывать на меня.

— И «Пер-Дюшен» тоже?

— Да, гражданин.

— Вам, может быть, неизвестно, что несколько дней тому назад Коммуна собиралась арестовать нас...

— Пусть попробуют! — отвечает капитан. — Дайте только знак, и я явлюсь на улицу Круассан с дюжиной моих молодцов. Вот будет потеха!

Мы успокаиваем Самсона.

Осматриваем помещения, отведенные для батальона. В одном углу, в груде старого оружия, валяется сабля, на золоченном эфесе которой виднеется герб с королевскими лилиями.

Мэтр поднимает ее и вытаскивает клинок, на котором, среди новых лилий, вырезаны слова: «Да здравствует король!»

— Я беру эту штучку себе, — говорит он, смеясь.

Об этой сабле я уже рассказывал. Это та самая сабля, которою мне пришлось увидеть на военном суде в Люксембурге [1].

В БОЮ.

Вторник, 23 мая. Уже два дня, как в Париже идут бои. *Дети Пер-Дюшена* защищают подступы к улице Ренн. В Пантеоне я встречаю Мэтра. Он ищет меня с самого утра. Сообщает последние новости дня.

— Мне нужны деньги для оплаты людей.

— Сколько?

— Сто пятьдесят пять франков.

— Вот они.

---

[1] См. выше, отдел «День в военном суде», стр. 21—22.

Не знаю, каким образом в бесконечных полицейских обысках уцелела у меня расписка, которую он мне дал в заднем помещении кабачка на улице Серпант, куда мы зашли позавтракать:

Получено от гражданина Вильома, члена комиссии батальона Пер-Дюшена сто пятьдесят пять франков. Подписано: Мэтр. (С левой стороны печать: *Батальон Детей Пер-Дюшена. Командир).*

За завтраком Мэтр рассказывает мне любопытный эпизод борьбы, а в это время между федератами, забаррикадировавшимися на скате улицы Ренн, и солдатами, занимавшими вокзал Монпарнасс, идет перестрелка.

В газетном киоске, одно стекло которого разбито, расположился какой-то человек, сидя на стуле и положив свою пачку патронов на табуретку. Он стреляет по вокзалу, затем заряжает ружье и снова стреляет. По внешности он совершенно спокоен и совсем не похож на инсургента. И он стреляет, стреляет...

НА БАРРИКАДАХ.

Когда все было кончено, я долго не имел никаких известий о товарище, который командовал нашим отрядом. В течение двух месяцев я считал его погибшим, расстрелянным на кладбище Пер-Лашез. Такие слухи ходили тогда среди колонии эмигрантов в Женеве. Наконец, я получил от него письмо, в котором он писал:

Ротау (Вогезы), 14 августа 1871.

«...Да, мой бедный батальон не мало перетерпел. На улице Ренн гражданин Самсон сдался, и роты рассыпались в беспорядке по всем направлениям.

С дюжиной человек, которых я собрал, мы удерживали баррикаду, прикрывавшую улицы Расина и Медицинской школы.

Варлен и Ляроше́тт [1] были со мной, когда я принял командование баррикадой. Именно наш батальон защищал последнюю баррикаду шестого округа [2].

---

[1] Ляроше́тт, журналист, один из наших друзей по Латинскому кварталу.

[2] Валлэс в своем «Инсургенте» (стр. 329—330) рассказывает эпизод, в котором выводит на сцену в утро вторника 23 мая батальон «Пер-Дюшена», Вермеша и самого себя. Он даже не упоминает о Мэтре, который однако ни на минуту не оставлял своих людей. Бесполезно указывать, что рассказ Валлэса метит исключительно в Вермеша, которого он не долюбливал, и совершенно фантастичен. Валлэс изображает себя гордо идущим рядом с барабаном, «раскаты которого отдаются в его сердце». Был ли у батальона в тридцать человек свой барабан?

После боя у Пантеона у меня оставалось всего два человека. Мы с Аконеном[1] и этими двумя храбрецами добрались до мерии одиннадцатого округа, где я, к великой радости, нашел тридцать или сорок человек из нашего батальона. Это все-таки было ядро, тем более ценное, что оно состояло исключительно из людей, полных решимости бороться до последней капли крови.

Не дожидаясь приказаний, я занял с ними тот пункт, удержанию которого придавал особое значение.

В течение тридцати шести часов мы удерживали баррикаду на углу улицы Фобур-дю-Тампль и улицы Фоли-Мерикур, против канала.

Там я потерял несколько человек.

Наконец, видя, что солдаты мои в конец изнурены четырехдневными боями, я решил отправиться в мерию одиннадцатого округа просить подкреплений. Я взял слово с С. и Б. не оставлять своего поста и удерживать своих людей, но когда я вернулся, с отчаянием в душе и без подкреплений, то нашел на баррикадах только несколько гвардейцев. Мои солдаты, охваченные внезапной паникой, разбежались. Осталось только три человека. Самому старшему из них могло быть лет двадцать на вид.

Мы вернулись в мерию, а оттуда поднялись в Бельвилль. Трудно себе представить, в каком состоянии мы находились. Две бессонные ночи, во время которых меня поливало дождем, наградили меня такой лихорадкой, что я не мог говорить. К счастью, вечером мы нашли себе приют.

На другой день, в воскресенье, мне удалось достать штатское платье и с помощью Б., которого я снова встретил и которому обязан жизнью, добраться после трехчасовых блужданий до улицы Тюренна, где я нашел себе ночлег...»

Командир *Детей Пер-Дюшена,* также как и я, еще на этом свете. Его усы поседели, но голубые глаза горят огнем прежних дней...

---

[1] Аконен, капитан 248-го батальона, помощник мера 5-го округа (Пантеона).

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

ОБЕД У РАШЕЛЬ.

Майский день. Три часа пополудни. Газета уже сдана в набор. Мы уходим из типографии на улице Круассан. Вечером один из нас еще раз заглянет туда.

Мы — Вермеш и я — поднимаемся по улице Монмартра к бульвару.

— Рашель?..—говорит вдруг Вермеш.—Ты помнишь Рашель?

— Еще бы!.. Ты ее опять встретил?

— Пойдем сегодня обедать на Московскую улицу, — он говорит мне номер дома. — Она будет там...

Помню ли я Рашель! Рашель из поэмы «Великий Завет»!

Уже несколько лет, как Вермеш и Рашель любят друг друга, расходятся и вновь сходятся, чтобы снова любить и опять разойтись. Это зависит от состояния кошелька поэта.

Не сошелся ли он с нею снова? Он на это способен, хотя мне он ничего не говорил такого. А Рашель, если только Вермеш блеснул перед ее синими глазами золотыми луидорами *Пер-Дюшена*, вполне способна соблазниться. Впрочем, поживем, увидим.

Вечером я снова встречаюсь с Вермешем. Он мне рассказывает, что на этот раз легкомысленное дитя окончательно вернулось к нему. Он устроил ее на Московской улице.

— Ты сам увидишь, — заканчивает он, покручивая свой ус.

Вот мы и пришли. Миловидная горничная встречает нас в передней. Дверь в гостинную открыта. Едва мы вошли, как появляется Рашель, все такая же белокурая, с большими голубыми глазами и тонкой фигурой, в бледноголубом кружевном пеньюаре. Роскошная обстановка. Лаковая мебель с инкрустацией из перламутра, по которой порхают золотые птицы с большими лазоревыми крыльями. Мы садимся за стол. Безукоризненная сервировка. Серебряная посуда блестит за стеклом витрины. За обедом царит самое безоблачное веселье. Была первая поло-

вина мая 1871 года, самого чудесного мая, какой когда-либо видела земля. Время от времени до нас доносился глухой грохот пушек заставы Майо. Вдруг — за столом было двое или трое гостей — Вермеш ударяет кулаком по столу:

— Все это ерунда... Я только что видел Росселя. Мы готовим выступление. Коммуну надо выкинуть к черту... Эти люди никуда не годятся. Мы поделим между собой диктатуру. Россель, Риго, Эд, Домбровский, мы... «Пер-Дюшен» участвует в деле... Мы устроимся в Тюльери, да, в Тюльери... В павильоне Флоры... где заседал прежний Комитет Общественного Спасения [1].

Мы уже не слушаем Вермеша... Рашель, на которую политика наводила скуку, поднялась. Мы перешли в гостинную пить кофе. Четверть часа спустя я возвращался на улицу Круассан, в типографию Валлэ, чтобы просмотреть последнюю корректуру «Пер-Дюшена».

Через неделю, в воскресенье 21-го, я опять обедал на Московской улице, на этот раз втроем с Вермешем и Рашель. На горизонте сгущались тучи. Утром, после завтрака у Вальяна в министерстве народного просвещения, мы получили в министерстве юстиции, куда забежали, прежде чем пройти в редакцию, мало утешительные вести. Войска были всего в сотне метров от крепостного вала. Около одиннадцати часов вечера я покинул влюбленных и вернулся к себе на улицу дю-Соммерар. В лавочке, расположенной в нижнем этаже нашего дома — пост федератов.

— Ничего нового?

— Ничего.

Через четверть часа забил барабан. Люди суетятся в темноте. Со всех сторон раздаются тревожные гудки.

— Версальцы вошли! К оружию! К оружию!

Это был конец...

Мне суждено было увидеть Вермеша только уже в изгнании. На другой день Московская улица была занята. Прощайте, мечты о диктатуре, лаковая и золоченая мебель, серебряная посуда... Прощай, Рашель...

«ПЕР-ДЮШЕН» ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ.

Понедельник, 22 мая. Я провел ночь на балконе, дожидаясь первых проблесков дня.

Все кончено, это ясно. Едва только я вышел на улицу, как понял, что положение безнадежно. На площади Пале-Рояль встре-

[1] См. по поводу этих заговоров «Посмертные бумаги» Росселя (стр. 110 и след.) и «Пережитые дни Коммуны» Да-Коста (том II, стр. 190 и след.).

чаю Разуа, который только что эвакуировал Военную Школу. На улице Круассан меня ждет Эмбер.

— Ты видел Вермеша?

— Я оставил его вчера вечером у Рашель.

Входим в нашу маленькую контору. Там все уже перевернуто вверх ногами. Касса — где хранились счета и деньги — открыта и пуста. Идем в типографию. Бумаги больше нет. Кто-то распорядился вывезти ее. Этот кто-то, наверное, один из двух наших компаньонов. Комплекты нашей газеты — их должно быть не меньше семи тысяч, сброшюрованных тетрадками по десяти номеров в каждой [1], — сложены в подвалы пассажа Сомон [2].

Что делать?

Вокзал Сен-Лазар, говорят, взят. Вокзал Монпарнасс—тоже. Скоро трехцветное знамя взовьется над Монмартром...

Продолжать издание?

К чему?

К чему послужил бы теперь «великий гнев», или, увы, маловероятная, «великая радость»! Нет! Мы не будем больше выходить.

Теперь не до слов.

«Пер-Дюшен» приказал долго жить.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВЕРМЕШЕМ?

Нам не пришлось встретиться с Вермешем в течение страшных дней мая.

Когда мы перешли границу и очутились в безопасности [3], он в Лондоне, я в Женеве, я написал ему письмо, в котором просил

---

[1] 60 первых номеров были собраны в цветные тетрадки: желтые (1—10), рыжие (11—20), синие (21—30), зеленые (31—40), красные (41—50), лиловые (51 60). На обороте обложки воспроизведены были прокламации, воззвания, речи и пр.

[2] Пассаж Сомон, недавно разрушенный, уступил место улице Башомон. Понятно, мы никогда уже не увидали 7.000 сброшюрованных комплектов нашего «Пер-Дюшена». Кто их присвоил? Одно верно — это, что их выгодно продали любителям. Были даже сделаны, благодаря оставшимся в типографии старым клише, новые выпуски. В июле 1871 года я написал из Женевы лицу, которое нас так бессовестно ограбило, и просил его прислать мне хоть один комплект. Он мне даже не ответил. Я не печатаю здесь его имени, он давно умер.

[3] Арестованный Эмбер находился тогда в Версале, ожидая военного суда, который и приговорил его к пожизненным каторжным работам. Вермеш и я были приговорены заочно к смертной казни (3-й военный суд, заседание 20 ноября 1871 года).

его рассказать мне историю своих злоключений. Вот что он мне ответил в сентябре 1871 года:

...Ты спрашиваешь меня, что я делал с момента вступления версальцев Со мной случилось то, что случилось со многими, почти со всеми, а именно— я узнал об их вступлении только в понедельник утром.

Между тем я не ночевал в ту ночь дома на улице Сены [1] и проснулся в занятом неприятелем квартале; все соседние улицы были запружены войсками, и под окнами моими свистели пули.

Я справился у привратницы, знавшей, кто я, о движении версальских войск. Мне сообщили, что они овладели уже двумя третями Парижа, и уверили, что бой не продлится и 24 часов, в чем я и сам был давно убежден.

Я оказался оторванным от своих повседневных дел и своей среды, совершенно одиноким в центре потерянной позиции, не зная никого кругом. Без оружия, без единого друга, без единого патрона, я лишен был возможности предпринять что-либо, тем более что, не принадлежа ни к какой части, я не имел даже сборного пункта.

Но я должен заявить, что, даже не будь этой физической невозможности сделать что-либо, я, вероятно, не стал бы драться по той простой причине, что никогда не буду солдатом проигранного дела.

Я готов сражаться в день восстания, но не в день поражения, в час, когда раздается «вперед», но не в час, когда раздается «спасайся, кто может».

Эмбера я видел в последний раз на левом берегу в среду утром, за несколько часов до осады Пантеона. Он боролся до самого последнего дня.

На мою долю выпало — я уже рассказывал об этом — быть арестованным в четверг вечером и отведенным в Люксембургский военный суд.

НАШИ ФИНАНСЫ.

— Они это делали ради наживы!

Сколько раз приходилось мне читать на другой день после поражения в листках версальского лагеря это нелепое обвинение.

Вот что принес нам «Пер-Дюшен». За вычетом расходов на издание «Социальной Революции», которую мы выпускали по вечерам и которая пользовалась только половинным успехом, 68 номеров «Пер-Дюшена» дали нам чистого дохода 25.000 франков в круглых цифрах.

Эта прибыль, разделенная на пять частей — между нами тремя и двумя нашими пайщиками, Обуэном и Родольфом Симон, — дала каждому из нас по 5.000 франков.

---

[1] Здесь Вермеш забывает о нашем обеде в воскресенье в день вступления армии в Париж.

Не знаю, что сделали со своими деньгами наши товарищи. Когда после амнистии я встретил Обуэна на улице Крассан, нельзя было сказать, чтобы его дела шли блестяще. Что касается Симона, я уже говорил, что его судьба мне не известна. У нас же троих доходы от «Пер-Дюшена» как-то так проскользнули между пальцами, что мы оказались почти без гроша, когда пришла катастрофа.

Могу здесь сказать, что репутация капиталистов, которую мы заслужили среди широкой публики, благодаря большому тиражу «Пер-Дюшена», окружила нас в тоже время целой армией попрошаек. Можно было бы простить этим людям, если бы некоторые из них не пускали в версальской прессе, в то время, когда мы еще скрывались в Париже, предательских заметок и доносов.

Мир праху их!

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ, ГЛЯДИТЕ В ОБА!

Несколько добрых советов коллекционерам. Прежде всего, кроме нас троих—Вермеша, Эмбера и меня,—никто не написал ни одной строчки в нашей газете.

«Пер-Дюшен» прекратил свое существование на 68 номере. Три последних номера были подписаны нашими тремя фамилиями, как ответственных за издание лиц.

В каталогах книжных магазинов встречается иногда указание на № 69 [1].

Этот номер, по словам каталогов, был отпечатан в Роттердаме в 1882 году. По этому поводу была сочинена целая маленькая история. Рассказывали, будто в тот момент, когда кончали набор этого номера, типография на улице Круассон была захвачена войсками и набор был увезен в Бельгию бежавшими рабочими.

У меня есть экземпляр этого подложного номера, где анонимный автор между прочими образчиками стиля отпускает самую непечатную брань...

Другое предупреждение.

Десять первых номеров «Пер-Дюшена» удостоились специального издания в количестве десяти экземпляров на дорогой

[1] Вот заголовок этого номера: «Великое ликование «Пер-Дюшена» вместе с приветом версальским негодяям, которые сами явились к нам, чтобы сесть в галошу, его большой призыв к славным ребятам Антуанского предместья и 20-го округа и его проект генеральной иллюминации города Парижа». Отпечатано 100 нумерованных экземпляров. У меня имеется номер 80-й. И я даже заплатил за него 5 франков.

бумаге, с названием газеты, напечатанным красными буквами. Эти номера были об'единены в брошюру с желтой обложкой, такой же как для первых десяти номеров обычного издания.

Каждый из нас—трое редакторов и двое продавцев, сохранили по одной такой брошюре. Пять остальных мы роздали различным друзьям.

Ни разу не пришлось мне напасть ни на одну из этих редчайших брошюр, до того редких, что никогда никто из нас не встречал их более.

Никакого другого дорогого тиража не было.

Последнее предостережение.

Не доверяться памяткам, медалям и другим значкам батальона «*Детей Пер-Дюшена*». Я уже говорил, что батальон не успел надеть свою форму.

Однажды мне пришли предложить—после того, как предлагали ее музею Карнавале—маленькую серебряную «печку», будто бы фигурировавшую на кепи гвардейца нашего батальона.

Опять-таки подделка.

Этот значек батальона «*Детей Пер-Дюшена*» был выпущен, вероятно, фабрикой «сувениров Коммуны», которая была раскрыта в 1874 году и очень дорого продавала любителям драгоценности, и особенно медали, якобы выбитые во время Коммуны [1].

Доверчивые коллекционеры, раскройте глаза,—как говорил «Пер-Дюшен».

И притом пошире!

---

[1] См. интересное место в книге «Двадцать лет в полиции», воспоминания и анекдоты бывшего полицейского чиновника. Париж, Дентю 1881, стр. 212. См. также мою статью: «Фальшивые деньги, подозрительные медали», появившуюся в «Авроре» от 11 июня 1907 года.

В ВОССТАВШЕМ ГОРОДЕ.

У ГЛАЗЕРА[1].

(Пивная на улице Сен-Северен).

ПОСЕТИТЕЛИ.

Последние месяцы империи.—Улица Сен-Северен. Второй дом налево, около бульвара Сен-Мишель. В настоящее время книжный магазин (№ 40). В 1870—71 году скромного вида пивная. Над входной дверью большая стеклянная бочка... За порогом светлая зала. В глубине биллиард. Столики из белого мрамора. За стойкой с газетой в руках человек с черной бородой и открытой физиономией. Хозяин. Глазер. Учитель из Эльзаса, Глазер за свои республиканские убеждения был уволен императорским правительством. Он покинул родину. Чтобы иметь чем жить, открыл пивную на улице Сен-Северен под вывеской: «У бочки», иначе «Рейнская Пивная». Мы же говорим просто «У Глазера».

Теплая компания собиралась там по вечерам часов в десять, одиннадцать. Все, за редким исключением, будущие коммунары. Одни будут заседать в Ратуше: Валлэс, Лонге, Вальян, Риго, Журд, Режер, Верморель, Лео Мелье, Уде[2], Тридон, Курбэ[3], Эмбер и я вместе с Вермешем будем издавать «Пер-Дюшен», Марото—«Гору», которая приведет его к ссылке и смерти на острове Ну. Люлье[4], будущий генерал или почти генерал. Он тоже пойдет

[1] Чтобы дать точное представление о пивной Глазера, прославленной в летописях Революции, я счел нужным вернуться в своих записках к последним месяцам Империи и затем к великим дням осады.

[2] Уде (Эмиль), член Коммуны (от 19-го округа), член Комиссии Общественной Безопасности.

[3] Курбэ (Гюстав), член Коммуны (от 6-го округа), автор картины «Похороны в Орнане» и др.

[4] Люлье (Шарль), морской офицер в отставке. Член Центрального Комитета. Будучи арестован, он бежал и яростно интриговал против Коммуны. Тем не менее был приговорен к смертной казни, замененной ему каторжными работами.

на каторгу. Брион, Дюкасс, Тельер,—впоследствии известные ораторы публичных собраний. Пасседуэ, будущий мер 13-го округа. Он умрет, как и Марото, в Каледонии. Люсипиа, тоже будущий ссыльный. Мэтр, который будет командиром нашего славного батальона «*Детей Пер-Дюшена*». Тут за столом также с полдюжины тех, кто будет работать рядом с Риго и Ферре в префектуре полиции: Брейе, Левро, Да-Коста (два брата), Сорне; Аконен, который будет капитаном 248-го батальона, а потом мером Пантеона. Эд [1] и Бридо [2], которые будут арестованы по делу в Ла-Виллет, приговорены к смерти и накануне казни освобождены революцией 4 сентября; Пилотель, который будет специальным комиссаром полиции и арестует Гюстава Шодэ. Тут же Трейяр, ветеран 1851 года, будущий директор ведомства общественного призрения; он будет расстрелян на дворе Политехнической Школы. Вот входит Эдуард Рулье с томом Прудона подмышкой. За его длинную синеватую блузу, вылинявшую от частой стирки гражданки Рулье, уцепилась пара плаксивых малышей. Паже-Люписен, будущий директор госпиталя «Божий Дом», играет своей шапкой из поддельного меха, которую держит в левой руке. Анри Бауэр, который будет сослан. Альбер Каллэ, которому придется сопутствовать Груссэ в делегацию иностранных дел и который отделается пятью годами тюрьмы. А сколько еще других! Кавалье, этот добрейший Pipe-en-Bois, которому Альфан воздаст должное перед военным судом. Большой Петит, который отправится в изгнание в Женеву. Пьер Дени, который не подвергнется преследованиям, хотя будет автором почти всех передовиц в «Крике Народа». Норо, будущий командир 22-го батальона, а в настоящее время малюет огромный холст «Последние монтаньяры», с трудом двигаясь в своей крохотной комнатке шестого этажа. Я чуть не забыл Жилля, будущего хранителя Люксембургского музея...

Еще кое-кто. Шарль Фремин, только что выпустивший в издательстве Лемер свой первый том стихов, «Флореаль». Франсис Энн, Гюстав Пюиссан, автор нашумевших в свое время «Раков маленького Огюста». Это единственный, которому предстояло плохо кончить [3].

---

[1] Эд (Эмиль), член Коммуны (от 11-го округа), член Комитета Общественного Спасения (с 10 мая).

[2] Бридо (Габриель), начальник муниципальной полиции во время Коммуны.

[3] В 1879 году было обнаружено, что Пюиссан в течение долгих лет служил в полиции. См. статью Жюля Кларети «Человек без имени» в газете «Le Temps» от 26 ноября 1908 года, и мою хронику в «Авроре» от 30 ноября 1908 года: «По поводу человека без имени».

БАРОН ДЕ-ПОННА.

Особого упоминания заслуживает славный барон де-Понна, настоящий барон и в то же время бланкист и атеист.

Толстый, лысый, человек лет под пятьдесят, как всегда мелкими шажками вкатывается барон в пивную и кладет на стол огромный портфель, набитый бумагами, выписками, которые он делает в императорской библиотеке для своей «Истории Церкви», вышедшей позднее в двух томах в издании Шарпантье.

Барон проводит целые дни, погруженный в фолианты Сюареца [1] и св. Фомы Аквината, если только ему не встретятся гражданские похороны. Такой день настоящий праздник для пылкого и свободомыслящего барона. Личностью покойника, чьи бренные останки везут мимо него, де-Понна нисколько не интересуется. Но он присоединяется к процессии. Проходит в первый ряд за катафалком. Раскланивается с родственниками, беседует, если надо. Все это для того, чтобы подготовить заключительную сцену, прославление добродетелей свободомыслящего покойника, которого он, разумеется, не знает ни с какой стороны. Но де-Понна забрал себе в голову вести пропаганду и ведет ее при всяком удобном случае, наперекор и против кого угодно. Никто не помешает ему, когда покойника довезут до могилы, произнести речь и бросить на гроб букет символических иммортелей. Молва гласит, будто бы барон, чтобы подкупить присутствующих, неизменно начинает свои надгробные речи с фразы, скорее комической: «Гражданки и граждане, всякий раз с новым удовольствием прихожу я на могилу свободомыслящего человека»... По правде сказать, никто из нас не слыхал барона.

Осторожный Понна, после того, как победа осталась за восстанием, продолжал заниматься Сюарецем и Фомой Аквинатом и держался в стороне. Однажды мы были свидетелями его появления на террасе «Северного Кафе» в Женеве, куда он прибыл из соседней Савойи, своей родины, чтобы пожать руку старым друзьям. После этого визита я не слыхал больше про чудака барона.

СЫЩИКИ.

Полиции не так-то легко проникнуть в нашу маленькую пивную. Все знают друг друга. Кроме нас, там бывает только с полдюжины завсегдатаев, местных торговцев, которые приходят после

---

[1] Франсуа Сюарец (1548—1617)—испанский богослов, философ и юрист. *(Прим. ред.).*

обеда сыграть партию на биллиарде, ни мало не смущаясь вечным шумом довольно оживленных разговоров.

Появись новое лицо, его живо возьмут под обстрел. Там есть чуткие ищейки, как Риго, который насквозь знает своих сотрудников по Иерусалимской улице.

Клод, на которого был возложен надзор за клубами, собраниями и «местами с дурной репутацией», откровенно признается, в своем показании Парламентской Следственной Комиссии по делу о восстании 18 марта, что одна мысль о входе в заведение, посещаемое революционерами, внушала ужас его агентам.

— Всякий раз, когда туда командировали агентов, — ответил Клод на вопрос председателя Следственной Комиссии, — они на перебой старались найти отговорку, зная, что там им наделают хлопот [1].

Пивная в улице Сен-Северен беспокоила не одного Клода. Она не давала спать г. Вашеро, меру 5-го округа (Пантеона) во время осады, позднее депутату Национального Собрания, автору «Демократии».

В том же заседании Следственной Комиссии Вашеро допрашивает Клода.

— Я хотел бы задать вам вопрос, касающийся моего квартала. Было ли вам известно о собраниях, происходивших почти каждый вечер в кафе, находящемся в начале бульвара Сен-Мишель, т.-е. у самого моста Сен-Мишель, идя по правой стороне, собраниях, в которых принимало участие большое число лиц, фигурировавших потом в Коммуне?

— Да, — отвечает Клод. — Это было по правой стороне, идя к мосту. Мы знали, что подобного рода собрания устраивались на улице Сен-Северен и в квартале, расположенном между этой улицей и мостом Сен-Мишель.

— Бывали ли на этих собраниях ваши агенты?—продолжает Вашеро. — Знали ли вы, что там происходит?

— У политической полиции там были свои агенты,—отвечат Клод.

Правда заключается в словах Клода, приведенных выше. Его агенты не смели показываться у нас из страха, что будут узнаны и выгнаны вон.

Так было однажды вечером у Глазера, когда два несчастных сыщика решились толкнуться туда.

В переполненной зале ни одного свободного столика.

Обоим товарищам приходится поневоле устраиваться в глубине за биллиардом.

---

[1] «Парламентское следствие» и т. д., издание в одном томе, стр. 266.

— Эге! Они самые!—определяет их с первого же взгляда Риго.—Я их знаю.

И он поднимается со своего места, вынимает из кармана табакерку (Риго обильно нюхал табак), подходит к обоим суб'ектам и громко называет их по имени, предлагая им в то же время понюшку:

— Ну! Как поживает начальник? Не стесняйтесь же, возьмите одну... две, если угодно.

И смеется, щелкая табакеркой.

Но другие, не такие зубоскалы, как Риго, не смеялись.

— Укокошить их!—рычал Рулье, вытягивая вперед шею. Паже-Люписен, выйдя из своего обычного мирного настроения, неистово хлопал своей шапкой по мрамору столика. Пилотель размахивал стулом, охраняя входную дверь...

Неизвестно, как бы разрешился инцидент, если бы добрейший Глазер дружески не попросил нас отпустить непрошенных посетителей.

Оба суб'екта поспешно покинули свой мазагран [1] и живо выбрались на улицу, в то время как вдогонку им неслось: «Вон шпиков!»

Когда разразилась Коммуна, уже не было причин стесняться.

В первой половине апреля нам указали на одного человека, завсегдатая нашей маленькой пивной, который вел себя довольно подозрительно.

На этот раз Риго не удовольствовался предложением ему понюшки. Он засадил его.

«Пер-Дюшен», имевший повсюду свой глаз, посвятил этому малому небольшую заметку. «Негодяй дорого поплатится!»—заключил он [2].

Дорого ли поплатился негодяй?

Вот чего я не знаю до сих пор...

ПЛЕМЯННИК АНТУАН.

Вечер. Нас трое или четверо. Разговариваем. Входит приятель. Его сопровождает юноша, брюнет, бледный, с усиками.

— Друг... Антуан.

Антуан — племянник Бланки. Сын чудесной сестры вечного узника.

На другой день я отправляюсь повидать Антуана.

---

[1] Южный прохладительный напиток, род лимонада. *(Прим. ред.).*

[2] «Пер-Дюшен», № 28 от 23 жерминаля 79 года—12 апреля 1871 года.

— Приходите, — сказал он мне.—Я вам покажу комнатку, где работает «мой дядя».

Мой дядя — Бланки, когда он живет дома.

Дом, который занимала сестра Бланки, исчез...

В первом этаже брошюровочная мастерская госпожи Антуан.

Маленькая гостиная скромного вида в мещанском вкусе. Внимание привлекает один холст. Молодой человек со скрещенными руками, с коротко остриженными волосами, продолговатым лицом, горящими глазами и тонкими, словно вырезанными ножом, губами.

— Мой брат, — говорит госпожа Антуан.

Портрет изображает Бланки в 1838 году. Ему 33 года. Написан его женой, Сюзанной-Амелией, в том домике в Жанси, на берегу Уазы, куда правительство Луи-Филиппа запрятало Бланки после процесса улицы Лурсин [1].

С этого полотна, самого прекрасного и самого верного портрета Бланки, был сделан офорт, написанный Гравье, один экземпляр которого, подаренный мне Брейе, находится у меня.

К гостиной примыкает совсем малюсенькая комнатка, вернее проход. Стол, два стула.

— Это кабинет, где работает мой брат, когда он бывает здесь,— говорит госпожа Антуан.

В углу прислонены два больших тома в переплете, принадлежащие перу Бланки. Газета «Journal des Débats» за 1848 год.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РОЖАРА.

— Сегодня вечером приезжает Рожар.

Эту новость сообщает нам Лонге.

Рожар отбыл пятилетний срок наказания по делу своих «Речей Лабиена» (1865).

Большинство из нас еще не знает Рожара. Самым старшим было 20 лет, когда появился знаменитый памфлет. И вот мы готовимся приветствовать старого учителя.

Девять часов. Отлучившийся куда-то Лонге возвращается с толстым седеющим человеком с лысиной и красноватым лицом, робкого вида.

Рожар бормочет несколько слов в ответ на наш восторженный прием.

И, так как он продолжает держать в руках огромную мягкую шляпу, которую не знает куда положить, Валлэс весело говорит ему:

[1] Так называемый процесс о «пороховом заговоре», по которому Бланки был приговорен к двум годам тюрьмы, но вскоре помилован. *(Прим. ред.)*.

— Вот на этот крючек шлем Куриациев [1].

Наполовину довольный, наполовину сконфуженный, Рожар вешает свою шляпу.

С тех пор он один из наших.

КАПИТАН БЛО.

За столиком офицер болтает с несколькими друзьями.

На столе длинная картонная коробка. Офицер открывает ее и вынимает оттуда великолепную складную шляпу с пучком трехцветных перьев.

Этот офицер — капитан Бло, инструктор в Сен-Сире.

Время от времени Бло заходит в пивную на улицу Сен-Северен, чтобы повидать нас. Одет он обычно в штатское. Когда же он появляется в мундире, это значит, что ему предстоит нанести официальный визит в военное министерство или еще куда-нибудь. В таких случаях, не желая показываться на бульваре Сен-Мишель в шляпе с перьями, он приходит в кепи, держа в руках картонку с пресловутой шляпой.

Через несколько месяцев, в один прекрасный августовский вечер, Бло удивит нас всех. Назначенный в полк на другой день после об'явления войны, он был взят в плен в одном из больших сражений. Он бежал из плена, переодетый пастухом.

Он пробудет в Париже все время осады.

Когда придет Коммуна, ему предложат командование. Он отказывается. Однако, не покидает нас. После вступления версальских войск он руководит артиллерийской атакой вокзала Монпарнасс, уже занятого версальской армией.

После разгрома Коммуны капитан-инструктор Сен-Сира, потеряв всех своих друзей убитыми, в тюрьмах, в ссылке, в изгнании, посвятил себя преподавательской деятельности. Мне говорили, что он долгое время был преподавателем истории у аркейльских доминиканцев.

ЭДУАРД ВАЛЬЯН.

Июль 1870 г. Эдуард Вальян, будущий член Коммуны, приезжает из Германии, где, подобно Рожару, учился в Тюбингене.

По пути домой он видел, как немецкая армия направлялась к границе.

---

[1] Куриации (три брата) — персонажи трагедии Корнеля «Горации» («Horace»), сюжет которой заимствован из сказаний древнего Рима.—Здесь как нарицательное имя,—витязь, герой. *(Прим. ред.).*

Вальян делится с нами своими патриотическими опасениями. Неприятель приближается с пением боевых и победных песен, словно уже уверенный, что скоро будет попирать нашу землю.

И мы молча слушаем с тревогой в душе.

У ГОФМАНА.

Летними вечерами, когда стоит палящий зной, мы иногда изменяем славному Глазеру. Поднимаемся по бульвару Сен-Мишель до Гофмана на площадь Обсерватории, останавливаемся на углу бульвара Монпарнасс у окаймленного развесистыми каштанами проспекта, ведущего к ученому учреждению. В нижнем этаже две залы, уставленные столами и ореховыми скамьями. Здесь подается страсбургское светлое пиво, так хорошо известное всему Латинскому кварталу и всем местным живописцам и скульпторам. В глубине первой залы небольшая дверь, ведущая по узкой тропинке в сад с покрытыми листвой беседками. Вечером беседа за кружками и стаканами прямо восхитительна. Вермеш уже много лет слывет завсегдатаем у Гофмана.

Целая компания художников, живописцев, скульпторов сходится там по вечерам. Натурщицы наполняют сад своим смехом. Я как сейчас вижу ударяющего по столу кулаком (отчего дрожат стаканы) старого живописца, ученика Делароша, Жюля Виаля, и его спутника Пиккио, написавшего «Смерть Бодена». Виаль сражался в 48 году. Он хранит пулю, чуть не задевшую его в Пале-Рояле и вынутую им из двери, об которую она расплющилась. Когда мы заходим поболтать в его маленькую мастерскую на улице Гранд-Шомьер, где он малюет дюжинами для лавочек аббата Минь изображения крестного пути и архиепископов «во весь рост», он с гордостью показывает нам ее. Как-то раз один шутник, бывший с нами, хотел во что бы то ни стало доказать, что едва не убившая художника пуля была пулей шаспо. Виаль чуть не задушил его от злости.

Здесь же бывает скульптор Лебеф, вылепивший на Гернсее бюст Виктора Гюго, репродукции которого продаются в книжных магазинах бульвара Сен-Мишель. Протеже Нефтцера, который пописывает время от времени в газете «Le Temps», высокий, белокурый эльзасец, Ритцингер. Иногда заглядывает и католический писатель Констан Терион[1], который ради Гофмана оставляет пивную Майера на улице Вавен.

---

[1] Констан Герион, говорят, послужил Додэ моделью для Элизе Моро в его романе «Короли в изгнании».

Один перед своей кружкой в зале нижнего этажа с черным догом, сидящим на скамеечке, автор «Революционного вандализма», профессор лицея Сен-Барб, Эжен Деспуа поглаживает свою черную с легкой проседью бороду.

В КЛУБЕ БЛАНКИ.

Бланки сегодня вечером открывает свой клуб. Мы пойдем туда.

Улица Сен-Дени № 20. В первом этаже кафе Центрального Рынка. Ныне этот дом исчез, дав место новой постройке, завершившей магазины «Пигмалиона».

Когда мы входим, народу еще совсем мало. Все свои. Эд, Бридо, освобожденный революцией 4 сентября. Эдмон Левро, Бреие, Бальзенк, издатель «Отечества в опасности». Альбер Реньяр. будущий генеральный секретарь полицейской префектуры при Рпго. Карна [1], Уде, Эдуард Рулье. Гранже, изготовивший на свой счет револьверы для лавиллетских заговорщиков. Человек пятьдесят других. На краю биллиарда сидит мой бывший учитель математики в заведении Барбе и лицее Сент-Барб, Мутар, тогда молодой инженер, отказавшийся присягнуть Второму Декабря. Позднее он стал профессором Политехнической школы и главным инспектором рудников. Он пришел из любопытства, как и Ж.-Ж. Вейссе [2].

Где же Бланки?

На эстраду поднят белый деревянный стол. Подхожу. Тридон беседует с горбоносым человеком маленького роста, с бритым лицом, слегка опущенной головой и черными пронизывающими насквозь глазами.

Это — он.

Я подхожу. Тридон жмет мне руку, называет мое имя.

С трибуны перед столом уже ораторствует какой-то человек. Лохматая голова, возбужденная речь, бурные жесты. Это—Люлье, бывший морской офицер, подобно другим, завсегдатай у Глазера, где он каждый вечер очищает свой графинчик коньяка.

— Граждане...

Люлье наклоняется и указывает пальцем на Бланки, продолжающего разговаривать с Тридоном.

— Граждане... этот почтенный старец...

Бланки встрепенулся.

---

[1] Карна (Леопольд) бланкист. Участвовал в деле Ла-Виллет. Был в штабе Почетного Легиона вместе с Эдом. Военным судом приговорен к каторжным работам.

[2] Вейссе (Жан-Жак), французский журналист, профессор литературы и политический деятель. После революции 4 сентября (1370) сотрудничал в реакционных органах «Patrie» и «Paris Journal». *(Прим. ред.).*

Его взгляд, твердый как сталь, горящий как уголь, устремился на Люлье... Он! Он!.. Почтенный старец! Старый дед!

Ах, этот взгляд!

Растерявшийся Люлье бормочет что-то под нос и исчезает.

31 ОКТЯБРЯ.

Полночь. Некоторые уже вернулись из ратуши. Беседуют, собравшись вокруг печки у Глазера. На улице Лагарп еще бьют сбор.

Один из друзей, Эмиль Жиффо, который будет работать с Риго в префектуре, рассказывает свое приключение.

Около одиннадцати часов мы были в красном салоне, где находились Бланки, Флуранс, Милльер и другие. Кругом говорят, что реакционные батальоны идут на ратушу. С минуты на минуту нас могут захватить. Жиффо наклоняется к моему уху. Среди гула голосов он кричит мне:

— У меня в кармане бомбы.

Что делать?

Выйти с ними?

Опасно.

Куда их девать?

И вот мы начинаем пробираться сквозь группы стрелков и скользить вдоль стен, ища выхода... В одном месте обои подаются... за ними пустота. Открытая дверь. Мы входим. Пустая зала... За ней другая... Мы совсем одни... В углу огромного камина за обшивкой Жиффо бережно укладывает, точно в гнездышко, свои бомбы... Вот он и освободился от них.

Далеко за полночь, за запертыми ставнями пивной попрежнему шумно и людно. Поминутно прибывают все новые и новые лица.

Наконец, в три часа утра мы уходим.

Ночь совсем туманная.

Поравнявшись с садом Клюни, встречаю приятеля, которого я видел в ратуше. Приверженец Бланки. Он плачет навзрыд.

— Но! Что случилось?

— Случилось... Случилось, старина, то, что Коммуну нашу выперли.

БЕНЖАМЕН ФЛОТТ.

Еще один образ. Бенжамен Флотт. Ветеран великих дней. Друг, тень Бланки. Отбыв пять лет заключения, к которым был приговорен по делу 15 мая [1], Флотт перебрался в Сан-Франциско. Тонкий

[1] 15 мая 1848 года—один из важнейших моментов в революции 1848 года во Франции. В этот день в Париже состоялась грандиозная демонстрация

кулинар, он основал цветущее заведение. В Париж он вернулся незадолго до об'явления войны.

Однажды вечером мы беседуем о Бланки. Флотт хранит молчание.

— Ну, а ты, расскажи нам что-нибудь.

— После процесса в Бурже я увидел его впервые три месяца тому назад у его сестры, г-жи Антуан... Она предупредила меня накануне его приезда... Я не спал всю ночь... Снова увидеть его!.. Когда я перешагнул порог маленькой гостиной, которую ты хорошо знаешь, сердце мое билось... Узнаю его... Вот он сидит за столом... читает... Сейчас мы бросимся друг другу в об'ятия... обнимемся, как старые товарищи по оружию... Подумать только, ведь я был рядом с ним 15 мая на трибуне Палаты... Я был повсюду рядом с ним...

И Флотт умолкает на мгновение.

— Но нет... он не двигается...

— Это Флотт, — говорит ему сестра.

— А, это ты... — и он, не вставая, протягивает мне руку, которую я жму... Вот и все наши излияния...

— Ты обижен на него? — спросил я Флотта.

— Я?.. Почему?..

И полушутя, полупечально:

— Почему бы мне обижаться на него?.. Нет... я не смог бы...

Флотту было в то время около шестидесяти лет. У него было продолговатое лицо, коротко остриженные седые волосы. Во время Коммуны он был с нами, весь отдавшись проекту обмена Бланки на архиепископа и других заложников.

— Ах, когда мы дождемся *его*, наконец, — говорил он как-то вечером Валлэсу, — я сам стану у плиты Глазера и собственными руками приготовлю вам то, чего вы никогда не ели... Настоящее об'ядение... Я один знаю рецепт... Яичницу с куриными печенками...

— Решено, Флотт, — поддерживал Валлэс своим зычным голосом. — Так когда же яичница с куриными печенками?

Увы... Наступил час разгрома. Те, кто уцелели, ушли в изгнание... Флотт вернулся в Сан-Франциско... И мы так и не узнали, что такое чудесная яичница Бенжамена Флотта, который был другом и тенью Бланки.

150.000 рабочих в честь восставших в Познани поляков. Толпа ворвалась в Национальное Собрание с криками: «Организация труда! Министерство труда! Налог на богатых людей! Да здравствует Польша!». Национальное Собрание было об'явлено распущенным, и толпа приступила к выборам нового Временного Правительства (Луи Блан, Барбес, Бланки и др.) Впрочем, это новое, революционное правительство не успело даже сконституироваться, как демонстрация была разогнана реакционными батальонами национальной гвардии. Начались репрессии, аресты. Все видные участники этого дня были арестованы. Бланки был приговорен к 10 годам тюрьмы. *(Прим. ред.).*

22 ЯНВАРЯ.

Солнце взошло на мрачном и холодном небе. Носятся зловещие слухи. Через несколько дней ожидается капитуляция. Париж изнемогает. Отвратительный черный хлеб из риса и овса распределяют с величайшей экономией. Последние лошади с'едены. Вчера, когда мы беседовали у погасшей печки, опрятная старушка обошла столики кафе, приоткрывая крышку корзинки, которую осторожно несла на руке. В корзинке сидел большой кот, тигрской масти, с острыми усиками и желтыми глазами, прорезанными черной чертой. Аппетитный кот. Последний такой кот в осажденном городе. Бедный кот. У Глазера он не нашел себе покупателя.

Два часа. Бежим. Наш 248-й батальон собирается на улице Школ, чтобы оттуда итти на Ратушу. Пилотель затягивает пояс, надевает кепи артиллериста батареи Нотр-Дам, — батарея газеты «Le Rappel», в которой числятся Верморель, Рожар, Трейяр. С нами идет Паже-Люписен, в качестве добровольца, держа свою шапочку под мышкой. Рулье возвышается над нами своей высокой фигурой. В его длинной бороде июньского инсургента дрожат звездочки инея...

Мы находим батальон у паперти Нотр-Дам. Во главе его Лонге в своей длинной серой шинели командира. Рядом с ним Аконен, который после 18 марта будет помощником мера Пантеона. Собралось около пятидесяти человек. Остальные не явились. Говорят, что будет жарко.

Аркольский мост. Площадь перед Ратушей запружена пестрой толпой,—толпой воскресных дней. Национальные гвардейцы, женщины, дети. Окна Ратуши закрыты. На углу авеню Виктории вооруженные группы. Из улицы Риволи выходит батальон. Над головами красный фригийский колпак на древке знамени.

На середине моста мы останавливаемся и смыкаем наши скромные ряды. Куда мы идем? На авеню Виктории? В кафе Национальной Гвардии, где — как нас предупредили — собралось несколько друзей с Бланки во главе?

Внезапно раздаются выстрелы, которых никто не ожидал. Во всех окнах Ратуши появляются облака белого дыма... Новые выстрелы... Площадь отвечает. Позади нас отвечают национальные гвардейцы, засевшие в еще недостроенном здании нового госпиталя «Божий Дом»... Из Ратуши стреляют по всем направлениям. По площади, по авеню Виктории, по госпиталю, по мосту, где мы так и застряли, оцепенев от страха и злобы.

Вот и все. Площадь опустела... Мы подвигаемся вперед... К нам направляется группа... В середине большое красное пятно... Мы подходим...

Красное пятно оказалось тюфяком, который несут на двух перекладинах... На тюфяке лежит человек... Кепи с четырьмя галунами... Среди людей, сопровождающих раненого, приятель завсегдатай от Глазера, Люсипиа.

— Это Сапиа, — говорит нам Люсипиа.

— Убит?

— Нет, ранен в бедро. Пулей, там на авеню... Он взмахнул тростью, чтобы крикнуть «вперед», когда пуля сразила его... Мы несем его в госпиталь «Божий Дом»...

Кто-то подходит к носилкам. Это — доктор. Он опускает голову на грудь.

Кортеж продолжает свой путь. Когда он входил в под'езд госпиталя, майор Сапиа испустил последний вздох.

В ГИМНАСТИЧЕСКОМ ЗАЛЕ ПАЗ.

На завтра. Пять дней отделяют нас от капитуляции. Гимнастический зал Паз. Улица Тулье. Большая пустая зала, узкая и длинная. В один угол сдвинуты параллельные брусья, на которых до осады упражнялись гимнасты. Я вытягиваюсь, чтобы видеть.

Толпа. Женщины. На трибуне-эстраде — оратор. Исхудавшее лицо ужасающей бледности. Черные горящие глаза. Черная нечесаная борода. Длинные волосы. Брион [1].

Его в общем глухой голос приобретает иногда необыкновенную звучность.

— Граждане и гражданки... Мы будем бороться до последней капли крови... Париж похоронит себя под собственными развалинами...

Раздаются аплодисменты, голоса неистово кричат:

— Да!.. Да!..

Брион ждет, когда уляжется шум. Затем продолжает своим внушительным голосом с пророческим оттенком:

— Граждане и гражданки... Когда в Иерусалиме, осажденном войсками Тита, пали последние бойцы, тогда женщины, стоя на полуразрушенных стенах, подбирали трупы своих мужей и сыновей и, великолепные в своем гневе, бросали их в лицо осаждающим...

---

[1] Брион избранный членом Коммуны (от 9-го округа) на дополнительных выборах 16 апреля, отказался вступить в Ратушу.

Ропот на скамьях, где сидят женщины, впиваясь глазами в Бриона, раскрасневшиеся и словно озаренные.

— Граждане и гражданки, так поступят и наши женщины... Париж может пасть. Но он не сдастся никогда...

— Я прошу слова, — кричит знакомый мне голос, который я сразу узнаю по его акценту.

Это — голос нашего друга Рулье.

Брион кончил. Я вижу, как он удаляется из залы, бледный, с покрытым каплями пота лицом...

Длинная голубая блуза Рулье развевается теперь над эстрадой.

— Вы слышали гражданина Бриона, — начинает Рулье,—итак, поклянемся скорее умереть, чем сдаться пруссакам.

Поднимается лес рук.

— Да. Мы умрем... Но прежде, чем сдаться, мы все с'едим.. Мы с'едим кошек... С'едим собак... Мы с'едим крыс...

В зале начинают улыбаться. Возбужденные красноречием Бриона нервы мало-по-малу успокаиваются.

— Да, — продолжает Рулье, — крыс... Мы будем есть наши сапоги... кожу наших поясов... патронташей... Разве потерпевшие кораблекрушение не едят все, что попадется им под руку?.. Иногда они с'едают друг друга...

Рулье слишком далеко хватил... Громкий смех потрясает залу, которая вскоре пустеет.

ПИСЬМА АРХИЕПИСКОПА.

Среда, 24 мая. Третий день кровавой недели. Бой приближается. Надежды больше нет. В своей квартире на улице дю-Соммерар только что провел полчаса за уничтожением всех компрометирующих меня и других лиц бумаг, накопившихся за два месяца восстания.

А все-таки есть письма, которых я не сожгу.

Письма архиепископа [1].

Его письмо к Тьеру, помеченное: Мазас, 12 апреля.

К этому письму от 12 апреля прелат приложил копию краткой записки, адресованной им своему старшему викарию аббату Лагарду, находившемуся тогда в Версале. Эта записка помечена: Мазас, 19 апреля.

Кроме этих двух драгоценных документов, у меня сохранился еще клочок бумаги, на котором аббат Лагард набросал карандашом четыре строчки, адресованные несчастному архиепископу.

Эти четыре карандашные строчки — помеченные Версалем —

[1] Выше уже упоминалось об этих письмах.

есть отказ аббата Лагарда вернуться в Париж по настоятельному приказу заключенного прелата [1].

Что я сделаю с этими интересными для будущего историка документами?

Я решаю передать их Флотту.

Нахожу Флотта в его маленьком меблированном домике на улице Гюшет.

Мы выходим с ним. Улица Сен-Северен в двух шагах. Входим к Глазеру.

Никого.

Какой контраст с шумными пирушками, которые происходили здесь несколько дней тому назад.

Куда девались мундиры, нашивки, красные шарфы!

---

[1] Вот эти последние два документа. Во-первых, записка, помеченная Мазасом и адресованная прелатом своему старшему викарию:

«Парижский архиепископ г-ну Лагарду,
своему старшему викарию.

«Г-н Флотт, озабоченный задержкой, которая предвидится в возвращении г-на Лагарда и желая снять с себя ответственность перед Коммуной за данное слово, отправляется в Версаль, чтобы сообщить свои опасения посреднику по переговорам.

«Я могу только предложить г-ну старшему викарию ознакомить г-на Флотта с действительным положением дела и решить с ним, затягивать ли ему свою поездку еще на сутки, если это безусловно необходимо, или же немедленно вернуться в Париж, ежели это будет признано более целесообразным.

Мазас, 19 апреля 1871 года.
Ж... архиепископ парижский».

Флотт сам не поехал в Версаль. Туда отправился молодой сын г-жи Антуан (сестры Бланки) с письмом архиепископа Дарбуа.

Когда Антуан явился к аббату Лагарду (эти подробности он сам сообщил мне, как только вернулся из Версаля), ему ответили, что главный викарий находится на заседании и его нельзя потревожить.

Антуан попросил передать Лагарду записку архиепископа. Через несколько минут слуга принес ему клочок бумаги, на котором старший викарий написал карандашом следующий краткий, но ясный ответ.

«Г-н Тьер все еще удерживает меня здесь, и мне приходится ждать его распоряжений, как я уже несколько раз писал его святейшеству. Как только у меня будут новости, я немедленно напишу. Лагард».

С этого дня Лагард уже не подавал признаков жизни. Когда он вернулся в Париж, живой и здоровый, его владыка архиепископ был расстрелян в тюрьме Ла-Рокетт.

Мы молча усаживаемся, убитые горем. Я передаю Флотту письма архиепископа и записку Лагарда.

— Я тебе их верну,—говорит мне старый товарищ,—когда мы увидимся вновь...

Я никогда больше не видел Флотта...

С этого утра 24 мая 1871 года мне не пришлось больше ни разу войти в маленькую деревянную дверь пивной на улице Сен-Северен — к Глазеру, как мы ее называли [1].

---

[1] Глазер умер в январе 1871 года от эпидемии ветряной оспы, которая свирепствовала в эти и без того тяжелые дни. Мы проводили его на кладбище Монпарнасс. Когда один из нас произносил у края могилы прощальное слово достойному товарищу (Глазер был капитаном маршевого батальона национальной гвардии), в двух шагах от нас среди могил разорвался снаряд.

ВСТУПЛЕНИЕ ПРУССАКОВ [1].

1 МАРТА 1871 ГОДА.

Бульвар Сен-Мишель. За полночь. Набат гудит в улице Сен-Северен. Торопливо шагают молчаливые группы людей, направляясь к набережным. Утром, на рассвете, может быть даже ночью, пруссаки войдут в город.

Мне попадаются навстречу несколько гвардейцев из моего 248-го батальона. Идем туда, куда идут другие. На крепостной вал. На всем пути туда встречаем вооруженные роты. На площади Согласия статуи городов Франции обтянуты черным. Длинный креп окутывает их, словно мрачная монашеская одежда [2]. У Триумфальной Арки улицы полны народа. Солдаты, национальные гвардейцы, перепуганные зеваки. Безмолвие этой толпы потрясает. Только стук ружей, которые ставят в козлы, то там, то здесь нарушает мертвую тишину.

На бастионах. Где-то бьет два часа. Там несколько перемешавшихся между собою батальонов. Гвардейцы укрылись, чтобы переночевать, в казематы. Повсюду одни и те же вопросы. В котором часу войдут они? И мы прислушиваемся. Навостряем уши.

Отдаленные звуки рожков... Уж не сигнал ли это?.. Опять рожки, теперь ближе... Сомнения нет. Это они!

И нам кажется, что мы слышим уже приближение скачущих лошадей... Ворота откроются... Они ворвутся... Бежим... Бежим скорей...

Мы возвращаемся назад по длинному авеню. Толпа у Арки Звезды рассеялась. Только сотня гвардейцев, окруженных мальчишками. Мы останавливаемся.

---

[1] В этот день, 1 марта, восстание еще не овладело Парижем. Но с самой капитуляции это уже вполне мятежный город.

[2] Статуи были обтянуты черным еще в апреле. «Пер Дюшен» (в № 36 от 1 флореаля—20 апреля) высказался за то, чтобы эти покровы были сняты: «Теперь черный вуаль уже не к лицу славным городам Франции. Надо сунуть им в руку красный флаг».

— Они идут... Они совсем близко...

Мы ошибались. Победители вошли только в восемь часов. Первыми появились гусары, в качестве разведчиков. В три часа вся масса неприятельских войск вступила в город после смотра, произведенного им на Лонгшанском поле.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛДАТИК!

Мы возвращаемся в Латинский квартал. В полдень завтрак в нашей пивной на улице Сен-Северен. Там все. Валлэс, Лонге, Рожар, Жилль, Пилотель и Фремин в артиллерийской форме. Мэтр в форме венсенских стрелков. Эмбер, Люлье, Риго. И многие, многие другие. Я описываю наше ночное путешествие. Входит старик Белэ, которому семьдесят шесть лет. Он вывесил черный флаг у под'езда своего дома на улице Шерш-Миди. Он рассказывает, что на всех улицах, по которым он проходил, лавки закрыты. Поруганный город облекся в траур. Газеты не вышли.

Я выхожу с одним приятелем из газеты Пиа, Анри Белланже. Идем машинально вдоль набережных. Вторично проходим путь, который я проделал ночью. Начиная от моста Сольферино, перед нами вырисовывается смутная масса сверкающих вдоль берега реки огоньков, которая тянется к мосту Согласия.

По мере того, как мы приближаемся, огоньки обрисовываются и принимают форму прусских касок. Темные пятна, это черные гусеницы баварских мундиров. Скоро мы подходим так близко, что слышим ржание лошадей.

Итти ли дальше? Краска бросается нам в лицо. Не предательство ли этот визит к победителям? Не сожмется ли наше сердце при воспоминании о тех из наших товарищей, которые остались там, по ту сторону укреплений, в полях, покрытых окровавленным снегом...

Решено. Мы пойдем.

Вот мы и на правом берегу, против баррикады, возведенной на углу террасы Тюльери и набережной. Узкая аллея образует проход. С нашей стороны, со стороны французской — в этот проклятый день в Париже есть немецкая земля — стоит маленький пехотинец, печальный, изнуренный.

— Здравствуй, солдатик!

Пехотинец не отвечает. Концом своего ружья он указывает на торчащее над грудой камней острие каски того, чужого, который тоже стоит на часах, в двух шагах, с другой стороны — со стороны прусской.

Солдат быстро окидывает нас взглядом. Строго запрещено иметь при себе хоть какой-нибудь признак военной формы.

— Это придется снять, — говорит он. По привычке я оставил на себе портупею, щегольскую офицерскую портупею, и ее бляха с галльским петухом блестит из-под моего жилета.

Я снимаю портупею и бросаю ее на мостовую.

Мы проходим.

Прусский солдат, здоровенный, рыжебородый малый, толстый, пухлый, даже не моргнул глазом.

Какой здоровый вид у него! Какой контраст между этим великаном, который, конечно, ни в чем не нуждался во время похода,— бывшего для него, однако, столь же суровым и опасным, как и для наших, — раскормленный сосисками и пивом, налитый здоровьем и гордостью, — и нашим бедным маленьким пехотинцем, хилым, истощенным, с подтянутым животом, свидетельствующим о бессонных ночах и голодных днях... Один вид этих двух солдат делает достаточно понятной причину нашего поражения.

ПАРИЖ! ПАРИЖ!

Площадь Согласия. Блестящие и нарядные прусские солдаты. Все, как тот часовой. Начищенные, вылощенные, пожалуй, специально откормленные для торжественного вступления. Красные гусары, белые кирасиры, синие баварцы, остроконечные каски, каски с шариком, каски с орлом. Сабли, с лязгом волочащиеся по панели. Вот группа солдат человек в пятьдесят марширует под командой офицера. Их головные уборы украшены зеленью, сорванной с деревьев Елисейских Полей. Мы провожаем их взглядом. Решетка сада отворяется. Как мы узнали потом, они шли посетить галлереи Лувра и Тюльерийский дворец, которые (и это заслуженная кара) не долго будут хранить следы шагов победителей.

У фонтана гарцует офицер в плоской фуражке, указывая пальцем на обернутые крепом головы статуй и на коней Марли, которых с начала бомбардировки заперли в ящики. Офицер наклоняется в седле и обменивается замечаниями с пятью-шестью молодыми людьми в беретах и длинных форменных сюртуках. Концом хлыста он указывает на церковь Мадлен, и потом, сделав полоборота, на Палэ-Бурбон.

Группа приближается к набережной. Перед нею расстилается великолепная панорама Парижа, раскинувшегося вдали с величественной линией реки, мостами, храмами, шпилями, колокольнями башнями. Нотр-Дам. Святая Капелла. Дворец Юстиции. Башня Сен-

Жак. Все это там, за заповедной чертой. Баррикада не дает пройти дальше.

— Ах! Париж! Париж! — восклицают солдаты со своим германским акцентом. Париж!

И протягивают руки к горизонту, словно желая схватить и унести с собой все эти чудеса и сокровища, промелькнувшие перед ними, как во сне...

Стоило брать Париж, столько страдать, тысячу раз рисковать жизнью, увенчать себя лаврами победителей, чтобы торчать здесь, на этом клочке земли, как стаду пленников!

ПРУССКАЯ СВИНЬЯ!

Аллея королевы. Кавалерия. Артиллерия. Пушки вытягивают свою стальную шею. Это те самые пушки, что победили нас. Ходит слух, что в то время, когда наша артиллерия выбивалась из сил, прусские солдаты преспокойно хлебали суп под прикрытием своих батарей: наши снаряды не долетали до них... Лошади привязаны к деревьям, напоминая о казаках и нашествии 1814 года. Возле орудий солдаты разговаривают, смеются, курят свои длинные трубки. Вот один с добродушным лицом и большими голубыми глазами, у которого на пуговице куртки висит табачный кисет.

Подходит мальчишка. Он трогает кисет и подбрасывает его вверх щелчком. Пруссак остается невозмутим. Сорванец расхрабрился и дразнит великана:

— Эй ты, пруссак! Колбасник!

Солдат молчит.

— Прусская свинья!

Солдат понял. Он улыбается, отцепляет кисет и грозит им мальчишке, который пятится назад и убегает.

БЕЛЫЕ КИРАСИРЫ.

На авеню большое движение. Береты волнуются, солдаты принимают военную выправку. Что случилось? Раздаются крики: ура!

Вдали, на полпути от Триумфальной Арки, на темном фоне полков выделяется широкая белая полоса, окаймленная золотом. Полоса постепенно приближается. Это белые кирасиры.

Из-под растегнутой шинели, покрывающей совершенно круп лошади, блестят золоченые ремни кирасы. Сверкающая каска с величавым орлом, сдвинутая назад, скрывает затылок всадника. Уса-

тое лицо точно высечено из мрамора. Настоящее видение античных времен барельефная группа, оторвавшаяся от колонны Траяна.

Белые кирасиры проходят молчаливо и бесстрастно, издавая легкий металлический шум. Между ними движется экипаж, который они сопровождают. На подушках его сидят, завернувшись в свои широкие серые плащи, два офицера. Кто это?

ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ.

Мы поднимаемся до дворца Промышленности. Там собрался военный оркестр, настраивающий свои трубы, гобои, барабаны. Свистят флейты. Кругом толпятся солдаты. Несутся мягкие звуки вальса. И эти люди с длинными фарфоровыми трубками в зубах, с качающимся в такт музыки табачным кисетом, пускаются в пляс, словно на ярмарке.

— Уйдем, — говорит сопровождающий меня приятель,—достаточно уж насмотрелись мы на них...

Снова проходим мимо баррикады, что на набережной. Прусский солдат, вылощенный и цветущий, продолжает стоять на часах. Маленький пехотинец, усталый и больной, уселся на камне.

Моя портупея все еще валяется там. Я не решаюсь поднять ее...

КОЛОННА.

ВЕТЕРАНЫ АУСТЕРЛИЦА.

Вторник, 16 мая 1871 года. Мы с Вермешем позавтракали недалеко от редакции в винном погребке, куда иной раз заглядывали с Пиа.

— Идем на Вандомскую площадь,—говорю я Вермешу.—Протодаст, нам конечно местечко на балконе министерства.

Едва мы сделали несколько шагов по улице Монмартра, как встречаем Курбэ. Мы знаем его оба. Что за веселые вечера проводили мы вместе у Лавера, в швейцарской пивной и у Андлера! Швейцарская пивная на улице Медицинской Школы давно закрылась. Пивная Андлер на улице Отефейль тоже не существует больше. Исчез и старинный пансион Лавера на улице Пуатевен. На Курбэ долгополый синий сюртук. Он подходит к нам.

— Ты идешь на Вандомскую площадь? — спрашивает его Вермеш.

Курбэ не отвечает. Нам кажется, что какая-то тревога омрачает его лицо. Вдруг он вытаскивает из кармана пачку бумажек всевозможных размеров и цветов. Он увлекает нас в уединенный угол улицы и сует нам под нос одно из писем, которые держит в руке:

— Прочтите это... Прочтите только...

Не успел я взглянуть на письмо, протянутое мне Курбэ, как меня охватило безумное желание смеяться...

— Ты смеешься, мальчишка, — бросает мне Курбэ очень серьезно.

Если я не хохочу во все горло, то только потому, что до крови кусаю себе губы. Рядом с собой я вижу нос Вермеша, который краснеет от удовольствия. Наконец, я не выдержал и мы покатываемся оба от чистого сердца.

Письмо, которое показал нам Курбэ, — одно из тех идиотских посланий, которые приходится получать во дни борьбы, подобно

той, которую мы переживаем. Корреспондент его, дурак или просто шутник, грозит Курбэ громами и молниями, если колонна падет.

— В тот день, когда падет «мой старый император», — пишет он, — нить твоей жизни прервется, презренный вандал... и т. д.

Курбэ показывает нам целую пачку таких писем. В одном из них грозят заколоть его ночью, когда он будет возвращаться домой один. В другом—его собираются столкнуть в Сену, когда он будет проходить по мосту,—он живет на левом берегу. Третье—предрекает ему смерть от яда за столом, и так далее. Следуют курьезные подписи: скрещенные кинжалы, «старые солдаты Наполеона I», «ветераны великой армии», и все они клянутся отомстить за победителя при Аустерлице на шкуре бедного великого художника. Мы, как умеем, успокаиваем его.

— Хочешь, мы дадим тебе конвой из «Детей Пер-Дюшена»?— говорим мы ему. — Это—храбрецы, которые не боятся самого чорта и не дадут спуску твоим старым гренадерам...

Курбэ начинает смеяться вместе с нами и, когда мы подходим к площади Оперы, уже окончательно успокаивается.

ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ.

Огромная толпа теснится на улице Мира. На безоблачно синем небе — майском небе — четко выступает стройное тело колонны. Красный флаг, укрепленный на баллюстраде, мягко ласкает лицо цезаря. Тройной канат тянется от вершины к лебедке, которая вот-вот сейчас начнет вращаться и потянет колонну.

Из толпы поднимается ропот. Не настал ли уже последний час колонны?

— Идем скорей, — говорит мне Вермеш, — кажется, она уже шатается.

Шаг за шагом подвигаемся мы сквозь людскую массу. Слушаем, что говорят наши соседи. Мало кто негодует. Преобладающая нотка — это боязнь последствий.

— Она продавит водосточные трубы на улице Мира!

— А вдруг она разрушит дома на площади!

По поводу самой колонны, Наполеона, Великой армии, Аустерлица — ни слова.

Лавки закрыты. Оконные стекла оклеены крест-на-крест длинными полосками бумаги, чтобы ослабить сотрясение.

Наконец, мы добрались до баррикады, замыкающей вход на площадь. Пред'являем наши карточки караулу [1]. Я внимательно

[1] Эта карточка воспроизведена в альбоме Армана Дайо «Война, вторжение и Коммуна», на стр. 283.

рассматриваю лебедку, укрепленную в земле с помощью якоря, и два блока, на которые намотаны веревки, укрепленные на верхушке.

Что касается самой колонны, то я еще вчера взбирался на ее пьедестал. Способ свержения ее, придуманный инженерами, весьма прост. Сделана выемка у основания ствола колонны со стороны улицы Мира, и она надпиливается с противоположной стороны. Выемка и надпиленная часть равняются приблизительно толщине каменного стержня (именно каменного, ибо бронза образует только тонкий верхний слой). Когда заработает лебедка, колонна должна будет податься у основания и упасть на подстилку из хвороста и навоза, приготовленную для нее внизу. Будучи только тридцати четырех метров высоты, она при падении не заденет даже начала улицы Мира.

Пройдя баррикаду, мы направляемся к министерству юстиции. Там нас ждут наши лучшие друзья. Почти каждое утро я отправляюсь туда завтракать. Стол накрывается в зале первого этажа, выходящей на площадь. На одной из стен висит картина художника Добиньи [1], изображающая поле, покрытое спелыми колосьями, которые косит красивая девушка, низкое небо и группу деревьев.

— В один прекрасный день я сверну этого Добиньи в трубку и унесу, — говорил я, смеясь, Прото, занимавшему обыкновенно председательское место.

ПОВЕРЖЕННЫЙ ЦЕЗАРЬ.

В большой зале министерства — толпа. Весь балкон уже занят. Через широко распахнутые окна видна площадь, кишащая мундирами. Солнце нестерпимо жжет мостовую. Молодой командир одного из бесчисленных добровольческих батальонов — *Мстителей, Защитников* или *Тюркосов* — стоит, прислонившись к решетке колонны. На нем красные штаны, красное кепи, красная блуза, на которой блестит тройной ряд золотых аксельбантов.

По углам площади блестят медные инструменты военных оркестров.

Под нами пять или шесть членов Коммуны. Мио со своей высокой фигурой и длинной белой бородой. Рядом маленький Ферре с лицом, заросшим черной бородой, горбатым носом и парой из-

[1] Эта картина Добиньи под названием «Жатва» в 1907 году была перенесена в Лувр.

синя-черных глаз, очень мягких и все же горящих странным пламенем из-за стекол пенснэ.

На цоколе колонны с полдюжины людей, оживленно разговаривающих и вопросительно рассматривающих надрез ствола.

— Еще несколько раз пройдитесь пилой, — командует один из них.

И пила снова начинает пилить камень. Поднимается легкое белое облачко.

— Прекрасно... теперь можете тянуть...

Половина четвертого.

Тянут.

— Крак...

Лебедка не выдержала. Веревки ослабевают.

Ропот разочарования. Говорят, что есть раненые...

Бегут за новыми канатами... Проходит целый час в ожидании.

В одном углу площади откатывают в сторону забытую под открытым небом астрономическую трубу, которая могла быть раздавлена, ни в чем не повинная [1].

Четверть шестого. Люди, стоящие на пьедестале, загоняют клинья в надрез у основания колонны. Колосс упирается. Чтобы успокоить нетерпение толпы, оркестры играют *Марсельезу*. Улица Кастильоне и улица Мира кишат людьми, глазеющими из-за баррикад.

Вдруг оркестры умолкают. На самом верху, на платформе, появляется офицер, который снимает красный флаг и заменяет его трехцветным.

Дрожь пробегает по моим жилам. Мне кажется, что колонна зашаталась.

Офицер исчез. Он спускается по лестнице. Что если бы она упала в ту минуту вместе с ним!

Нет, вот он.

У меня вырывается вздох облегчения. Что за нелепая мысль пришла мне в голову! Нет, она еще крепко стоит! Наверное, канат опять оборвется...

Вдруг у меня в глазах мелькнуло нечто, похожее на взмах крыльев гигантской птицы... Чудовищный зигзаг. Ах! Никогда мне не забыть эту колоссальную тень, которая прорезала мое поле зрения...

Уф!..

Облако пыли...

---

[1] С незапамятных времен «астроном» Вандомской площади установил свою трубу на тротуаре, окружающем решетку памятника. За скромное вознаграждение он об'яснял желающим картину небесного свода. Труба так и оставалась там во время осады и Коммуны.

Все кончено...

Колонна лежит на земле, разбитая на части, ее каменные внутренности разворочены. Обезглавленный цезарь лежит на спине. Увенчанная лаврами голова откатилась, точно тыква, к краю тротуара [1].

ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ.

Как-то раз в мае 1875 года я навестил Элизе Реклю [2], в Веве. Ученый оставил меня завтракать. Завтрак у него продолжался недолго. Полчаса делового разговора, крепкое рукопожатие и домой. *Всемирная География,* первые два тома которой уже вышли тогда, поглощала все внимание изгнанника.

На улице я столкнулся с моим другом Сломом, бывшим секретарем Риго.

— Пойдешь со мной к башне Пейльц?—спросил меня Слом, поздоровавшись.—Мы зайдем за Курбэ и вместе проведем день.

Бежим к башне Пейльц, куда удалился великий художник, которого преследует из Парижа дикая ненависть [3].

— Ау! разрушитель!—кричит ему Слом, едва мы вошли в сад, окружающий домик башни Пейльц. Курбэ не оборачивается. Он довольствуется тем, что приветствует нас своим открытым смехом.

---

[1] Крылатая Победа, покоившаяся в правой руке цезаря, исчезла, как исчезла уже одна такая фигура в 1814 году. Следы ее до сих пор не найдены. В витринах музея Корнвалле имеется маленький кусочек памятника, разрушенного 16 мая. Я знаю два других осколка, из которых один—голова солдата, сорванная с фриз. Другой, более крупный, представляет собой один из четырех болтов, с помощью которых был прикреплен к куполообразной вершине сброшенный Коммуной император.

Этот болт, бывший в 1895 году в руках моего друга Ж. Б. Д., был распилен им на три куска. Один из этих трех кусков служит мне в качестве пресс-папье.

[2] Реклю (Элизе), географ, автор «Всемирной Географии». Рядовой национальной гвардии, взятый в плен при Шатильоне (4 апреля). Военным судом приговорен к ссылке, которая была заменена ему изгнанием. Родился в 1830, умер в 1905 году. Его брат—Реклю (Эли), известный анархист, назначенный Коммуной директором Национальной Библиотеки (29 апреля). Родился в 1827, умер в 1904 году.

[3] Журналисты, художники и даже поэты занялись травлей великого художника. В брошюре в 12 страниц, озаглавленной: «Спасем Курбэ!» и изданной у Лемера, Эмиль Бержера восклицал:

Пускай живет! В экстазе перед собственным пупом,
Скрестив персты на животе, как поп из Кармы!
Пускай его откормят напоказ, и пусть от старости
Подохнет он, а по углам стоят жандармы!

И наивный великан, каким был Курбэ, с ума сходил при чтении этих благородных произведений!

Сквозь листву деревьев мы видим широкую спину, вокруг которой раздуваются складки рубашки, обнажающей воловью шею художника. Курбэ рисует, сидя с трубкой в зубах на табурете, лицом к озеру. Возле него два-три приятеля.

— Разрушитель! разрушитель! Далась им эта шутка! Ну, что ж! Да, я просил, чтобы ее разобрали. Вы слышите: ра-зо-бра-ли. А вовсе не кувырнули. Нет, только разобрали!

Здесь Курбэ намекал на петицию, с которой он обратился 14 сентября к Правительству Национальной Обороны, выражая пожелание,—я в точности привожу его слова,—чтобы правительство разрешило ему «разобрать колонну или же само озаботилось взять на себя инициативу этого дела, возложив выполнение его на администрацию артиллерийского музея, с передачей всего материала на Монетный двор» [1].

— Разобрать ее!—продолжал Курбэ.—Разве вы не считали тогда, так же, как и я, как все, что эта колонна просто гигантская бронзовая труба? Нам столько толковали о тысяче двух стах аустерлицких пушках! Да, как бы не так! Вся из бронзы! Видели вы ее, когда она лежала на земле? Толщины в ней не было даже с ноготь. До такой степени, что через нос гренадеров проглядывал камень. Тысяча двести пушек для дрянного металлического листа!

И после минутного молчания Курбэ рассказал нам любопытную историю, которую я, к сожалению, во-время не записал, чтобы иметь теперь точные подробности с цифрами и датами.

---

[1] В заседании 14 августа 1871 года (процесс членов Коммуны) Курбэ, отвечая на допрос председателя, следующим образом излагал свой проект разборки колонны и ее переноски в Дом Инвалидов:

Председатель. Повидимому, Вандомская колонна была вам особенно ненавистна. С 14 сентября [1870] вы не перестаете требовать ее разрушения.

Курбэ. По-моему, эта колонна была не на месте. Памятник не должен препятствовать движению. Эта колонна была не на месте... Я рассматривал вопрос только с точки зрения искусства. У меня не могло быть никакой ненависти к колонне: мой дядя был офицером во время первой Империи,—но я хотел перенести ее туда, где она была бы более уместна. Я хотел разобрать ее. Если бы вы обратили внимание на эту колонну с точки зрения искусства, вы были бы одного мнения со мной. Это было плохое подражание траяновой колонне. Совсем детская работа. Никакой перспективы. Ничего. Фигуры просто смешные...

Председатель. Значит, один только инстинкт художника восстанавливал вас против этой колонны?

Курбэ. Да. На Вандомской площади это была жалкая претензия на произведение искусства, над которым только смеялись иностранцы. В Доме Инвалидов было бы другое дело. Там это была бы военная реликвия, которая не должна быть непременно художественной.

— Их колонна,—говорил он, оживляясь.—Подумаешь! А ведь я хотел ее восстановить. И лучше, чем это сделали они, и дешевле. Я имел полное право на это, раз я один оплачивал ее. Ведь я же оплачивал ее моими картинами, которые они конфисковали и продают. Прежде, чем приехать сюда, когда мне впервые об'явили о наложении ареста на мое имущество, я отправился в министерство и предложил восстановить колонну по планам, которые мне дадут. Меня отослали к подрядчикам.

История становилась интересной.

— У меня была составлена смета,—продолжал художник.—Но когда они показали мне, во что обошлись им одни только леса, моя цифра была уже превзойдена. Я оставил их и вернулся в министерство. Теперь все давно кончено...

В ГОСПИТАЛЕ «БОЖИЙ ДОМ».

СИГАРЫ ПО ОДНОМУ СУ.

Улица Гренелль. На другой день после 18 марта. Большой двор министерства народного просвещения полон федератов. Ружья составлены в козлы. Присев на корточках в кружек, с полдюжины гвардейцев играют в карты в под'езде.

Любопытство заставляет меня перешагнуть через порог. Вхожу в первую попавшуюся дверь. Блуждаю по лабиринтам коридоров, пропитанных запахом старых книг и заваленных связками пожелтевших бумаг. Вдруг, что я вижу? За маленьким столиком сидит мой старый друг Паже-Люписен, один из завсегдатаев нашей пивной на улице Сен-Северен. Перед ним на столе его меховая шапочка, которую он носит круглый год—впрочем в руках, так как ходит всегда с непокрытой головой, как папаша Гайяр [1].

— Что ты здесь делаешь, Люписен?

— Как что! Я занял министерство, о котором никто не подумал. Я здесь один... И вот я министр.

И Люписен расхохотался при одной мысли, что в данную минуту он был полным хозяином университета.

Этот славный Паже не был, впрочем, случайным человеком в деле народного образования. После 2 декабря он издавал маленький педагогический листок «Народный Учитель», имевший большой успех в педагогическом мире; даже слишком большой успех, так как был запрещен, а его издатель подвергнут тюремному заключению и штрафу. Старый прудонист Паже выпустил также маленькую брошюру: «Права рабочего».

Он вращался среди нас, молодежи, хотя самому шел уже шестой десяток.

На своей избирательной карточке он смело поставил: *Леопольд Паже-Люписен, студент-медик.*

---

[1] Гайяр (Наполеон), сапожник. Известный оратор публичных собраний, Росселем был назначен начальником баррикад (1 мая).

Случалось, мы подшучивали над ним:

— Ну, так что, если студент... Июнь и декабрь прервали мое учение... Разве я в этом виноват?

На другой день я снова заглянул к Паже. Был вечер. До меня донесся женский голос, сопровождаемый аккомпаниментом рояля. Когда пристав доложил обо мне —некоторые из приставов остались на своих постах—Паже вышел.

— Однако, старина!—сказал я ему,—ты уже развращен властью. Пение, рояль...

Он ввел меня в довольно бедно освещенную залу. Оказывается, это пела сестра одного из нас, обладавшая прекрасным контральто. Паже представил меня какому-то важному чиновнику, который, слегка конфузясь, оказывал честь новому министру своим присутствием [1].

Буржуазный прием. Кружки пива. Разноцветные морсы, взятые из соседнего ресторана. Сигары по одному су. Паже не желал, чтобы народные деньги тратились на гаванны.

— Сигары по одному су. Других я здесь не потерплю,—повелительно приказал он.

За кратковременное правление Паже гаванские сигары были заменены маленькими бордосскими. Это единственная реформа, которую успел провести на улице Гренелль первый хозяин университета в революцию 1871 года [2].

«КОРИДОР БЛАНКИ».

Середина мая. В один прекрасный день в дверях пивной, на улице Круассан, где находится «коммерческая часть» нашего «Пер-Дюшена», появляется круглая, цветущая физиономия Паже. Трейер, поставленный Коммуной во главе Общественного Призрения, только что назначил его директором госпиталя «Божий Дом».

— Что это вы даже не зайдете повидать меня! Приходите завтра, буду ждать вас к завтраку... Забежал только на минутку.

— Ладно. До завтра.

На другой день, когда мы — Вермеш, Эмбер и я — подошли к зданию госпиталя, Паже ждал нас в под'езде, шагая взад и вперед.

---

[1] Этот важный чиновник был г. де-Салиньяк-де-Фенелон, который поступил очень благородно, дав на суде весьма благоприятные показания для нашего друга Альбера Калле, обосновавшегося на улице Гренелль одновременно с Паже, Пилотелем и Рулье 19 марта 1871 года.

[2] После выборов 26 марта Коммуна выделила из себя комиссию по просвещению. 20 апреля она избрала Вальяна делегатом по народному просвещению.

— Ах! если бы моя матушка меня видела сейчас, — растроганным голосом заявил он, увидев нас.—Как бы она была счастлива! Признаться, она все еще не может простить мне, что я только фельдшер и не получу свидетельства на звание доктора. Зато теперь...

Это была одна из причуд нашего старого друга, который, несмотря на свои пятьдесят лет, все еще собирался сдавать экзамен на доктора, чтобы порадовать свою мать.

Мы проходим в под'езд госпиталя. Паже идет впереди. С достоинством поднимается он по лестнице, размахивая своей неизменной шапочкой. В тот момент, когда мы должны были свернуть в длинный коридор, Паже вдруг обернулся к нам и с торжествующим видом произнес:

— Ну-с, молодые люди, вы ничего не замечаете?

Ничего, кроме длинных серых халатов и бумажных колпаков больных, которые, услышав голоса, показываются в дверях.

— Чудаки! Да читайте же!

Крупными красными буквами на белом фоне стены выделяется надпись: *Коридор Бланки.*

— И так повсюду. Вот... читайте постановление Трейяра.

Белая афиша наклеена на видном месте:

Главный директор управления Общественного Призрения—

Принимая во внимание, что названия палат в больницах и убежищах говорят уму лишь о пережитках фанатизма и что необходимо увековечить память тех, кто жил и умер за народ, за отечество, отстаивая благородные идеи и высокие цели социализма и братства—

Постановляет:

Учредить комиссию для переименования всех палат, зал и коридоров в заведениях, подведомственных управлению Общественного Призрения.

Директор управления Общественного Призрения *Трейяр*[1].

Паже не терял даром время.

— Святые! Да я их замазал. В два счета... Теперь уж не вернутся.

Мы проходим с Паже,—мне кажется, что на радостях он заставил нас обойти весь дом—бесчисленные коридоры, в которых прежние надписи—коридор такого-то святого или святой—исчезли, уступив место названиям, более соответстующим декрету директора Общественного Призрения Коммуны.

Весь революционный календарь был пущен в ход. Паже, заядлый прудонист, не забыл и своего учителя.

---

[1] Это не полный текст постановления Трейяра. Пропущен состав комиссии (граждане Боннар, Камилл Трейяр и Мюра) и дата 8 мая. *(Прим. ред.).*

— Хорошо хоть, что ты не поместил рядышком Барбеса и Бланки[1]...

Паже бросил на меня взгляд, которому постарался придать строгость. И вдруг:

— Это еще не все... Сейчас вы увидите моих сестер.

МЕЧТА ПАЖЕ.

Паже велел приготовить для нас в нише окна трапезной маленький завтрак. Старый спартанец, известный суровостью своей жизни, он занимает в госпитале только одну комнатку, такую же, как та, которую он снимал в течение двух лет в скромном меблированном доме «Швеция» на набережной Сен-Мишель. Никакого особого стола не положено гражданину директору. Никакой другой прислуги, кроме той, что обслуживает больных. На столе в тарелке пачка дешевых сигар, тех самых, которые украшали вазы министерства народного просвещения в тот период, когда им управлял Паже, непосредственно после 18 марта.

Паже делится с нами своими административными планами.

— Надо освободить как можно скорей этот сарай, в котором мы находимся, и перебраться напротив. Вообще, госпиталь должен был бы находиться вне Парижа, среди деревьев и цветов.

— Твой сарай, да у тебя его скоро, пожалуй, разнесут версальцы.

Паже задумывается.

— Однако, там дела идут хорошо! — говорит он, указывая на горизонт.

— О, прекрасно! Прекрасно!—соглашаюсь я, лишь бы только успокоить его.

Паже, на минуту усумнившийся в прочности своего положения, кажется успокоенным. Завтрак окончен.

Теперь пойдемте посмотреть моих добрых сестер.

— Твоих сестер?

— Ну, да! Моих гражданок, если хотите.

[1] Барбес (Арман) (1809—1870), известный французский революционер, активный участник революции 1848 года, которого Прудон прозвал «рыцарем демократии». Вильом намекает здесь на известную вражду между ним и Бланки. *(Прим. ред.).*

Мы вошли в соседнюю палату. Одетые в черное с красным сиделки хлопотали вокруг больных. В изголовьях кроватей цветы. Цветы и на подставке у стены.

— А где же твои сестры?

— Мои сестры? Да вот они, — ответил Паже, представляя нам одетых в черное монахинь.—Эти славные девушки, вчерашние августинки, не захотели покинуть своих больных. Они согласились несколько изменить свой костюм. И вот они одеты теперь сестрами Коммуны.

Лицо Паже сияет от удовольствия. Одного он нам не говорит, этот ярый революционер и в то же время добрейшей души человек,—того, что он преклоняется перед этими достойными девушками, преданность и самопожертвование которых безграничны.

Если Паже любит своих сестер, то и августинки отвечают ему тем же. Когда армия вступила в Париж, они предложили ему у себя в доме убежище. Благодаря этому старый Паже был спасен от самосуда.

— А так как они сделали мне уступочку в вопросе о костюме,—продолжает Паже,—то я не хотел остаться перед ними в долгу. Подойдите. Отодвиньте этот букет сирени у изголовья кровати. Ну, что вы видите за ним? Распятие, не так ли? Те, кто не желают его видеть, видят только сирень. Вот и все.

Мы разинули рты от изумления.

Каков Паже! Ай да хитрец!

Но нас ждал новый сюрприз.

— Взгляните на эти большие снопы цветов...—продолжает Паже...—Сюда.

И он сам отодвигает на мраморной подставке,—мы думали, что это подставка—вазы, полные полевых цветов.

— Ну, да!.. это алтарь!.. Кой чорт! Разве для того, чтобы быть с Коммуной, надо быть каким-то чудовищем!.. Не так ли, сестрица?—прибавляет Паже, вопросительно взглядывая на одну из сопровождавших нас монахинь.

Сестра добродушно улыбается вместе с нами невинной хитрости гражданина директора.

— А все-таки,—говорит одна из них,—господин директор не все нам разрешает. Сегодня утром он нам отказал...

— Да! да!—подтвердил Паже.—Но только не это! Вы не поверите, чего они требовали для своей Богородицы?

— Ну, ну, старина,—сказал я в свою очередь,—раз ты так хорошо начал, то можешь продолжать в том же духе. Я поддер-

живаю ходатайство твоих сестриц, которые так хорошо ухаживают за нашими ранеными.

Но тут в Паже проснулся чиновник:

— А что если Трейяр нагрянет сюда?

— Мой добрый Паже, Трейяр сделает то же, что и мы. Он только посмеется над этим...

Пора уходить. Надо готовить завтрашний номер «Пер-Дюшена». Чтобы добраться до выхода, мы снова проходим коридоры, украшенные именами революционеров, любезных сердцу Паже.

— Смотри, — говорим мы, расставаясь с ним, — не вздумай ради своих сестриц восстановить имена святых. Ты на это способен, старый предатель...

РЫБОЛОВ.

Утро в среду майской недели. На Меновом мосту мне пересекает дорогу телега, нагруженная бочками, которую везут четыре сильных першерона. Верхом на одной из передних лошадей мой друг Н.

— Куда ты везешь это?

Н., не говоря ни слова, указывает мне пальцем на префектуру полиции, которая скоро запылает. Пламя уже показалось над Ратушей [1].

Меня беспокоит мысль о Паже, славном Паже... Что-то он делает сейчас? Старается ли найти себе убежище? Пойдем навестим Паже.

Окольными путями направляюсь к госпиталю. Вхожу.

Никто не знает, где Паже. Его нет в его кабинете. Я расспрашиваю сестру, которая проходит мимо с озабоченным видом. Она ничего не знает.

Я уже собирался вернуться назад, когда из палаты вышел санитар.

— Вот, — говорит мне сестра, — этот наверное знает, где господин Паже.

— Где господин директор?

— Господин Паже? Я только что видел, как он спускался со своей удочкой...

С удочкой? Какой удочкой? Я ничего не понимаю. Санитар и монахиня об'ясняют мне, что Паже каждый день, как добрый

[1] Первые огненные языки появились в десять часов утра над каланчей Ратуши.

буржуа, отправляется с шапочкой в одной руке и удочкой в другой ловить рыбу в Сене, не выходя из госпиталя.

— Проводите меня к нему, не теряя ни минуты, — говорю я санитару.

Мы проходим коридорами. В последний раз вижу я революционные надписи, выведенные крупными красными буквами. Прощай, коридор Бланки! Прощай, коридор Барбеса! Коридор Прудона [1], коридор Ламеннэ [2] — я, конечно, не ручаюсь за точность приводимых мною имен, — я вас больше не увижу! Завтра или через неделю вражеская кисть уничтожит труды моего друга Паже...

— Осторожнее, мы спускаемся,—говорит мне санитар.

Свежий воздух ударяет мне в лицо. Мы попадаем в полумрак. Скользкие, сырые ступени, мокрые, обросшие мхом стены. Но, ведь он ведет меня в настоящее подземелье!—подумал я.—Уж не заключен ли Паже в какой-нибудь каменный мешок!

Вдруг я увидел перед собою могучую спину Паже под сводом залитой светом полукруглой площадки. Он сидел неподвижно на корточках, держа в руке удочку, о которой только что говорил мне санитар. В ногах у него стояла жестянка, а рядом на стене висела легендарная шапочка. У ног директора—река. На расстоянии метра от него, в мутной воде с плавающими на поверхности тряпками, выброшенными из окон госпиталя, качается поплавок.

— Клюет, гражданин директор?—кричит санитар.

— Какое там!—отвечает Паже, видимо разочарованный и не в духе.

Он так углубился в свою ловлю, что даже не оборачивается. Мне приходится хлопнуть его по плечу:

— Послушай! Чем это ты занялся здесь?

Паже весь отдается своей любимой страсти, которая нераздельна у него с великим спокойствием души.

— Однако, — говорю я ему с некоторым нетерпением, — ты не чувствуешь, значит, запаха дыма из Ратуши? Я только что

---

[1] Прудон (Пьер-Жозеф) (1809—1865), французский философ, экономист, публицист. Основатель особого направления во французском утопическом социализме («прудонизм»), пользовавшегося огромным влиянием среди ремесленного полупролетариата Франции и имевшего немало сторонников в среде французских секций Первого Интернационала, где с прудонизмом вел упорную борьбу Маркс. В Коммуне насчитывалось несколько десятков прудонистов, из коих некоторые играли очень видную роль. *(Прим. ред.).*

[2] Ламеннэ (1782—1854), французский философ и утопический социалист, безуспешно пытавшийся примирить социализм и христианство («христианский социализм»). *(Прим. ред.).*

встретил на мосту приятеля Н. Он правил телегой, нагруженной бочками с керосином... Теперь все наверное уже в огне, старина, и потому советую тебе бросить свои удочки и бежать без оглядки, если не хочешь быть расстрелянным здесь через какой-нибудь час и послужить приманкой для твоих рыб.

— Расстрелянным—я!..

— А почему бы и нет? — сказал я смеясь. — Наивный же ты человек, хоть и старый волк...

Наконец Паже вытаскивает свою удочку.

— Поставь ее в угловой шкаф, — говорит он санитару. — В другом мои крючки ржавеют...

Я увел его на темную лестницу. Мы поднялись обратно. Через пять минут я возвращался по Меновому мосту. В два часа дня Пантеон был атакован.

ПОДЖИГАТЕЛЬ.

Когда несколько месяцев спустя, пробираясь к границе, я остановился в Шампаньоле, родине Паже, я осведомился о нем в корчме, в которой ночевал.

— Господин Паже, — ответила мне молодая крестьянка в богато-расшитом корсаже, — а ведь он, сударь, был на-днях арестован жандармами. Его отправили в Лон-де-Сонье.

Я притворился удивленным. Что мог сделать Паже?

— Ах! сударь. Да ведь его арестовали в связи с парижскими событиями... Славный был человек... Вы его знавали?

Служанка пытливо смотрела мне в глаза. Уж не помню сейчас, что я ей тогда ответил. Кажется, что встречал его где-то с одним приятелем. Я расплатился и вышел, удирая не от этой славной девушки, которую не мог подозревать, но от праздного любопытства какого-нибудь жандарма или комиссара.

Ареста Паже потребовал в следственной комиссии маркиз де-Кенсонà.

Паже обвинялся в участии в покушении на поджог Собора Парижской Богоматери.

— Управление госпиталем «Божий Дом»,—говорил Кенсонà—было возложено Коммуной на некоего Паже-Люписена. Там было четыре фармацевта. Эти молодые люди просили его выдать им пожарные насосы госпиталя, чтобы придти с ними на помощь Ратуше. Им было отказано в насосах. Не знаю, арестован ли этот Паже-Люписен. Может быть, это известно генералу?

— Я ничего об этом не знаю,—отвечал генерал Аппер,—в Париже ведется следствие [1].

---

[1] См. «Парламентское следствие о восстании 18 марта», издание в одном томе, стр. 286. Г-н де-Кенсона во время борьбы против Коммуны был ад'ютантом у генерала де-Сиссэ.

После своего ареста Паже был 6 сентября 1871 года предан суду исправительной полиции по обвинению в узурпации общественных должностей. Тщетно пытались доказать его участие в покушении на поджог Нотр-Дам: было слишком очевидно, что он здесь не при чем. Паже-поджигатель! Поджигатель Собора Парижской Богоматери! Он—украшавший сиренью распятие августинских монахинь! Он отделался одним годом тюрьмы.

Отбыв заключение, Паже, занимавший во время Коммуны, кроме безобидной должности директора госпиталя, ряд других должностей, решил во избежание дальнейших преследований, перебраться в Швейцарию—в Саксон (кантон Валэ). 27 сентября 1874 года он писал мне оттуда:

... Итак, я в Швейцарии, куда приехал, чтобы поправиться после воспаления легких. Я останусь здесь до следующей Революции, хотя я и отбыл уже пятнадцать месяцев тюрьмы и отсидел назначенный мне по приговору срок заключения.

Я был осужден только за узурпацию власти в качестве директора «Божьего Дома». Боюсь, как бы не притянули бы меня теперь за присвоение власти в министерстве народного просвещения и в министерстве общественных работ. Я уже не так здоров, чтобы проводить месяцы и годы в тюрьме.

И добрейший Паже добавлял несколько строк, выдававших его вечное беспокойство пятидесятилетнего студента:

Здесь я известен только под именем «Доктора». Я уже жил в этих местах в 1865 и 66 годах, во время моего второго изгнания. Поэтому адресуй: «Доктору Паже». Можешь прибавить, если хочешь, Люписену.

Третьему изгнанию Паже, увы, не суждена была продолжительность. Как-то, сидя в кафе в Цюрихе, я развернул газету и узнал о внезапной смерти «симпатичного изгнанника, доктора Паже».

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ.

16 мая 1871 года. Министерство юстиции. Пять часов вечера. Колонна лежит на земле. Я не уйду, не поздоровавшись с другом Бессоном. С того дня, как он назначен был на высокий пост швейцара, Бессон уже не покидает широкого и величественного кресла, украшающего его ложу на улице Камбон. Это кресло для него трон. Я уверен, что он не променял бы его на кресло самого делегата.

В былое время Бессон заходил иногда со мной в пивную Сен-Северен. Я встретил его впервые в оружейных мастерских на набережной д'Орсе при следующих обстоятельствах. Так как дело с обмундировкой моего 248-го батальона затягивалось, то я, наконец, стал с пренебрежением, почти со стыдом, посматривать на свои блестящие нашивки поручика. В это время встречаю своего старого учителя и друга Жозефа Мутье, преподававшего мне физику в училище Барбе на улице Фельянтинцев (это было, кажется, в 1863 году).

— Сходите-ка на набережную д'Орсе, — посоветовал мне Мутье. — Там теперь делают патроны, а не табак. Обратитесь к X. от моего имени.

Вот каким образом я стал делать патроны, и так продолжалось вплоть до 22 января. Естественно, что на другой день после восстания я счел более благоразумным для себя не показываться. Не обещал ли я в самом деле друзьям, в случае успеха восстания, сдать им все мастерския, а вместе с ними и патроны.

Бессон тоже делал патроны. Вернее, мы оба были инструкторами в мастерской, где пять-шесть сотен хорошеньких девушек заклеивали капсюли с гремучим составом. Иногда капсюль разрывалась, и все работающие разбегались, чтобы затем снова собраться вокруг стола, подобно хорошеньким бабочкам.

Мне кажется, что именно мои пагубные советы свернули Бессона с правильного пути и втянули в движение. Он был из 11-го округа, известного своей преданностью Коммуне. Когда наступило 18 марта, Бессон со своим батальоном двинулся на ратушу.

Я был не особенно удивлен, когда через несколько дней после выборов, он пришел к нам в редакцию «Пер-Дюшена» на улицу Круассан.

— Гражданин Вильом, не дашь ли ты мне записочку к Прото? Я хочу поступить в министерство юстиции.

— Зачем это! Пойдем лучше прямо к нему. Я сегодня завтракаю в министерстве.

В полдень мы были в министерстве. Когда садились за стол, Бессон занял место рядом со мной. Парень приходил в восторг при мысли, что ест вилкой с королевским гербом и сидит в тех же креслах, в каких, может быть, покоились телеса принцесс.

— Вот это дело, — говорил он мне, хорохорясь. — Наконец-то мы здесь, как у себя дома.

На другой день, когда я снова пришел на Вандомскую площадь, я застал Бессона в самом радужном настроении. Не знаю, какие обязанности были на него возложены, но в зеленой шинели, победоносно заломив кепи, он оживленно разговаривал в группе федератов, охранявших большие ворота Вандомской площади.

Каждый раз, когда я бывал у Прото, я сталкивался с Бессоном.

Однажды, в первых числах мая, Бессон отвел меня в сторону, говоря, что имеет сообщить мне нечто важное.

— Мне нужна твоя протекция. Здесь имеется хорошая вакансия. Старый швейцар—реакционер, который сидел до сегодняшнего дня в под'езде улицы Камбон, уходит. И давно пора. Пусть дадут это место мне... Уж я-то не пропущу никого подозрительного... Словом, поговори об этом с делегатом... Жена устроилась бы со мной... Ах, как она была бы довольна! И потом, это, ведь, на всю жизнь... Место верное...

Я искоса взглянул на славного Бессона. Он был полон веры в то, что говорил. Он был твердо убежден, что новый порядок непоколебим.

Бедный малый, он не знал мудрых слов старой Летиции [1], которая среди сказочного великолепия императорского двора недоверчиво косилась на весь окружающий блеск и роскошь. «Только бы это удержалось», — бормотала со своим итальянским акцентом мать цезаря.

У Бессона не было и тени сомнения. Когда он восседал у под'езда министерства и наблюдал, как пилят колонну или проносятся блестящие офицеры главного штаба, расположенного напротив, можно было позавидовать его душевному спокойствию.

---

[1] Летиция Буонапарте (урожденная Рамолино)—мать Наполеона I. *(Прим. ред.).*

— Правительство, которое имеет дерзость сковырнуть Наполеона, — говорил он себе, — должно быть сильным правительством.

И Бессон, более доверчивый, чем мать цезаря, думал, что это никогда не кончится.

Его мечта осуществилась. Он был назначен.

Правда, радоваться и гордиться своим высоким положением ему пришлось недолго, но зато смаковал он эту неделю власти с истинным наслаждением.

Бессон непременно хотел, чтобы мы с Вермешем зашли как-нибудь вечером к нему пообедать. Жена его, славная, здоровая баба, приходившаяся мне до некоторой степени замлячкой, отлично справилась со своей задачей. Она приготовила нам превкусный обед. Бедняжка! Она перенесла туда всю свою кухонную посуду, блестевшую на стене, как настоящий арсенал.

За обедом Бессон сидел в своем служебном кресле, которое уже не покидал ни на минуту.

Когда мы вышли от него, гремела пушка. На площади царило большое движение. Слышался лязг оружия. Вскачь проносились вестовые. Что это? Уж не окончательное ли поражение? Но нет. Простая тревога, какая случается ежедневно.

Мы вернулись в свой квартал, постояв минутку на мосту Искусств и прислушиваясь к раскатам канонады.

Широкая полоса света вспыхивала на горизонте. Глубокое молчание ночи, река, таинственно катившая под нами свои волны, бой, напряженность которого чувствовалась вдали, — все это наполняло острой тревогой наши сердца.

— Да, старина, — сказал мне вдруг Вермеш с той шутливой иронией в голосе, которая так была ему свойственна, — люди, подобные Бессону, истинные счастливцы. Ручаюсь тебе, что он спит сейчас непробудным сном со своей женой.

— Если только не храпит в своем кресле, — ответил я, смеясь.

Министерство юстиции было занято версальскими войсками во вторник, а в среду, 24 мая, я встретил Бесона на бульваре Вольтера, на полпути к Шато-д'О, в форме и с ружьем в руке.

— Ну, а как твое кресло? — спросил я со смехом.

Кресло! Он его уж больше не увидит. Ему пришлось, удирая от версальцев, оставить им даже свою великолепную кухонную посуду. Прощайте, мирные вечера, спокойные обеды, почести и довольство хорошим местом на всю жизнь, с перспективой пенсии на старости лет.

— Что ты тут делаешь? — спросил я его.

— Я... я вернулся к своему прежнему батальону. Это дело не затянется. Пока что мы думаем подпалить вот эту штуку.

И он указал на церковь св. Амвросия.

Мы расстались.

Я никогда больше не слыхал о Бессоне.

Долгое время его близкие пытались узнать, что с ним сталось. Храбрость его была такова же, как и простота и преданность. Не был ли бедняга в числе тех, которых расстреляли в Ла-Рокетт, и про которых г-н де-Мэн сказал, что они «умерли с нахальством»[1]. Покоится ли он в каком-либо сквере или в одном из рвов, вырытых на кладбищах после бойни? Никто не встречал его ни в версальских тюрьмах, ни в Каледонии, ни в изгнании.

---

[1] См. «Парламентское следствие о восстании 18 марта», изд. в одном томе, стр. 295. Показание графа де-Мэн.

ПРОТО И АДВОКАТ РУСС.

Адвокат Русс, бывший старшина сословия, член Французской Академии, опубликовал рассказ о своем посещении делегации юстиции в апреле 1871 года. Рассказ этот был впервые напечатан в «Revue des Deux Mondes» [1] и с тех пор удостоился неоднократных перепечаток. Вот этот рассказ. Здесь мы приводим только чисто описательную его часть:

«В ту минуту, когда я отворил дверь в переднюю министерства юстиции, — рассказывает адвокат Русс, — оттуда вышли два человека, несших на палке ведро вина. Один из них раскланялся со мной, как со старым знакомым. Обменявшись несколькими словами, он сообщил мне, что служит в канцелярии уже семь лет, что поступил туда еще времена г-на Бароша [2]. Видя, что приемная комната полна народа, я попросил этого любезного человека передать мою карточку г-ну Прото. Через минуту этот импровизированный курьер с обнаженными руками и подоткнутым передником вводит меня в кабинет, в котором перебывали знаменитейшие представители нашей судебной магистратуры. В большой торжественной комнате, полной столь величественных воспоминаний, с полдюжины прегрязных суб'ектов, нечесанных, в куртках, в сомнительных пальто или в форменных блузах переворачивали бумаги, наваленные кучами на столах, стульях и на полу. Перед большим письменным столом работы Булля я увидел высокого молодого человека лет 24—25, худого, костлявого, безличного, без бороды, с одним намеком на бесцветные усики, в мягких сапогах, потертом жакете и кепи национального гвардейца с тройным галуном. Я находился перед хранителем печати Коммуны; он стоял, держа в руках какие-то бумаги. Увидев меня, он сильно побледнел

[1] См. «Revue des Deux Mondes» от 15 июня 1871 года, *«18 марта»* Э. де-Прессансэ и Э. Русс: «Письма к другу», II, 287 (1909).

[2] Барош (Пьер-Жюль), французский политический деятель, председатель Государственного Совета и министр юстиции в годы Второй Империи. *(Прим. ред.).*

и весьма вежливо пригласил меня сесть, в то время как его секретари продолжали просматривать корреспонденцию...»

Не так давно в Национальной библиотеке мы беседовали с Прото об этой картине, нарисованной адвокатом Руссом.

Нечесанные, грязные суб'екты были наши друзья, имена которых я уже называл[1]. Несколько сыновей богатых буржуа. Брикон, у отца которого был не один миллион, Дессескель, сын видного чиновника в Нейи, тоже довольно состоятельного. Первый умер в Бисетре, ассистентом доктора Бурневиля. Второй окончил свои дни адвокатом в Сайгоне. Да-Коста, брат заместителя прокурора Коммуны, Риго, отец которого был преподавателем математики в коллеже Сен-Барб. И ряд других, также показавшихся адвокату Руссу растрепанными и грязными.

— Кстати, — сказал мне Прото, смеясь, — вы лучше, чем кто-либо, осведомлены о посещении меня адвокатом Руссом. Ведь это вы ввели его ко мне...

Действительно, это я ввел Русса в кабинет Прото.

Помню, как прекрасным апрельским утром входил я в министерство с Вандомской площади. Меня остановила группа федератов, разговаривавших под аркой. Среди них находился Бессон, историю которого я только что рассказал. Я собирался продолжать свой путь, направляясь к кабинету делегата, когда к нашей группе подошел один неизвестный мне человек.

— Извините, господа, не можете ли вы мне сказать, к кому мне следует обратиться, чтобы пройти к господину министру юстиции?

— Вы хотите сказать, гражданин, к гражданину делегату?

— Да... сударь... к делегату.

Я рассматриваю подошедшего. Типичный чиновник, бритый подбородок, баки. Цилиндр. Серое пальто...

— В таком случае идемте со мной. Я как раз иду к нему.

Посетитель молча следует за мной.

У входа во двор мы встречаем людей караульной команды. Два федерата несут вино в ведрах. Другие—провиант.

Большая приемная, украшенная портретами, полна народа. Большинство в форменных блузах, которых мы не снимаем с начала осады. Мой спутник почти единственный в безупречном штатском костюме. Я в форме поручика федератов...

— Не потрудитесь ли вы, сударь, — говорит мне посетитель,— передать мою карточку?

— Конечно... Давайте... Впрочем, войдемте вместе...

[1] См. выше: *Завтрак у Прото.*

Мы входим... Прото там... Перед большим письменным столом, налево в глубине... Направляюсь к нему. Жду минуты две окончания разговора с дамой, которая жалуется, что ее нотариус не выдает ей вкладов под предлогом, что должен был переслать их в Версаль, в верное место... Дама уходит... Я жму руку Прото... Передаю ему карточку, которую он заставляет меня прочесть... До того я не полюбопытствовал даже взглянуть на нее. Только теперь я узнаю имя посетителя:

Г-н Русс, старшина адвокатского сословия.

Прото встает. На столе перед ним его кепи артиллериста. Прежде, чем сделаться командиром 217-го батальона, он был во время осады старшим квартирмейстером 2-й батареи вспомогательной артиллерии. В течение трех месяцев он стоял со своей батареей на возвышенности Ножан, где снаряды сыпались дождем между фортом Рони и фортом Фонтенэ, против плоскогорья Аврон. С тех пор он не расстается со своим мундиром. Блуза, в которой ему пришлось валяться в грязи и в снегу, здорово потрепана. Панталоны с широкой красной каймой, засунутые в низкие сапоги, дополняют его наряд.

Г-н Русс прав. «Жакет» не первой свежести. Он носит на себе следы сурового похода.

Я отошел на несколько шагов. Таким образом я только наполовину слышал разговор Прото с адвокатом Руссом. Дело шло об арестованном Шодэ. После нескольких минут спокойной беседы, когда г-н Русс стал выказывать признаки нетерпения, я ясно услышал, как Прото твердым голосом сказал своему гостю:

— Г-н старшина, вы стоите перед министром юстиции.

Собеседники расстались. Адвокат Русс покинул кабинет делегата...

ВОЛЬТЕР И РУССО.

Май. Я дома.

Два человека пришли повидать меня.

Два гвардейца моего 248-го батальона, которых я знаю с первых дней осады, когда мы ходили вместе на ученье в Люксембургский сад.

У одного в руках узел. Нечто довольно об'емистое, в красном клетчатом платке, концы которого перевязаны между собой.

Он затевает разговор в то время, как я, сидя за столом, пробегаю утренние газеты, принесенные мне моим вестовым.

Ах, этот вестовой!

В нижнем этаже моего дома, в лавке, — я с нежностью смотрю на эту лавку, как на старого друга былых времен, когда прохожу теперь по улице Дю-Соммерар мимо дома № 9,—расположен пост федератов. Мой вестовой принадлежит к этому посту. Как только он узнал, что «Пер-Дюшен» — одна треть «Пер-Дюшена» — проживает наверху, в пятом этаже, он тотчас же явился ко мне.

— Гражданин лейтенант, — сказал он мне, — у вас нет вестового. Я к вашим услугам. Буду исполнять все ваши поручения. Вы найдете меня здесь с утра.

Я согласился.

Мой вестовой ввел обоих гвардейцев и остался с ними.

Посетители рассказывают мне, что они прибыли из Нейи, где были все время под огнем. Им посчастливилось выйти оттуда целыми и невредимыми. Теперь они передохнут с недельку, а затем снова отправятся на фронт.

— А что привело вас сюда?

Смущение. Тот, что держит платок, связанный узлом, перекладывает его из одной руки в другую.

— Лейтенант...

— Говори, ну же...

Молчание. Оба бросают взгляд на вестового, как будто его присутствие стесняет их.

Я посылаю вестового купить мне табаку.

— Так вот, лейтенант, мы пришли поднести вам вот это...

И тот, который держит в руках узел, кладет его на стол передо мною. Он медленно развязывает концы платка, и перед моими удивленными глазами предстают две хорошенькие бронзовые статуэтки на колонках из красного и черного камня.

Вольтер и Жан-Жак...

Уж не собираются ли они продать мне эти статуэтки, зная, что «Пер-Дюшен» загребает не малые деньги.

— Гражданин, — говорит мне один из гвардейцев, — мы думали, мой товарищ и я, что это доставит вам удовольствие... Мы в этом ничего не понимаем. Когда мы увидели этих двух человечков там, на камине гостиной, мы сказали себе: «Вот это для нашего лейтенанта». Мы захватили с собой также салфетки и платки, которые весьма пригодились нашим гражданкам... Но статуэтки, что прикажете делать с ними?

— Значит, вы, как я вижу, унесли их из какой-нибудь виллы у передовых позиций?

— Ну да! Когда рискуешь своей шкурой, тем хуже для свиней, у которых такие роскошные дома... Небось, они радуются там у себя, в Версале, зная, что нам здесь дырявят шкуру... Чего доброго, они и сами в нас целятся...

Довод не терпел возражений. Спорить было бесполезно. Я сделал, однако, попытку возразить... чужая собственность...

Ах! Наплевать им было на чужую собственность... У них все сводилось к одному: разве мы не рискуем каждый день своей шкурой?

У меня не хватило духу настаивать... Между теми, кто стрелял в нас из-за угла, кто аплодировал в Версале подлым выходкам знатных дам с шелковыми зонтиками, и храбрыми стрелками, которые были передо мною, — мой выбор был сделан давно.

И, все-таки, я не мог взять себе этих статуэток.

— Значит, лейтенант, вы их не хотите? Это не хорошо. А мы то думали доставить вам удовольствие! Жаль!

Они снова завязали обоих философов в красный клетчатый платок и направились к двери опечаленные.

В дверях один из них остановился.

— А что если бы нам их продать? Не потащим же мы их с собой на передовые позиции, когда нам придется вернуться туда... Чорт возьми! Ведь мы же их честно заработали.

На другой день на бульваре я встретил одного из моих молодцов.

— Ну что? Где ваши два человечка?

— Спустили!... Зато и кутнули же мы вечером! Вчетвером: жена товарища, моя и нас двое. Всю ночь веселились... Но это ерунда, лейтенант, почему все-таки вы их не захотели?

В эту минуту я готов был упрекнуть себя за то, что не принял в подарок маленьких бюстов.

И мне стало совестно, что я мог хоть на минуту огорчить этих двух храбрецов.

В КЛУБЕ СЕВЕРЕН.

Май. Десять часов вечера. Я брожу по кварталу в поисках кого-нибудь или чего-нибудь, что помогло бы мне скоротать вечер. Вхожу в пивную на улице Сен-Северен. Никого. Пустота.

Ах, нет. Кто-то есть. На скамейке, в глубине зала, лежит генерал.

Генерал, это один из нашей компании, Жюль Дюкрок. Он получил это прозвище после Шампаньи. Дюкрок, Дюкро[1] — это похоже.

Студент-медик Дюкрок был помощником батальонного врача форта Ванв..

Он здесь со своим вестовым, большим детиной, ростом с тамбур-мажора. Сам Дюкрок, наоборот, очень маленький. Когда они идут рядом по бульвару Мишель, помощник врача, совсем миниатюрный в своем мундире, с саблей на боку и в кавалерийских ботфортах, и вестовой, которому его начальник приходится по пояс, громко разговаривая, иногда немного навеселе, этот великан и этот карлик вызывают невольную улыбку у прохожих.

Впрочем, он храбрый малый, этот генерал, и хороший товарищ: золотое сердце. Но... карапуз.

И, действительно, часто бывает навеселе.

— Что это ты, генерал, не на фронте?

— Я как раз туда возвращаюсь...

Дюкрок поднялся. Когда принесли кружки, он снова сел на свое место.

— А Ж.? Все еще там?

— Ж.? Да он даст скоро расстрелять себя, как мишень. Представь себе, ему доставляет удовольствие сидеть на бастионе, спу-

---

[1] Дюкро (Огюст), командующий 2-й армией, предназначенной оперировать на Марне. Его прокламация от 28 ноября 1870 года заканчивалась знаменитой фразой: «Что касается меня, то я клянусь перед лицом всей Франции, что я вернусь в Париж только мертвым или победителем». (Он вернулся в Париж «живым и побежденным»). *(Прим. ред.).*

стив ноги наружу и под градом картечи спокойно курить свою трубку... Он не обращает никакого внимания на огонь...

Вестовой без церемонии прерывает своего начальника:

— Ну, генерал, надо идти. Ты, ведь, знаешь, что экипаж, который должен отвезти нас туда, ждет уже целый час.

Генерал покоряется с видом глубокого сожаления. Он застегивает пряжку кушака, надевает кепи. Я смотрю им вслед, как они выходят вместе, великан и карлик.

Я остаюсь один. Но вот дверь кафе отворяется и новый посетитель с разочарованным видом оглядывает пустую залу. Он подходит ко мне. Это—Жилль.

Жилль садится. Молчит.

— Да что с тобой сегодня? — спрашиваю я. — Ты точно в воду опущенный?

— Со мной, старина, то, что я устал...

— Что?

— Да. Это — конец. Крышка. И что с нами будет? Ссылка? По меньшей мере изгнание?... Весело, нечего сказать. Эх, чортова Коммуна!.. Некто, приехавший из Версаля, приходил сейчас за мной к Лаверу. Он сказал мне, что через неделю — слышишь, через неделю — армия войдет в Париж... Да, нечего сказать..

— Да нет же, нет... Напротив. У меня тоже есть сведения. Сегодня утром я был в делегации юстиции, у Прото. Все идет хорошо... Уверяю тебя...

В действительности, я был в такой же тревоге, как и Жилль. Но почему не успокоить его?

— Правда?

— Ну да.

Лицо Жилля снова делается таким, каким я знавал его в счастливые минуты. Удивительно, как быстро переходит он от отчаяния к надежде.

— Не пойти ли нам в клуб? — вдруг предлагает он.

— В клуб?

— Да. В клуб Северен. Он только что открылся. Там должно быть занятно.

— Идем.

Мы выходим. Не торопясь, идем по тротуару улицы Сен-Северен, которая суживается после улицы Лагарп. За стеклами полуосвещенных пивных, то тут, то там, видны группы гвардейцев, сидящих за столами. Вот мы и перед входом в старую темную церковь. Две-три женщины поднимаются по ступенькам, толкают дверь и исчезают.

— Клянусь богом, — восклицает Жилль, — можно подумать, что они идут молиться.

И, действительно, не слышно ни одного восклицания. Ничего, что бы предвещало клуб, бурный и шумный. Ничего.

Мы входим.

Церковь погружена во мрак. Посреди центрального корабля выделяется светлое пятно. Кафедра и почетная скамья. Керосиновые лампы подвешены к колоннам. Боковые части, приделы, хоры, — все погружено во мрак. Углубляемся в темноту. Так нам будет удобнее. Никто нас не увидит, и мы не рискуем, что к нам обратятся, и — кто знает? Потребуют нашего участия в бюро.

Два стула. Вот мы и пристроились за одной из колонн.

На трибуне—кафедре для проповеди—оратор.

— Да, граждане, нам нужен греческий огонь... Я предлагаю организовать батальон греческого огня... Несколько струй, и версальцы спалены...

Человек исчезает. Между двумя речами у нас есть время оглядеться.

С левой стороны кафедры красное знамя. Напротив, на скамье старост, граждане, составляющие бюро, серьезные, как те, чье место они занимают. Председатель и четыре члена. На скамье медная труба. С какой стати здесь эта труба?

Председатель встает.

— Граждане, слово принадлежит гражданке... (имени я не запомнил).

Гражданка уже взошла и оперлась локтями на край кафедры.

— Граждане...

Но наше внимание отвлечено в сторону.

— Жаль, — говорит мне Жилль, — что у меня нет карандаша. Я бы зарисовал это...

В храме около сотни слушателей, не больше. С дюжину женщин. Мужчины в блузах федератов. Некоторые курят. Женщины в длинных кофтах. Вот, прислонившись к колонне, сидят два гвардейца. Перед ними пустой стул, а на нем бутылка вина, краюха хлеба и колбаса. Они едят и пьют, молча, без жестов, как бы из уважения к месту, которое все-таки для них свято и где может быть их крестили и венчали.

Гражданка продолжает ораторствовать. Аудитория слушает довольно вяло.

— И это называется клуб! — говорит мне Жилль. — Какая скука!.. И подумать только, что потом историки сделают из этого грандиозные картины... Ах! История...

И Жилль вернулся к своему сплину.

— Уйдем, это скучнее, чем всенощная.

Это было верно. Интерес был не здесь, а там, на укреплениях, где бухали пушки. И мысли мои, оторвавшиеся от речи оратора, от церковной кафедры и почетной скамьи, невольно перенеслись туда, на передовые позиции. Что если в эту самую минуту версальцы делают последнее усилие, как только что уверял меня Жилль?

Мы направились к выходу, как вдруг в тишине храма прозвучал сигнал.

Труба, со скамьи бюро?

Ну да! Председатель, стоя перед скамьей, держал в руке медный инструмент, который только что отвел ото рта. Труба, заменявшая звонок, возвещала о закрытии собрания.

На трибуне—с которой только что сошла гражданка—офицер-федерат потрясал красным знаменем.

— Граждане, *Марсельезу!*

Все сто ртов открываются, и торжественное пение гудит под сводами старой церкви...

— Ну, что же, — говорю я Жиллю, — мы не потеряли вечера.

Марсельеза замирает. Присутствующие расходятся. Скоро в храме остаются только две-три женщины, которые тушат керосиновые лампы одну за другой. Красное знамя забыли убрать. Одна из женщин снимает его, свертывает и берет подмышку, чтобы унести.

Мы видели, как они уходили, скользя по плитам.

Группы людей остановились у подножья паперти, спокойно беседуя между собо, точно мирные обыватели.

Старый колокол Сен-Северена пробил полночь.

Когда забрежжит свет, сторож подметет церковь, сгребет в кучу корки хлеба, кожуру от колбасы и окурки. А священник отслужит, как и во времена менее мрачные, свою обычную мессу...

КАФЕ Д'ОРСЭ.

Май. Все утро мы с Вермешем рылись в старых книгах на набережной.

Заходим в кафе д'Орсе, чтобы позавтракать.

Приходит группа друзей. Эд, Режер. Двое-трое других, в полной военной форме. Они, должно быть, из дворца Почетного Легиона, расположенного поблизости, где находится главная квартира Эда.

Режер в форме полковника федератов. Кепи с пятью серебряными галунами. Лакированные кавалерийские сапоги. Вокруг тела красный пояс. С левой стороны приколота маленькая, обшитая золотом, розетка членов Коммуны.

Его товарищи давно уселись, а он все говорит, жестикулируя. Его румяное лицо сияет. Рыжие усы, рыжие волосы, рыжие с проседью баки блестят.

Вдруг он, чуть не падая, опускается на стул, зацепившись ногами за саблю.

Он поднимается, отстегивает ее и повелительным тоном кричит через всю залу лакею:

— Человек, повесьте мою саблю на крюк, — и протягивает ему саблю, а затем кепи.

Вермеш толкает меня локтем и шепчет:

— Как он великолепен!

Вермеш, проводивший месяцы осады на передовых позициях, в качестве помощника полкового врача в санитарном отряде епископа Бауэра, редко заглядывал в нашу пивную на улице Сен-Северен и совсем не знал Режера.

Я рассказываю ему вполголоса—он за соседним столом,—что после 31 октября Режер, подвергавшийся преследованиям и относившийся к своей роли очень серьезно, дошел до того, что почти ежедневно менял свой костюм.

Однажды вечером к столу, за которым мы сидели, Валлэс, Рулье, Паже Люписен, Пилотель и другие, подходит гражданин, которого мы в первую минуту не узнали. Он был затянут в безукоризненный мундир барабанщика национальной гвардии, с крас-

ными и белыми кантами на рукавах и на кепи и в набеленном мелом кушаке. Настоящий барабанщик, чего еще? Не хватало только палочек и... барабана.

«Барабанщик» протягивает руку пораженному Эдуарду Рулье.

— Гражданин барабанщик,—произносит Рулье...

«Барабанщик» с таинственным видом прикладывает палец к губам.

Но Рулье уже разразился неистовым хохотом.

— Ну и шутник!

Барабанщик оказался Режером.

— Подождем, когда они будут уходить,—говорит мне на ухо Вермеш.—Я хочу посмотреть, с каким воинственным видом он будет получать «свою шпагу» из рук официанта.

Завтрак окончен. Лакей раздает кепи и сабли.

Режер, затянутый в струнку, ждет своей. Мы следим за каждым его движением. В интересах истины я должен сказать, что барабанщик 31 октября, возведенный избирателями пятого округа в звание члена Коммуны, прицепил свою саблю к портупее таким ловким движением руки, как будто он никогда ничего другого в жизни не делал.

КОНЦЕРТ В ТЮЛЬЕРИ.

Май. Десять часов вечера. Сад Тюльерийского дворца, известный под названием «Сада маленького принца». Мы с Вермешем прогуливаемся взад и вперед. Густая толпа теснится в аллеях, освещенных красными фонариками, подвешенными к деревьям. Красные плошки вокруг клумб и лужаек. Красные драпировки на эстраде музыкантов, исполняющих патриотические гимны вперемежку с увертюрами из известных опер.

Музыка смолкает.

Из окон дворца, залитых ярким светом, до нас доносятся шум голосов и звуки пения.

В зале Маршалов происходит концерт.

— Пойдем, послушаем,—говорит мне Вермеш.

Мы проходим портик центрального павильона, павильона башенных часов. Два федерата, облокотившись на ружья, охраняют вход в обширную залу, куда все проходят без малейшего затруднения... Во всю длину залы тянется длинный, длинный стол. Сотни стаканов, бутылок, кружек, наполненных светлым пивом, горы печенья, сухарей. Но в данную минуту никто не смеет подойти к столу. Буфет откроется в антракте.

В глубине залы лестница. Внизу два мраморных льва опираются лапой на шар. Прислонившись к ним, две миловидные маркитантки в шляпах с перьями и в жакетках с блестящими пуговицами предлагают проходящим булавки с головкой в виде фригийского колпака из красной эмали. Мы втыкаем значок в петлицу. Маркитантка протягивает нам сумочку.

— Пожертвуйте на раненых, граждане.

Мы поднимаемся по лестнице. Дверь в залу Маршалов открыта. Духота нестерпимая. Огромные люстры, свисающие с потолка, заливают залу ярким светом. У входа непроницаемая человеческая масса. Мы рискуем ежеминутно быть отброшенными к стене. Рядом с нами женщины, стиснутые со всех сторон мужчинами, еле переводят дух и обтирают вспотевшие лица.

Какая толпа! Разгоряченное дыхание всех этих уст, пыль, поднимаемая тысячами подошв, безостановочно движущихся по

паркету, заволакивают туманом атмосферу залы. Позолота карнизов, бархатные портьеры на дверях и маленьких верхних ложах, все, до портретов маршалов, окутано сероватой дымкой. Море голов волнуется, теснится со всех сторон. Рядом со мной офицер с четырьмя серебряными нашивками, в высоких сапогах, с саблей на боку, держа кепи в руках, галантно разговаривает с толстой дамой буржуазного вида, обмахивающейся платком.

Ропот нетерпения. Сверху, с галлереи, огибающей купол залы, человек с красным шарфом через плечо наклоняется к публике. Он машет руками, говорит. Ничего не слышно.

Поднимается занавес и воцаряется тишина. На сцене полная женщина. На ней белый пеплум со шлейфом; вокруг талии красный пояс.

Крики. Вопли. Топот. Неистовые рукоплескания.

Женщина начинает петь. Имя ее облетает все скамьи. Это Борда [1].

Она говорит, она поет песню, которая уже создала ей славу. Когда дело доходит до припева, восторг переходит в безумие. Вся зала подхватывает хором:

C'est la canaille,
Eh bien! J'en suis!
(Так это чернь?
Я к ней принадлежу!)

Толкаю Вермеша локтем:

— Ты молчишь...

— Я? Я рассматриваю маршалов...

Ах, да! Маршалы! Что-то они должны думать сейчас!

Борда делает знак.

Из-за кулис выходит федерат, держа в руках знамя, обернутое вокруг древка. Он протягивает его артистке, которая медленно развертывает его во всю его ширину и затем окутывает им свой стан... В то же время она продолжает петь...

Какое захватывающее зрелище! Все лица обращены к Борда. Все сердца бьются в унисон. Я никогда не забуду этой картины. На белом пеплуме артистки красное знамя с золотой бахромой подобно широкому кровавому пятну. Волосы ее рассыпались по обнаженным плечам, грудь открыта, сильные мускулистые руки, широко раскрытый искаженный рот, глаза, устремленные вверх,

---

[1] Розалия Борда приобрела известность исполнением песни «La Canaille» (чернь), написанной Алексисом Бувье на другой день после убийства Виктора Нуара принцем Пьером Бонапартом. После об'явления войны она с большим успехом исполняла «Марсельезу» в театре «Скала».

как и в каком-то чувственном экстазе. Не героиня ли это «Ямбов» Барбье—женщина, которая хочет, чтобы ее обнимали красными от крови руками? Не олицетворяет ли эта артистка, исполняющая «Чернь» для этой возбужденной толпы, впивающейся в каждое ее движение, армию восставших, армию той героической черни, которая дерется там, по ту сторону крепостного вала...

Гром аплодисментов обрывает мои мечты... Сцена опять пуста. Первая часть концерта окончена. Антракт.

— Выйдем, — говорит мне Вермеш. — Сейчас должна прибыть Агар. Я хочу ее повидать. Я вернусь к тебе сюда.

Оставшись один, я обвожу взглядом великолепную залу, опустевшую в одно мгновение ока, покинутую ради длинного уставленного бутылками и стаканами стола, который я только что видел в соседней комнате. Я задумываюсь, подбираю имена к неподвижным чертам воинов великой эпопеи. Вот Нэй, Ланн, Даву. А это Массена, Сульт, Удино?.. Всего несколько месяцев тому назад блестящий императорский двор блистал на этом самом месте своими ослепительными нарядами. Сколько воды утекло с тех пор!.. А мог ли я в ту минуту предвидеть, какие события готовятся еще?.. Если бы я знал, что через несколько дней вся эта позолота, все эти люстры, все, и маршалы в том числе, погибнет в огне небывалого пожара...

— Как, это вы?

Передо мною Лиссагарэ.

Не пойти ли нам все-таки подышать свежим воздухом... Небольшая дверь, за ней узкая темная лестница. Лиссагарэ ведет меня. Лестница, оказывается, выходит на кровлю, откуда нам откроется вид на сады и где мы сможем подышать свежим воздухом. Добрались; в открытое слуховое окно виднеется звездное небо. Однако здесь внутри темно... Настолько темно, что мы не находим своей точки отправления. Только после получасовых поисков мы попадаем, наконец, на ступеньки лестницы. Быстро спускаемся вниз. Агар только что покинула сцену. Вермеша уже не видно.

Нам остается только уйти. Снова проходим мимо миловидных маркитанток, протягивающих нам свои сумочки.

— Граждане, пожертвуйте на сирот Коммуны!

Длинный стол буфета все еще там. Но вполне понятная жажда сделала свое дело. Бутылки, стаканы и кружки пусты. Гора печенья сравнялась с поверхностью клеенки.

Красные плошки сада чадят и тухнут. Праздник подходит к концу.

Еще несколько дней и Тюльерийский дворец прикажет долго жить.

Мне рассказывали, что в ту злосчастную ночь, когда в об'ятом пламенем Париже небо казалось гигантским пологом из пурпура и золота,—ночь со вторника на среду 24 мая 1871 года—Рауль Риго искал убежища у одного друга.

Риго только что вышел из Сент-Пелажи, где по его приказанию был расстрелян Гюстав Шоде.

Квартира, в которую он постучался, была в пятом этаже и имела балкон. Риго вышел на балкон. Опершись на перила, смотрел он на ужасное зрелище горящего города, на гигантские языки пламени и столбы дыма с золотыми блестками...

— Ого! — закричал он вдруг. — Тюльери пошло к чорту!..

То был купол залы Маршалов, рухнувший в пламени.

Было ровно час с четвертью ночи.

МОНЕТА КОММУНЫ.

Апрель. — Не знаю, что привело меня на набережную.

Поднимаюсь к моему другу Камелина [1], который обосновался на Монетном дворе и собирается чеканить новую монету Коммуны.

— Ну, как дела с нашей монетой в сто су?

Камелина рассказывает мне о затруднениях, которые он встречает в получении из банка серебряных слитков. Только после повторных обязательств г-н де-Плек согласился наконец выдать ему серебра на общую сумму в два миллиона, разделив последнюю на несколько частей, по сто тысяч франков каждая.

— Но разве Коммуна не могла просто отрядить туда один батальон?

Камелина только разводит руками.

И после краткого молчания:

— В конце-концов я таки получил свои слитки. Через пару дней принесу вам мою первую монету.

В среду, в разгар боя, когда выстрелы раздавались уже по соседству, через ворота, выходящие на улицу Генего, выехали два фургона, нагруженные новенькой монетой, ровно на 153.000 франков.

После бесконечных блужданий по улицам, ежеминутно останавливаемые баррикадами, которые приходилось об'езжать, оба фургона добрались до площади Вольтера и остановились у мерии одиннадцатого округа, куда с раннего утра перешла Коммуна.

Много лет спустя после разгрома один очевидец рассказал мне прямо фантастическую сцену, в которой фигурировали последние бойцы, получавшие свое жалованье новенькими монетами Коммуны, уже отмеченной печатью смерти.

---

[1] Камелина, рабочий-бронзовщик, один из основателей Интернационала во Франции. Был назначен Коммуной директором Монетного двора. Позднее был членом палаты депутатов от Парижа. Ныне член французской коммунистической партии, кандидат на последних президентских выборах и один из немногих оставшихся в живых ветеранов Коммуны. *(Прим. ред.).*

Фургоны были укрыты во внутреннем дворе мерии. Полными горстями черпали из корзин, до краев наполненных монетами, едва вышедшими из-под пресса.

МОНЕТА С ТРЕЗУБЦЕМ.

Монеты, выпущенные Коммуной, представляют величайшую редкость. У меня есть один экземпляр обычного типа, того, который можно видеть в витринах музея Карнавале, где выставлена серия вещей и медалей, относящихся к периоду восстания 1871 года [1].

Почему эти монеты, выпущенные в количестве до пятисот тысяч, сделались такой редкостью? Просто потому, что по распоряжению свыше они были немедленно из'яты из обращения. Крупные банкирские дома всячески старались сбыть их с рук. Финансовое ведомство обменяло их на монету менее зловредную. Теперь такую монету можно встретить в повседневном обращении только как чистую случайность.

Пятифранковая монета, выпущенная Коммуной, на первый взгляд ничем не отличается от монет республики 1848 года, известных под названием монет с Геркулесом и гравированных Дюпре. Их можно узнать только по одной отличительной метке, по *штемпелю* резчика. У каждого директора Монетного двора свой штемпель. Он помещается на обратной стороне монеты внизу с левой стороны. На монетах, выпущенных Коммуной, этот штемпель представляет из себя маленький трезубец.

Забавная вещь! Знаменитая надпись «*Боже, храни Францию*» идет как ни в чем не бывало по краю монеты [2].

Однажды я дразнил Камелина по этому поводу:

— Поставил бы ты по крайней мере: «Боже, храни Коммуну!» Вот было бы забавно!

Конечно, в этом нельзя винить директора Коммуны. Чеканить надо было немедленно. Новые штемпеля еще не были готовы. Не было даже времени внести какие-либо изменения в тип 1848 года. Вот каким образом бог продолжал охранять Францию и с нею Парижскую Коммуну в мае месяце 1871 года.

---

[1] Принадлежащий мне экземпляр пятифранковой монеты, выпущенной Коммуной, воспроизведен в альбоме Армана Дайо «Война, нашествие, Коммуна», стр. 299.

[2] На других монетах Коммуны была надпись: «Труд, национальная гарантия». (См. ниже письмо Камелина.)

МОЩИ.

В несколько дней Монетный двор превратился в складочное место всего, чем министерства, управления, гробницы располагали в смысле драгоценных металлов, в виде утвари или произведений искусства сомнительной художественной ценности.

Некоторые министерства[1] присылали посуду с королевскими или императорскими гербами. Церковные ценности не были тронуты. Рьяные патриоты, повидимому, плохо знакомые с принадлежностями культа, поминутно приходили на Монетный двор с известием о невероятных сокровищах, которые им удалось обнаружить во время клубного заседания в том или ином святилище.

Временами, чтобы их успокоить, посылали туда служащего на обследование. Золотые и серебряные предметы искусства оказывались при внимательном рассмотрении несколькими безвкусными современными лампадами из позолоченной накладной бронзы, какие оптом фабрикует производство предметами благочестия.

Тюльери дал Монетному двору массу всевозможных вещиц. Аппартаменты бывшей императрицы были настоящим складом предметов благочестия. Повсюду были найдены ковчежцы с мощами. Каждый заключал в себе останки самого разнообразного происхождения.

Святые мужи и жены были представлены в молельне суеверной монархини каким-нибудь кусочком их телесной оболочки.

Когда настал момент отправить всю эту дрянь в плавильную печь, литейщик, здоровый весельчак, беря в руки один ковчежец за другим из корзины, в которую они были свалены, бросал их в тигель, сопровождая это свое движение каким-нибудь веселым замечанием.

— Твоя очередь, моя старая Бригита.

— Ну, старый Нис [св. Денис], ты проведешь сейчас плохие четверть часика.

И так со всеми святыми, персты или суставы которых попадались под руку неверующему литейщику.

В один прекрасный день он добрался до последнего.

Он поворачивает его так и этак, открывает.

За двойной дверкой кусочек тряпки. Рядом бумажка с надписью: «Кусок святой крайней плоти Христовой».

— Нет! Чорт возьми, это уж слишком... — восклицает литейщик, — оно, пожалуй, действительнее, чем веревка повешенного...

---

[1] Не все. В министерстве юстиции, куда я частенько заходил позавтракать с Прото, мне много раз случалось пользоваться серебряным прибором с королевскими лилиями.

И своими толстыми пальцами он запихивает драгоценную реликвию в жилетный карман.

Что случилось с этим кусочком?

Камелин, рассказавший мне всю эту историю, на это не мог ответить...

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОНЕТНОГО ДВОРА КОММУНЫ.

Я просил Камелина сообщить мне подробности о типе его пятифранковых монет, об их количестве, об обстоятельствах, сопровождавших прибытие в среду 24 мая двух фургонов, нагруженных монетой, в мерию одиннадцатого округа, куда с утра перебралась Коммуна.

Вот крайне интересное письмо, которое я получил от человека, бывшего директором Монетного двора в апреле-мае 1871 года:

«Париж—Бельвилль, 15 сентября 1909.

Мой дорогой Вильом,

Ты просишь меня дать тебе подробный и точный отчет о деятельности Монетного двора за время моего управления им с 3 апреля по 25 мая 1871 года.

Монетный двор чеканил только пятифранковые монеты.

Он выпустил их на сумму 2.400.000 франков, полученных в виде серебряных слитков, выданных нам по моей просьбе управляющим Французским Банком.

Монеты эти двух типов, различающихся между собою только надписью, выбитой по краям.

Оба типа имеют одинаковую лицевую и оборотную сторону; такие же, как на монетах 1848 года работы Дюпре, так называемых монетах «с Геркулесом».

На оборотной стороне, влево от года чеканки, изображен трезубец, выбранный мною в качестве *штемпеля*.

Монет образца 1848 года с надписью по краям: «*Боже, храни Францию*» было выпущено на 2.350.000 франков.

На 50.000 франков было выпущено монет того же образца только с надписью: «*Труд, национальная гарантия*».

Новая надпись: «*Труд, национальная гарантия*» была выполнена двумя художниками: чеканщиком Жаном Гарнье, одним из основателей Интернационала, и гравером Люпо. Она должно быть еще сохранилась на Монетном дворе.

Служебный персонал, бывший в моем распоряжении, состоял из следующих лиц:

Андре Мюра, заведующий производством; Перрашон, главный комиссар; Ламперьер, уполномоченный по выделке монет, и Жан Гарнье. Все, как и я, основатели Интернационала.

Кроме присланных мне слитков серебра, я пустил в ход довольно большое количество посуды с императорскими гербами, полученной из Тюльери и дворца Почетного Легиона, равно как и различные предметы и ковчежцы, найденные в покоях бывшей императрицы. Ни один из предметов, брошенных в тигель, не имел ни малейшего художественного значения.

Произведения искусства, даже посредственные, направлялись в особую комиссию из специалистов. Так поступили мы, например, с дорогим прибором для пива, жбаном и двумя кубками из чеканного серебра работы известных ювелирных мастеров, братьев Фаньер.

Все пятифранковые монеты, выпущенные Монетным двором, как сделанные из одних слитков, так и из смеси последних с серебряной утварью, имеют законную пробу.

Чеканка, начатая около 15 апреля, продолжалась до 24 мая.

Теперь, вот что произошло в этот последний день, среда 24 мая.

Из 2.400.000 франков на Монетном дворе оставалось в тот момент — по отправке остальной монеты в министерство финансов — 153.000 франков, а именно 103.000 франков с надписью: «*Боже, храни Францию*» и 50.000 с надписью: «*Труд, национальная гарантия*».

Эти последние были только что выпущены из-под пресса. Между полуднем и часом, — точнее в 12 часов 45 минут — из ворот, выходящих на улицу Генего, выехали два фургона, вернее две артиллерийские повозки, присланные мне прошлой ночью из Ратуши офицером Л. Повозки, которыми правили гвардейцы из обоза, сопровождались отрядом—человек в 80—232-го батальона.

Они везли 153.000 франков, частью в мешках, частью в корзинах.

Так как набережная находилась под ураганным огнем версальцев, то повозки свернули направо, пробираясь к площади Сен-Мишель укромными улицами Мазарини, Дофина, Христины, Saint-André-des-Arts, сворачивая то туда, то сюда в поисках свободного пути в обход баррикадам.

Подвигались вперед крайне медленно. На площади Сен-Мишель один из мулов, запряженных в повозку, упал. В него угодила пуля Обрезали постромки и оставили его на месте. Затем продолжали путь по набережной Сен-Мишель. Гвардейцы оборачивались назад и отстреливались.

Таким образом добрались до Аустерлицкого моста. Здесь нам пришлось пред'явить свой пропуск, чтобы проехать баррикаду, за-

щищавшую мост. Отсюда мы поднялись по бульвару Мазас до Сент-Антуанского предместья, затем по улице Ядер до улицы Ла-Рокетт и добрались наконец до площади Вольтера.

Было около четырех часов, когда мы пересекали площадь, запруженную батальонами, готовыми к отправке на линию огня. Как раз в это время навстречу нам попалась группа людей, которая вела Бофора к стене, где он должен был быть расстрелян [1]. Он шел среди раз'яренной толпы, в разорванном мундире, с обнаженной грудью...

Повозки остановились перед мерией, куда с утра перебралась Коммуна.

Гвардейцы подняли в первый этаж мешки и корзины, содержавшие 153.000 франков, в принятии которых уполномоченный по финансовой части выдал мне расписку.

Эти деньги пошли на уплату жалованья последним бойцам.

Гвардейцы 232-го батальона, сопровождавшие повозки, получили каждый по пятифранковой монете. Покончив с этим делом, я отправился с Верморелем осмотреть соседние баррикады.

Вот, мой дорогой Вильом, история последнего дня Монетного двора Коммуны.

Сделай из этого письма какое захочешь употребление и считай меня своим старым другом.

Камелина».

---

[1] См. выше стр. 48—49.

ПОЧЕМУ ДЕЛЕКЛЮЗ ИСКАЛ СМЕРТИ?

У ВЕНСЕНСКИХ ВОРОТ.

Почему Делеклюз в четверг 25 мая вечером покинул мерию одиннадцатого округа, чтобы добровольно дать себя убить на баррикаде, которая пересекала бульвар Вольтера около Шато-д'О?

В этот день около полудня Делеклюз в сопровождении нескольких членов Коммуны отправился к Венсенским воротам. Дело шло о попытке обращения к немецким военным властям, которые должны были передать версальскому правительству просьбу о перемирии или какое-то другое предложение Коммуны.

Этот эпизод остается до сих пор несовсем выясненным.

В числе членов Коммуны, сопровождавших военного делегата, был Жорж Арнольд.

От него-то я и узнал следующее:

* * *

— В четверг утром, — рассказывал мне Арнольд, — в мерию одиннадцатого округа явился один из моих родственников, коммерсант с бульвара Вольтера, сообщивший мне, что знает человека, который берется через посредство пруссаков добиться согласия версальского правительства на приостановку военных действий на известных условиях.

После пятиминутного разговора мой родственник удалился. Немного спустя он представил меня посреднику.

Я немедленно сообщил о сделанном мне предложении своим коллегам по Коммуне; последних было в тот момент в мерии около двадцати человек. Предложение было принято. Решено было, что делегация, которая будет сопровождать посредника — принявшего на себя роль парламентера — будет состоять из Делеклюза, Вальяна, Верморeля и меня [1].

---

[1] Меня уверяли, что Лонкла тоже входил в эту делегацию.

Мы должны были отправиться к Венсенским воротам и, выйдя из ворот, предпринять совместно с тем, кто брался довести переговоры до благополучного конца, все необходимые шаги для выполнения возложенной на нас миссии.

Мы пустились в путь, сопровождаемые отрядом федератов, набранных на площади Вольтера.

Делеклюз был по своему обыкновению в штатском, в цилиндре и сером пальто, с красным шарфом под сюртуком Я был в форме командира 164-го батальона. У моих товарищей красный шарф был на виду, надетый через плечо, и в петлицах блестела красная розетка с золотой бахромой.

Путь от мерии до Венсенских ворот прошли благополучно.

Не то было, когда мы подошли к воротам.

Это было в третьем часу дня. В тот момент, когда мы собирались пройти через под'емный мост, дежурные гвардейцы решительно загородили нам дорогу.

Мы стали указывать им на наши красные шарфы членов Коммуны:

— Нет! — заявили они. — Вы не пройдете!.. Никто не пройдет...

Делеклюз назвал себя

— Нет! Вы не пройдете.

Делеклюз настаивал:

— Но я же гражданин Делеклюз, военный делегат...

— Никто не выйдет отсюда.

И кто-то прибавил:

— Мы пропали... Вы останетесь с нами.

Спорить не приходилось. Мы решили тогда послать одного из наших в мерию одиннадцатого округа к Ферре за пропуском.

В ожидании возвращения посланного Делеклюз и все мы были отведены гвардейцами с примкнутыми штыками в некую винторговлю на Тронной площади.

Там Делеклюз бросился на стул, сломленный, убитый горем и стыдом.

— Я не хочу больше жить! — повторял он. — Нет! Для меня все кончено...

Мы не стали ждать приказа Ферре.

Вернулись на площадь Вольтера и вошли в мерию, где и осведомили товарищей обо всем происшедшем...

Однако я не оставлял своего плана и решил отправиться к Монтрейльским воротам.

Опять в сопровождении парламентера с большим трудом пробрался я через баррикады.

Наконец я добрел до ворот.

Баварцы были в какой-нибудь сотне метров от городского вала. Парламентер отправился к ним.

Из того, что он мне рассказал по возвращении, выходило, что ему пришлось иметь дело с обер-офицером, кажется в чине полковника, который, якобы, выслушал его предложения, но отказался принять их, ссылаясь на то, что теперь будто бы уже поздно.

Было восемь часов, когда я вернулся в мерию одиннадцатого округа. Делеклюза там уже не было.

Товарищи сообщили мне, что вскоре после своего возвращения в мерию он покинул их и направился по бульвару Вольтера к Шато-д'О.

* * *

СВИДЕТЕЛЬ.

Несколько лет тому назад в связи с одной моей статьей о смерти Делеклюза я получил от одного из моих читателей следующее свидетельское показание. Привожу его целиком:

«Париж, 14 февраля 1907 года.

Милостивый Государь,

Только что прочитал вашу статью. В четверг, 25 мая, Делеклюз в сопровождении нескольких высших офицеров Коммуны хотел выйти через Венсенскую заставу около двух часов пополудни.

Караул гвардейцев, кажется, 31-го батальона, получил, повидимому, приказ никого не пропускать, и потому, кроме полковника Мюра или Демюра, который с одной ротой гвардейцев и артиллерийскими повозками отправился еще раньше в Венсенский форт за снарядами, никто не мог пройти.

Я помню, как вчера, разговор, завязавшийся между начальником караула и подошедшими офицерами.

— Вы не пройдете.

— Но ведь это Делеклюз, военный министр, и мы хотим пройти в форт, чтобы убедиться, имеются ли там необходимые припасы.

Взрыв смеха среди гвардейцев, окруживших штаб.

— Ха, ха, ха!.. Нас не проведешь!.. Вы хотите удрать, а нас оставить здесь, после того как сами заварили эту кашу. Нет, вы не пройдете.

Некоторые из офицеров делают вид, что хотят пройти силой.

Но караул смыкает штыки и предупреждает, что ружья заряжены.

Делеклюз весь в черном, маленький и худой, с белой бородой и торчащими из-под цилиндра седыми волосами — он как сейчас передо мной — тихим голосом отзывает своих офицеров, и вся группа удаляется по направлению к Парижу, над которым нависло огромное облако черного дыма.

События этого дня до такой степени запечатлелись в моей памяти, что я мог бы час за часом пересказать вам все, что тогда произошло, или, вернее, что я видел за этот день, начиная с пяти часов утра, когда я покинул виллу де-Риголь, чтобы отправиться к артиллерийской батарее на улице Эрмитажа, где пробыл до девяти часов вечера.

Примите уверения...

Х. Парижанин и уроженец Парижа» [1].

ПОСРЕДНИК.

От кого исходило предложение, сделанное Арнольду, а через него и Коммуне, вступить в переговоры с пруссаками [2].

Малон, в своей книге «Третье поражение французского пролетариата» (стр. 454) говорит, что «секретарь» г-на Уошберна [3] пришел передать Коммуне предложение, исходившее от пруссаков и преследовавшее цели соглашения между версальцами и федератами».

Уошберн категорически утверждал, что ни один из сотрудников посольства Соединенных Штатов не участвовал в этих переговорах.

Но почему же Малон, присутствовавший на заседании, устроенном в мерии одиннадцатого округа, в котором участвовали двадцать еще бывших на-лицо членов Коммуны, упоминает о секретаре г-на Уошберна?

С какой стати стал бы он сочинять басни?

Личным секретарем посла Соединенных Штатов был в то время Мак-Кин, неоднократно упоминаемый Уошберном в его брошюре,

---

[1] Автор этого любопытного письма — известный промышленник.

[2] Максим Дюкан («Конвульсии Парижа», 8-е изд., т. I, стр. 2-3) категорически отрицает инцидент с Делеклюзом. Ему небезызвестна вторая попытка Арнольда, но он ничего не знает о том, что произошло у Венсенских ворот. Он считает «ошибочным показанием» недоброжелательный, но все же достоверный рассказ некоего Рекюле, присутствовавшего при том, как гвардейцы отказали военному делегату в пропуске. (См. «Парламентское следствие по делу о восстании 18 марта», однотомное издание, стр. 522).

[3] Уошберн был в то время послом С.-А. Соединенных Штатов в Париже. Вместе со своим личным секретарем Мак-Кином он сделал несколько попыток добиться освобождения архиепископа Дарбуа.

описывающей предпринятые им шаги к освобождению парижского архиепископа.

Не этому ли Мак-Кину, сопровождавшему Уошберна во всех его визитах (к Клюзере, к Раулю Риго), пришел в последнюю минуту в голову проект, о котором говорит Малон и которым он не успел даже поделиться со своим шефом.

Я расспрашивал об этом Арнольда, который не помнит даже имени Мак-Кина.

Эта сторона эпизода все еще остается недостаточно освещенной.

НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ЖИТЬ!

Но не все ли равно!

Важно одно — отчаяние, стыд Делеклюза, заподозренного, оскорбленного последними бойцами Коммуны, принявшими его за труса и дезертира...

Его!

—Я не хочу больше жить! — повторял он у Венсенских ворот.

Он сказал Ферре, которого встретил по возвращении в мерию одиннадцатого округа:

— Я кончен...

С этой минуты он решил искать смерти.

УТРО БОЯ.

У ОДЕОНА.

Среда, 24 мая. Десять часов утра. Дерутся у перекрестка Круа-Руж и на улице Вавен. Люксембургский дворец будет сейчас занят. Спускаюсь по улице Медичи к Одеону. На несколько минут останавливаюсь в галлерее театра, куда выходит артистический под'езд. Туда с незапамятных времен, все равно, хороша ли погода или дует ветер, завсегдатаи, профессора, студенты или просто местные жители, всегда одни и те же, приходят в определенный час читать газеты.

Галлерея уставлена плетеными стульями. Посетители появляются один за другим, выбирают себе стул, прислоняют его к перилам. Потом идут за газетой к выставке книжного киоска, усаживаются и принимаются читать. Окончив чтение, они аккуратно складывают газету и развертывают другую.

Многие проводят таким образом полчаса, а иногда и больше и уходят только после того, как просмотрят все утренние газеты (или вечерние, так как около пяти часов они снова приходят сюда).

Все удовольствие стоит два су, которые они, прежде чем уйти из галлереи, молча кладут на прилавок жены хозяина киоска.

Я окидываю быстрым вглядом ряды стульев.

Пусто.

Только один стул занят. Читающий хорошо мне знаком. Я подхожу к нему. Он отрывается от своей газеты.

— Ну, что я вам говорил! Это конец...

И его взгляд, устремленный на меня, полон сострадания. Этот взгляд говорит мне, что дело проиграно, что теперь уж не до энтузиазма и былых безумств, и единственно, что мне остается, это искать приюта, где бы меня не настигли надвигающиеся репрессии.

Ружейная трескотня раздается всего в нескольких сотнях шагов. Признаться, сердце мое сжимается. Конечно, я и не думаю о бегстве. И все-таки у меня пребольшая тяжесть на сердце...

Я ничего не отвечаю своему собеседнику. Он протягивает мне руку, снова садится на свое место и берется за газету. Я же несусь к улице Расина, которая выведет меня к бульвару Сен-Мишель, где со вчерашнего дня высятся баррикады.

Бросаю взгляд на читальню и в последний раз вижу склоненную над газетой рыжую бороду.

Завсегдатай Одеона — мой старый учитель Нантского лицея, ныне занимающий кафедру истории, если не ошибаюсь, в лицее Людовика Великого—г-н Леюгер.

ВАШ БУЛЫЖНИК, ГРАЖДАНИН!

Одиннадцать часов. Я успел забежать в «Божий Дом» к своему старому приятелю Паже-Люписену. И вот я снова на площади Сен-Мишель.

— Эй, гражданин, ваш булыжник... — окликает меня красивая смуглая девушка в черной кофте и розовой ситцевой юбке.

Спешно заканчивают постройку баррикады, которая должна прикрывать подступы к набережной и Меновому мосту.

Беру булыжник и кладу его на груду других.

— Спасибо, гражданин.

И снова:

— Гражданин, ваш булыжник.

— Увы, милая барышня, я ничего не вижу.

Я узнаю говорящего. Это Бутон-д'Ор, старый пропойца с одутловатым лицом, покрытым красной сыпью... Бутон-д'Ор— автор известных слов на смерть парижского архиепископа, того, который был убит в июне 1848 года.

Бедный Бутон-д'Ор! Говорят, что он занимал даже кафедру в каком-то коллеже. И уж во всяком случае был не меньше чем надзирателем лицея. Его сгубил абсент. Его глаза, окруженные мешками, уже давно слезятся алкогольными слезами, затуманивающими зрение и обжигающими ему веки.

Бывало, мы отправлялись посмотреть на эту жалкую богему,— прильнувшую к стаканам с абсентом, не выпуская изо рта трубок, — и посидеть на одной из скамей заведения, дававшего ей приют: академии на улице Сен-Жак в двух шагах от улицы Суффло. Прислонившись к бочкам из-под спиртных напитков, тянувшимся вокруг залы, мы слушали оживленные и подчас нелепые споры бедных маниаков о политике, искусстве, литературе. Среди них выделялся маленький человек с безумным взглядом и седеющей шевелюрой, который с гордостью выдавал себя за секретаря Валлэса. Однажды мы нарочно взяли с собой Валлэса.

Оказалось, что он его даже не знает. Тем не менее он пожал ему руку и беседовал с ним. Маленький человечек был вне себя от радости и гордости. Вечером товарищи подняли его на плечи, возложили ему на голову корону из зеленой бумаги и произвели его в члены Академии...

Бутон-д'Ор узнал меня.

— Да, я уже плохо вижу... Что со мной будет среди всего этого...

Бедняга, протирая ладонью глаза, стал подниматься по бульвару...

У ЛАПЕЙРУЗА.

Половина двенадцатого. — Вот и митральезы. Две. Высокая баррикада закончена. Вооруженные люди в красных кушаках суетятся на площади. Ружья составлены в козлы... В углу широкое белое полотнище с красным крестом... Это перевязочный пункт.

Сейчас начнется бойня.

Где же войска? Не пойти ли поискать новостей тут рядом, на набережную, на угол улицы Савойи — к Лапейрузу.

Лапейруз—ресторан, где мне случается иногда завтракать. Риго тоже иногда заходит туда с приятелями из префектуры, Левро, Сорне, Жиффо, Да-Коста и другими.

Вхожу. Пять, шесть занятых столов.

За одним из них Кавалье, которого мы зовем фамильярным прозвищем Pipe-en-Bois (Деревянная Трубка). Кавалье занимает пост заведующего не то местами прогулок и насаждениями, не то путями сообщения,—в точности никому не известно. Словом, он, как его позднее и прозвали, Альфан Коммуны. Когда его предали военному суду, Альфан заявил, что он безукоризненно исполнял свои обязанности.

Два офицера-федерата обращаются за чем-то к Кавалье, который вдруг вскакивает с места. По его продолговатому, словно вырезанному резцом лицу, стекают крупные капли пота.

— У меня нет ничего, решительно ничего, — говорит он. — Обратитесь в Ратушу.

У этого славного Кавалье требуют людей для баррикад, тачек, лопат...

— В Ратушу! Да она уже целый час как пылает!

Рядом со мной за столиком три или четыре человека, которых я не знаю. У одного из них поверх серого пальто красный шарф, но без золотой бахромы. Значит, это не член Коммуны. Вероятно, полицейский комиссар. Он громко рассказывает о казни шпиона.

Я узнал потом, что речь шла о Вейссе [1], расстрелянном на Новом Мосту.

Вбегает официант.

— Версальцы совсем близко... Видно, как они подходят с той набережной... Баррикада у моста будет взята с тыла...

Все поднимаются. Шум. Официант не забывает, однако, подать счет. Он протягивает мне мой. У меня нет мелочи. Бросаю ему стофранковый билет...

Я ВСТРЕЧАЮ РИГО.

Полдень. Кругом ружейная пальба. Через час, самое большее через два, будет схватка.

На улице Расина, против кафэ Суффле перед баррикадой остановилась повозка. С нее снимают ящики с патронами и устанавливают вдоль тротуара. Разгрузив повозку, отпрягают белую лошадь, чтобы запрячь ее в оставшееся орудие. Запряжка взбирается по бульвару.

Вот дружище Мэтр, командир нашего батальона «*Детей Пер-Дюшена*».

— Ты куда?

— К Пантеону.

— Далеко они?

—Все еще на улице Вавен, где их сдерживает Лисбонн [2]...

Проходим мимо лицея св. Людовика.

Мэтр в кратких словах описывает мне положение. Площадь Сен-Мишель замкнута большой баррикадой у фонтана. На улице Сен-Северен разворочена мостовая. Улица Школ и бульвар перерезаны рвами. Улица Расина, улица Медицинской Школы забаррикадированы. Наконец, огромная крепость — баррикада площади Мобер, прикрывающая отступление через Аустерлицкий мост на правый берег, в одиннадцатый округ.

Площадь Сорбонны. Баррикада, которая должна защищать подступы к улице Суффло, запоздала. Аконен, бывший во время осады капитаном моего 248-го батальона, с красным шарфом через плечо отдает приказания.

— Эй! Идите сюда!

— Риго! Ты!

Это действительно Риго. Он беседует на площади с группой друзей.

---

[1] См. выше, «Расстрел на Новом Мосту», стр. 68.

[2] Лисбонн (Максим), полковник федератов, раненный 25 мая на бульваре Вольтера и приговоренный сперва к смерти, а затем к каторжным работам.

Мы с Мэтром переходим бульвар.

Риго в полной форме офицера федератов. Сюртук с красными отворотами и таким же воротником. На красном околыше кепи серебряная граната.

— Зайдем к д'Аркуру.

У Д'АРКУРА.

Кафэ д'Аркур заперто наглухо. Риго стучится эфесом сабли. Приотворяется дверь, и показывается испуганное лицо управляющего.

— А-а! Это вы, г-н Риго... Ах! Нет... нет... никак невозможно...

Бедный ресторатор высовывает вперед голову и испуганным взглядом обводит площадь Сорбонны, где громоздятся баррикады, закрывая прилегающие улицы, и сверкают на солнце составленные в козлы ружья.

— Ну, открывай же скорей, — говорит нетерпеливо Риго.— И оставь нас в покое.

Входим. Зала погружена во мрак. Только несколько солнечных бликов пробиваются сквозь щели ставен. Мы усаживаемся впятером. Риго. Высокий молодой человек в форме поручика, студент Академии Художеств, такой же завсегдатай, как и мы, пивной Сен-Северен, по фамилии Гюе; на нем высокие сапоги желтой кожи, которые он вытягивает на стуле в полудремоте. Третьего я не знаю. Мэтр в форме командира батальона. Я в штатском и в кепи поручика.

Риго залпом выпивает стакан заказанного им гренадина и ударяет меня по плечу.

— Ты знаешь... Так вот...

Он отчеканивает слова.

— Сегодня ночью...

— Ну так что сегодня ночью?

— Так вот... Я велел его расстрелять...

— Расстрелять!.. Кого?

— Шодэ.

Мэтр бросает мне быстрый взгляд. Гюе не шевельнулся... Он продолжает дремать... Он, должно быть, в курсе дела. Может быть его усталость как будто подтверждает это, может быть он не покидал Риго с той трагической минуты...

— Расстрелять?.. Но как же...

Меня пробирает дрожь. Я хочу расспросить... узнать...

Но Риго не дает нам с Мэтром времени на расспросы. Он встает, пристегивает саблю, которую снял, когда стучался в ставни... Мы выходим.

— До скорого свидания... У Пантеона...

УЛИЦА ГЭ-ЛЮССАК.

Половина первого. Я поднялся по бульвару до улицы Суффло. Я один. Чувствую, как окружающая меня напряженная тишина становится жуткой...

Бойцы с ружьем у ноги стоят около камней. В домах все двери раскрыты. В коридорах сбились в кучу насторожившиеся женщины. У решетки Люксембургского дворца, рядом с Горным Институтом, белеет палатка перевязочного пункта. Врачи сидят у входа. В ногах у них хирургические принадлежности, пачки корпии. Узнаю одного приятеля. Молча обмениваемся рукопожатием.

В улице Гэ-Люссак на пороге одного кафэ стоит женщина, которую мы все знаем по кварталу. Это — хозяйка старинного кабачка *«Верного Поросенка»* с улицы Канатчиков. Старый кабачек со стенами, испещренными рисунками завсегдатаев, уж год как перекочевал на улицу Гэ-Люссак, не найдя тут своего былого успеха. Вермеш заходит сюда иной раз позавтракать. Риголетта—так зовут хозяйку—кивает мне головой. Она видела всех нас более или менее часто на улице Канатчиков на вечерах с застольными песенками. Риго тоже бывал там. Когда через несколько часов [1] он будет лежать в двадцати шагах от нее с простреленной головой, не кто иной, как она эта славная девушка, под улюлюканье трусов, пойдет и набросит покрывало на мертвого...

Улица Ройе-Коллар. Баррикада замыкает ее в том месте, где она выходит на улицу Гэ-Люссак. Останавливаюсь на минуту... Глаза мои невольно обращаются к окнам третьего этажа углового дома: здесь живет один из моих бывших учителей, Жозеф Мутье, который станет впоследствии преподавателем Политехнической Школы. Он был моим учителем физики в заведении Барбе на улице Фельянтинцев, а затем в лицее Сен-Барб, вместе с отцом Да-Коста, который преподавал нам математику.

«Папаша Мутье», как мы его звали. Он говорит мне ты, как всем своим любимым ученикам, которые стали его друзьями. Я встречал его довольно часто во время осады, а также в эти два ужасных месяца...

— Вот увидишь, малыш, это плохо кончится... Я тебе говорю...

Кончилось, действительно, плохо... очень плохо... И я с умилением думаю о славном папаше Мутье. Что если бы подняться

[1] Риго был убит около трех часов дня выстрелом из револьвера у подножия баррикады улицы Ройе-Коллар унтер-офицером, который вел его в Люксембургский военный суд.

к нему?.. Но нет... нельзя... Было бы трусостью прятаться, удирать... Ни за что...

Риго тоже был учеником Мутье или знал его по Сорбонне. Ибо — подробность для многих неизвестная — Риго, именовавший себя профессором математики, имел, действительно, некоторые права на это звание. Это он составлял так называемые листки баккалавра, где во время экзаменационной сессии ежедневно давались решения задач, заданных кандидатам. Другая малоизвестная подробность: в редактировании этих литографированных листков, продававшихся книготорговцами улицы Сорбонны, он имел помощника в лице Альфонса Эмбера.

Труп Риго, убитого около трех часов этого самого дня, оставался лежать до следующего вечера под окнами Мутье.

Один из близких к старику людей рассказывал мне, по моем возвращения из изгнания, о том, как мучился в эти дни Мутье, который при этом далеко не одобрял наших действий. Но у Мутье было доброе сердце. Он жестоко страдал от того, что в течение двух дней был принужден выносить это ужасное зрелище.

ПАНТЕОН ВЗЛЕТИТ СЕЙЧАС НА ВОЗДУХ!

Час. — Идем в мерию... Спускаюсь обратно мимо фонтана Медичи. В пересохшем бассейне устроилось два бойца. В середине сложены пачки патронов. Я обращаю их внимание на то, что они открыты со всех сторон.

— А наплевать! Мы будем стрелять лежа.

На балконе дома, выходящего на угол бульвара и улицы Суффло, с полдюжины молодых людей с ружьями за плечами. Я узнаю некоторых из них. Вот Марото, с его лицом Христа, Ларошетт из газеты Пиа. Другие. Встречаю Валлэса. Жалуется на болезнь и страшную усталость. Не спал три ночи. Он в войлочных туфлях, под-руку с подругой.

— Ты в мерию?

Я не успеваю ответить, как раздается ужасный грохот.

Столб черного дыма с большими огненными языками поднимается над Люксембургом со стороны Обсерватории. Это Лисбонн взорвал пороховые склады, устроенные на месте старого Питомника.

Разбитые стекла зазвенели по тротуарам. Молчание сменяется криками:

— Пантеон взлетит! Пантеон взлетит!..

И через баррикады, обоз, санитарные повозки кидается толпа. Куда она несется? Она сама этого не знает. Разве вместе с Пантеоном не провалится весь квартал?

Бегут обезумевшие женщины, таща за собой детей. Иные с узлами. У одной под мышкой стенные часы... И все время этот крик:

— Пантеон взлетит сейчас!

Внизу, у входа в мерию, я сталкиваюсь с командиром 248-го батальона Анри Режером, сыном члена Коммуны, который привязывает свою лошадь к решетке окна. Мы вместе поднимаемся наверх.

Наверху суматоха последних минут. Сидящие за столами чиновники осаждаются просьбами реквизиций, ордеров на получение продовольствия, денег для уплаты жалованья батальонам. Ищу глазами членов Коммуны. Несколько встревоженных лиц. Другие полны решимости бороться.

Площадь полна бойцов. Они и на ступенях Пантеона, за колоннами портика. Повсюду. Даже внизу, на круглой площадке, окаймленной колоннадой. Сражаясь до последней минуты, они не успели спастись бегством и были расстреляны на том самом месте, где были захвачены в плен. Еще долго потом за этой колоннадой можно было видеть, как уверял меня один очевидец, широкие лужи крови...

КРАСНАЯ УЛИЦА.

МАЛЕНЬКИЕ СТРЕЛКИ.

Четверг, 25 мая. — На другой день после взятия Пантеона. Начало улицы Суффло. Раннее утро.

Баррикада улицы Гэ-Люссак все еще там. За решетками Люксембургского дворца, все выходы и входы в который заперты, ходят взад и вперед солдаты. Кавалеристы в расстегнутых синих куртках с белыми шнурами и сдвинутых на ухо полицейских шапках болтают и курят возле своих лошадей, привязанных к деревьям.

На бульваре Сен-Мишель солдаты. Пушки с артиллерийскими повозками, запряженные и готовые ринуться в бой, который кипит вдали... Во всех окнах трехцветные флаги. На земле валяются кепи, кушаки, годильоты, патронташи. На углу улицы Monsieur-le-Prince несколько трупов. Пять или шесть. А вот еще один, лежащий на спине. Одна рука согнута на груди, другая вытянута, лицо прикрыто кепи федерата. Вся борода в крови. Он получил, должно быть, удар прямо в лицо. Чувство стыда—крайне редкое в эти страшные дни — побудило кого-то закрыть отвратительную рану. Я нагибаюсь, чтобы разглядеть номер батальона. Не приподнять ли мне кепи?.. Не решаюсь...

Бассейн фонтана Медичи полон трупов. Побежденные и победители свалены в одну кучу. Баррикадные бойцы, окруженные и прижатые к камням, где и нашли свою смерть, и маленькие стрелки в мундирах грифельно-серого цвета, которых я видел накануне со ступеней Пантеона, когда они беглым шагом проходили по площади и шрапнель с баррикады Суффло косила их, как траву...

Здесь их десятка два, наваленных один на другого, покрытых пылью и залитых кровью. Глаза, которых некому было закрыть, остались широко открытыми. Трупы сброшены были в этот бассейн вчера после боя, чтобы они не загромождали улицу. Сейчас приедет за ними ужасная мертвецкая повозка — желтый фургон, служащий для перевозки мебели,—чтобы свалить их в ямы, которые спешно роют на кладбищах...

Ни одного прохожего. Одни солдаты. Мне кажется, что глаза всех обращены на мою жалкую фигуру спасающегося штатского... Круглая шляпа, которую мне только что дали, чтобы заменить мое кепи поручика федератов, сползает мне на уши... Она делает меня, должно быть, очень смешным... Пожалуй, кто-нибудь еще обратит на меня внимание, станет присматриваться, узнает... Не прибавить ли шагу... Куда?.. К Одеону?

На улице Медичи сборище. Двое людей выходят из дома, за ними двое других. У этих последних трехцветная повязка на рукаве. Толпа солдат окружает их. Шествие направляется по пути, который я себе наметил.

Нет! Не пойду туда.

У меня словно предчувствие, что этих двух человек ведут куда-то, где они будут допрошены, а может быть и убиты...

Спускаюсь по бульвару.

Площадь Сорбонны. Я быстро прохожу мимо кафэ д'Аркура, терраса которого уже занята посетителями.

Я жмусь к домам. Думаю о том, что из каждой двери может выглянуть лицо... друга... предателя.

Решетки сада Клюни.

На широких плитах, при входе в залу Термов, изображающих собой могилу одного из галльских вождей, уселись в круг пехотинцы и стряпают.

Другие растянулись на лужайках животом вниз, положив свои ружья рядом с собой.

Некоторые, наконец, взобрались на колонны, примостившись между лапами каменных чудовищ, сорванных с Нотр-Дам или с какой нибудь разрушенной старинной церкви.

Выстрел... Другой...

Откуда это?

Из глубины сада...

Чувствую, как кто-то прикоснулся к моему плечу... Делаю полоборота...

— Это я...

Это было сказано мне тихо-тихо...

Я знаю этого человека с первых дней осады, это старый гвардеец моего 248-го батальона. Мне помнится, что мы не хотели занести его в списки, когда он явился. Слишком стар.

— Слишком стар, я! — воскликнул он. — Какой же я старый, если я дрался повсюду, в монастыре Сен-Мерри, в феврале, в июне!

Как он здесь очутился, каким образом сумел еще раз избежать расстрела, я не успел его расспросить. Между тем он не дорожил жизнью. Двадцать раз повторял он мне: «Я не выйду отсюда живым; это моя последняя кампания». Он не подумал даже сбрить свою седую бороду. Жил он в сотне шагов оттуда, в антресолях на улице de la Parcheminerie. Он и не думал скрываться.

Мы шагали рядом.

Снова раздались выстрелы.

— Это во дворе Клюни,—сказал мне старик.—Там расстреливали всю ночь. Я только что видел, как прикончили одного у наружной стены. Его приставили к фонарю.

Впоследствии я часто приходил на двор Клюни, где в правом углу, в глубине убивали побежденных.

ЛАВКА РУЛЬЕ.

Улица Школ. Мы натыкаемся на большую баррикаду Коллеж-де-Франса.

Я ее видел вчера за несколько часов до боя. Она загораживает всю дорогу. Высокая, плотная. Два выступа для митральез. Впереди, в нескольких шагах от нее, на лесном дворе преграда в виде громадных камней, заготовленных здесь для постройки новой Сорбонны. За каждым из этих камней, грозных каменных глыб, поставленных стоймя, как дольмены, было по одному или по два бойца. Потом, когда будут поднимать эти камни, из которых некоторые были опрокинуты снарядами, под одним найдут раздавленный труп—скелет, еще одетый в форму федерата.

В двух шагах от баррикады лавка Рулье.

Эта лавка, существующая и поныне, составляет продолжение Коллеж-де-Франса. Она тоже играет некоторую роль в трагических событиях майской недели.

Эдуард Рулье, сапожник, — он с гордостью подписывается «Рулье, башмачник» — июньский боец и декабрьский изгнанник

Во время Коммуны Рулье входил в состав подкомиссии труда и обмена при делегации торговли.

В первые дни революции Валлэс, шутки ради, взял его с собой в министерство народного просвещения.

— Рулье, садись сюда, в кресло Жюля Симона [1].

Рулье, надо ли добавлять это, не знаком с правописанием. И очень гордится этим.

---

[1] Жюль Симон—министр народного просвещения в правительстве Национальной Обороны и правительстве Тьера. *(Прим. ред.).*

— Я ведь не то, что вы, дрянные мелкие буржуа, у которых были родители, давшие вам образование!—бурчит он в свою длинную бороду инсургента.

Однажды, в феврале 1870 года, когда мы с Паседуэ (умершим в Каледонии) издавали маленький листок под названием «*Мизер*» [1], Руле прислал мне статью, уж не помню о чем, для напечатания в нашем журнале. Я счел своим долгом исправить ошибки в языке и дорого за это поплатился.

— Ты сделал подлог! — кричал он, — я этого тебе не прощу. Теперь это уже не моя статья. И к чему мне это! Разве я писатель, как ты!

Рулье со своей женой, прачкой, жил на улице Монтань-Сент-Женевьев. У него бесчисленное множество детей, которых он таскает с собой в пивную Сен-Северен, где появляется в длинной синей, всегда хорошо выглаженной блузе. Раз вечером, уходя, он забыл одного из них, заснувшего на скамье. Малыш провел ночь в пивной. Но чего Рулье никогда не забывал захватить с собой, как бы поздно он ни уходил домой, это свой неразлучный том Прудона, который он постоянно носил под мышкой, словно требник.

— А ты, Рулье, ты кто такой?

Рулье хватался за свою книгу. Чаще всего то была «Исповедь революционера».

— Прудонист, чорт возьми!

И он бережно прятал в карман свой драгоценный талисман.

Как-то вечером один из нас вытащил у него книжку.

— Ах, собака! Да она не разрезана!

Рулье побледнел. Его рыжая борода затряслась от гнева. Мы были уверены, что он убьет на месте смельчака. Валлэс хохотал до упада. Он тоже давно уже таскал с собой некую «Теорию налогов», в которую никогда не удосуживался заглянуть. Пойманный с поличным Рулье молчал, тяжело дыша.

Рулье не просто прудонист. Его преклонение перед Прудоном окрашено в яркий цвет анархизма [2]. С несколькими друзьями соседями он основал *Лигу борьбы с домовладельцами*. Члены лиги обязывались не платить квартирной платы — переезд на другую

---

[1] «Мизер» («Нищета»), листок in-quarto. Вышло всего семь номеров с 6 по 12 февраля 1870 года. Редакторы: А. Пасседуэ, Максим Вильом, Анри Белланже и нек. др. Издатель—Леон Сорне. Типография Рошетт, бульвар Монпарнасса № 72—80. В издательстве продавалась брошюра «Право рабочего» гражданина Паже-Люписена. Пасседуэ, приговоренный к ссылке, умер в Каледонии. Леон Сорне был издателем нашего «Пер-Дюшена».

[2] В то время собственно не было еще выражения *анархист*. Довольствовались тем, что называли себя просто революционерами.

квартиру совершался тайком от домохозяина — и оказывать помощь товарищу, преследуемому хищным домовладельцем.

Время от времени Рулье заходит повидать нас в кафэ — одно из пяти или шести кафэ, которые мы удостаивали поочередно чести своего посещения, начиная от кафэ Гюбера на улице Monsieur-le-Prince и до пивной Сен-Северен. С усталым, изнуренным видом опускается он на стул.

— Что случилось? Ты болен?

— Я? С чего вы взяли?

И вскочив на ноги, победоносно сверкнул глазами:

— Эх, вы, мямли... буржуи... если бы вы, как я, — и он ударил себя в широкую грудь,—с самого обеда повозили на себе тележку...

— Как? Опять переезд?

— Да... гражданин такой-то... Она-таки растет, наша *Лига борьбы с домовладельцами*. Вот и еще один, который не получит своей квартирной платы.

И славный Рулье, счастливый и довольный тем, что насолил одному из домовладельцев, которым он желает всяческих зол, опорожняет бокал пенящегося пива, чтобы подкрепить свои силы...

При всем том, как это ни странно, Рулье был совсем не так прост.

Когда наступило 4 сентября, он вспомнил, что был когда-то башмачником и может, значит, обувать своих сограждан. Он взял подряд на поставку обуви для нескольких батальонов национальной гвардии своего квартала.

Под мастерскую ему отвели пустующую лавку рядом с Коллеж-де-Франс.

С тех пор мы видели нашего Рулье не иначе, как в буржуазном просторном сюртуке. Синяя блуза, которую он когда-то носил, как символ анархиста, была оставлена в прачешной гражданки Рулье.

Время от времени я заходил в мастерскую пожать руку старому инсургенту, ставшему теперь хозяином сапожного заведения.

Ну, и держал же он в руках своих «сотрудников»!

Стоя на пороге, вытянувшись во весь свой высокий рост, с зорким взглядом и задорно всклоченной бородой, Рулье поджидал их возвращения в час перерыва.

— Живо! Поворачивайтесь! Годильоты уже ждут вас...

Когда настали дни Коммуны, Рулье сохранил свою «мастерскую». Надо думать, что он продолжал также поставлять обувь для федератов.

В среду утром, перед атакой Пантеона, проходя по улице Школ, я зашел в лавку. Десяток женщин шили там земляные мешки для соседней большой баррикады.

Рулье был тут же, равно как и несколько общих друзей, ружья которых прислонены были к стене лавочки.

Своим раскатистым голосом, в котором ясно чувствовался акцент жителя предместья, Рулье подбодрял гражданок, торопливо зашивавших мешки, подобно тому, как он делал это во время осады со своими сапожниками...

Мне пришлось вновь увидеть Рулье только много лет спустя после падения Коммуны.

Русая с серебристыми нитями борода старого инсургента совсем побелела. Ему было больше семидесяти лет. Такой же бедняк, как и прежде, он чинил башмаки мелкой прислуги в тесной каморке на улице Бобур, куда я заглядывал иногда, чтобы поболтать с ним о давно прошедших временах. Он поверял мне свои последние горести, тяжелое полуголодное существование, свое озлобление и даже отчаяние.

— Стоило, — говорил он мне с горечью, — проделывать июнь, декабрь и Коммуну, чтобы подыхать потом с голода, как старая собака... В один прекрасный день, вот увидишь, меня найдут повесившимся...

Я успокаивал, как умел, старого товарища.

В последний раз я встретил его на кладбище Пер-Лашез, на похоронах Лонге.

С двумя или тремя друзьями мы отделились от процессии, чтобы пройти к стене федератов.

— Ну, как дела? — спросил я его, отведя в сторонку.

— Немножко как-будто полегчало. Мне назначили маленькое ежемесячное пособие.

В этот вечер—мы зашли поболтать в кабачек, расположенный против ворот кладбища — разговор коснулся баррикады улицы Школ, земляных мешков и лавочки при Коллеж-де-Франс.

— Да, — сказал Рулье, которого эти воспоминания возбуждали, — да, хорошее было времячко...

Через несколько дней мне сообщили о смерти Рулье.

Старый инсургент был найден однажды утром мертвым в своей каморке на улице Бобур, где его поразил апоплексический удар.

Ему было восемьдесять лет.

УЛИЦА СЕН-СЕВЕРЕН.

— Я обошел уже весь квартал, — продолжал старый гвардеец.—В Сен-Северене целая груда мертвецов. Говорят, что они были убиты в церкви, куда заперлись, когда увидели, что они окружены. Они сложены в ряд на площадке за абсидом против улицы Галанд.

Мы шли по улице Лагарп. Старик замолчал... Вдруг он схватил меня за руку...

— Они должны были бы убить и меня... У меня ведь нет никого на свете... Уж лучше бы мне было умереть с ними вместе, чем теперь подыхать с голоду...

И старый инсургент поведал мне в нескольких словах свое горе. Вернуться в свою мансарду на улице de la Parcheminerie он не мог, так как не платил за квартиру с начала войны. За душой у него не было ни гроша. Что делать? Броситься в Сену? Отдаться в руки властей? Только это и оставалось ему...

Покидая его, я сунул ему в руку немного мелочи. Больше я его не видал.

И, спускаясь один к улице Сен-Северен, я задумался над горькой участью этого безыменного бойца всех революций, доведенного до самой беспросветной нужды, после того как рисковал столько раз своей шкурой, познал все восторги и увидел крушение всех своих надежд...

Куда итти?

Вспоминаю о Флотте, живущем на улице Гюшет.

Флотт — в безопасности. Он служил посредником при переговорах об обмене заложников. В Версале—где он виделся с Тьером—знают, что он не занимал никакой должности при Коммуне. Накануне я передал ему письма архиепископа. Он наверное сейчас дома.

Мне кажется, что у него я действительно буду в безопасности. Ускоряю шаги. До отеля Мон-Блан, где живет Флотт (д. № 16), осталось всего несколько шагов. У входа остановилась ломовая телега. Я собираюсь перешагнуть порог, как вдруг дрожь охватывает меня с головы до ног при виде страшной картины, которую заслонял от меня экипаж...

В углублении улицы, образовавшемся при перестройке линии тротуара, лежат три женщины, полуприкрытые соломой. Я отвожу взгляд. Бегу, успев заметить только лужу черноватой крови и красную юбку одной из несчастных.

Бегу, не думая больше о Флотте, не думая больше ни о чем, до площади Сен-Мичель.

На колокольне Сен-Северен пробило девять часов.

В одиннадцать я был задержан и отведен в военный суд.

В ПУТЬ.

В РАЗГАРЕ ТЕРРОРА.

МОЯ ТЮРЬМА.

Июнь 1871 года.—Улица Ришелье, против фонтана Мольера. Это мое второе убежище со времени разгрома. Меня приютил здесь двоюродный брат, чиновник одного из министерств. Он уходит на целый день в свою канцелярию, оставляя меня одного с моими мыслями. Единственное мое развлечение в эти часы— если только это можно назвать развлечением — состоит в чтении газет, которые он приносит мне вечером, в карманах пальто, спрятанные с величайшей осторожностью.

В эти дни доносов все настороже.

И двоюродный брат привел меня с собой поздно вечером, почти ночью, наказывая мне подниматься по лестнице на цыпочках, точно вору, чтобы привратник не услыхал моих шагов.

Никто и не подозревает, что я живу здесь наверху, добровольным узником, в квартире пятого этажа.

Мой верный кузен, одновременно с газетами, приносит мне и пищу. Хлеб, колбасу. Я не курю—для того, чтобы на площадке не пахло табаком...

По вечерам мы тихо разговариваем.

Тема разговора всегда одна и та же. Как уехать? Как выбраться из Парижа, из Франции? Как добраться до границы?

До какой границы и куда? В Лондон? В Брюссель? В Женеву?

Но как?

С чьим паспортом?

Никто не может ехать по железной дороге, ночевать в гостинице, путешествовать по дорогам, — без паспорта. А этот проклятый паспорт можно достать только у близкого человека, готового уступить вам свое имя, свои бумаги, а следовательно и пострадать, если случаю будет угодно раскрыть вдруг всю комбинацию.

Целые дни оставаясь один и строя бесконечные планы, я мысленно перебирал всех своих друзей и знакомых. Я наметил себе нужного мне человека. Вечером я сообщил об этом двоюродному брату.

— Его зовут так-то и так-то, сходите к нему... Мы были приятелями в Латинском квартале... Скоро будет четыре года, как мы познакомились с ним на возобновлении «Эрнани» [1], где мы были соседями по амфитеатру... В тот вечер мы оба столько кричали, что не могли говорить, когда вышли из театра... Он помнит, конечно... Он не откажет... Все устроится как нельзя лучше... Он похож на меня, как родной брат...

Вечером кузен возвращается.

— Ну, что?

— Твой приятель... Он меня отлично принял... Но... но... Боится скомпрометировать себя. У него старуха мать. А вдруг ты попадешься... Узнают, что он одолжил тебе свой паспорт... Если бы вопрос был только в нем, он не колебался бы... но у него на руках мать...

— Словом, он отказывается?

— Да.

ГАЗЕТЫ.

С тех пор, как я ускользнул от военного суда, газеты, которые мне доставляются, полны ужасов.

Валлэс убит на улице Священников прихода Сен-Жермен-л'Оксерруа, куда его дотащили. Так как он отбивался, то его заставили замолчать ударами прикладов в бок. Под конец солдаты закололи его штыками [2]...

Ферре, Вальян, Клюзере, Билльорэ, задержанные на улице, также расстреляны.

Я прочел кошмарное описание смерти Варлена, арестованного по доносу одного священника и расстрелянного на Монмартре, после ужасного крестного пути под ударами и ругательствами.

Я содрогаюсь при мысли об ужасных ямах в сквере Башни Сен-Жак, наполненных трупами. У меня этот рассказ под ру-

---

[1] Возобновление пьесы Виктора Гюго «Эрнани» во Французском Театре состоялось 20 июня 1867 года. Вечер был из самых шумных. Учащаяся молодежь встречала бурными апплодисментами каждый намек на безобразия императорского режима.

[2] Как известно, несчастный, подвергнутый таким пыткам, в действительности ничего общего не имел с Валлэсом. Подобным же образом был расстрелян целый ряд других лиц по доносу кого-нибудь из прохожих, которые приняли их почему-либо то за Билльорэ, то за Ферре, то за Вальяна, то за кого-нибудь еще.

ками... Кто они, эти несчастные, в громадном большинстве случаев расстрелянные в проклятой казарме Лобо, по выходе из военного суда полковника Вабра в Шатле? Перепечатываю этот рассказ...

...Что поражало взгляд, так это зрелище, представляемое сквером Башни Сен-Жака. Его решетки были заперты. За ними прохаживались часовые. На деревьях висели сл манные ветви. Повсюду, на лужайках и в чаще деревьев, зияли большие ямы.

Из этих сырых ям, только что вырытых киркой, то там, то сям торчали головы, руки, ступни и кисти. На уровне земли вырисовывались профили трупов, одетых в форму национальных гвардейцев. Э о было отвратительно. Их наскоро свалили туда.

Тяжелый, зловонный дух исходил из этого сада. Временами он делался прямо-таки н выносимым.

Мебельные фургоны ждали своего ужасного груза. Берега реки получили уже свою долю трупов [1].

И так каждый день, все те же страшные картины.

Меня могли в любую минуту арестовать здесь — достаточно было бы одного доноса [2] — спустить с лестницы ударами прикладов, как Валлэса, толкнуть к стене... там, внизу... затем подорать мой труп, отвезти его в какой-нибудь сквер и зарыть на береговом откосе...

И я задумывался, охваченный тревогой и дрожью ужаса, обхватив руками голову... Один.

ДОНОСЧИКИ.

Входит двоюродный брат. У него растерянный вид...

— Что случилось?

— На... читай.

Он протягивает мне газету. Пальцем указывает на заметку, напечатанную на первой странице:

Г-н Максим Вильом, один из редакторов «Пер-Дюшена», который до настоящего дня ускользал от всех поисков, арестован сегодня утром на улице Ангулем дю-Тампль [3].

— Видишь. Тебя ищут. По счастью, не в этом квартале... Быть может за тобой гонится по пятам какой-нибудь товарищ по перу, который имеет против тебя зуб... Что если в один прекрасный день, идя по твоим следам, он откроет тебя здесь?

---

[1] «Le Moniteur Universel» от 1 июня 1871 года.

[2] «Число анонимных доносов, адресованных в главную квартиру армии в мерии, в Версаль или, наконец, чаще всего полицейским комиссарам Парижа с 22 мая по 13 июня достигло 379.823. Порядковый номер регистрации в журнале префектуры полиции, куда направляется вся эта корреспонденция, дал возможность установить эту статистику анонимов». («Opinion Nationale» от 16 июня 1871 года).

[3] «La Petite Presse» («Маленькая Пресса») от 8 июня 1871 года.

— Так что же мне делать?

— Все, что захочешь. Пожалуй, тебе не помешало бы еще раз переменить свое местопребывание... Я схожу к Х., нашему родственнику. У него на улице Дофина большой магазин, где, может быть, ты будешь в большей безопасности, чем здесь... пока что...

Родственник отказывается... Он тоже боится. У него семья, дети... Вдруг узнают, что он скрывает у себя лицо, причастное к Коммуне... Его заберут самого... Что станет с его торговлей.. с его близкими?..

На завтра я просмотрел «Маленькую Прессу» от доски до доски.

Больше ни слова обо мне.

И лишь двенадцать дней спустя—я только-только успел выбраться из Парижа — на том же месте, где появилась заметка от 8 июня, можно было прочитать следующие строки:

По имеющимся у нас сведениям, Вильом арестован на улице Расина вчера около пяти часов.

Говорят, что он был тотчас же передан в распоряжение военных властей.

Как бы там ни было, но достоверно одно, что в тот момент, когда мы пишем эти строки, этот темный сподвижник господ Эмбера и Вермеша еще не заключен в тюрьму.

Всем известно, что этот рьяный сторонник Коммуны входил в состав тройки, которая так долго печатала в «Пер-Дюшене» статьи, написанные грязным и отвратительным языком [1].

Впоследствии, когда я очутился в полной безопасности, в Женеве мне называли имя суб'екта, избравшего своей специальностью доносы на своих прежних товарищей.

В золотые времена «Пер-Дюшена» этот господин не раз обращался к помощи нашего, тогда не очень тощего, кошелька.

БУДЕТ ОБЫСК.

Донос не единственная вещь, которой я должен был бояться.

Обыска следует опасаться столько же, сколько и доноса.

Вот что такое обыск.

Тук... Тук... Отворите... Отворяют. Патруль солдат во главе с унтер-офицером... Такой же патруль внизу охраняет входную дверь... Кто вы такой?.. Что вы здесь делаете? Ваши бумаги?.. Вы здесь живете?.. Если нет, кто вы? Откройте эти ящики, этот шкаф... Унтер-офицер берет связку писем, пробегает их... У вас нет оружия?..

[1] «Маленькая Пресса» от 20 июня 1871 года.

Если ответы, которые вы даете, вызывают малейшее сомнение, вас немедленно уводят в военный суд или в полицейский комиссариат...

Сколько людей были схвачены таким образом и ограблены!

Обыскивают целые кварталы, участки, улицы, дома.

О! Эти обыски!

В этих краях, у фонтана Мольера, где я нашел себе приют, еще не было обысков.

Когда они начнутся?

Завтра?

Послезавтра?

Рано или поздно, но их не миновать.

Время от времени я приподнимаю уголок шторы... Один только уголок... Чтобы меня не увидел какой-нибудь сосед, который может заинтересоваться тем, что это за физиономия, которой он никогда раньше не видал...

Бросаю беглый взгляд на соседние улицы.

Нет. Пока ничего. Красных панталон не видать. Значит, обыски еще не начались...

Иногда я провожу таким образом целые часы у окна...

Совершенно машинально глаза мои останавливаются на бронзовом Мольере. Я изучаю его маску, шевелюру, усы, его камзол и манжеты... Ах! Как я его хорошо знаю, этого Мольера!.. И этот фонтан!.. Мельчайшие подробности его врезались в мою память, я так же ясно и отчетливо помню их сегодня, как и в дни, когда изучал их из окна моей тюрьмы...

Вот и двоюродный брат.

Он еще менее спокоен, чем накануне. На службе его расспрашивали обо мне. Там уже знают о наших родственных отношениях. Это его изводит... А вдруг узнают, что я спрятан у него...

Да... Надо уходить.

ГОРОДОВОЙ!

Улица Шатоден. Я у другого родственника. У него магазин мелких металлических изделий. Мы пришли в тот момент, когда он садился за стол. Он холостяк и живет один с человеком, который прислуживает ему. Мы об'ясняем ему, чего от него хотят.

Добряк соглашается взять меня к себе. У него там наверху, в шестом этаже, есть комната для прислуги, которая не занята. Временно я могу ночевать в ней.

Мы сидим за столом и беседуем.

Вдруг раздается стук в стеклянную дверь.

— Добрый день... Я на минутку... зашел пожать тебе руку.

Достаточно мне было взглянуть на посетителя, чтобы вся кровь бросилась мне в лицо.

Этот посетитель—городовой.

Городовой, городовой! На нем длинная серая шинель с отогнутыми передними полами. Кепи с белой полоской. Сбоку револьвер в желтой кожаной кобуре. Тот, кто вооружен этим револьвером, имеет право навести его на всякого подозрительного прохожего, на инсургента, на которого сделан донос, на петролейщицу—легенда о поджигательницах каждый день дает новые жертвы—и без всяких разговоров застрелить их на месте.

Городовой садится. Он был полицейским сержантом во время Империи и товарищем по полку родственника, у которого я только что просил пристанища. Он пьет мелкими глотками чашку кофе, которую ему подали.

— Слава Богу, скоро все это кончится,—говорит он,—а то ведь нет ни одной свободной минутки... Я в мерии, на улице Друо. К нам каждую минуту приводят арестованных. И весь этот народ надо караулить, пока их не присоединят к партии отправляемых в Версаль.

Я слушаю, оцепенев от ужаса.

— Ну, пока, до скорого свидания. Бегу в мерию.

Гость вытирает усы, затягивает кушак, поправляет револьвер... Он протягивает мне руку так же, как и всем остальным...

Уходит.

— Славный малый,—говорит мой родственник,—тебе нечего его бояться.

Но нет. Я его все-таки боюсь.

Я не стану ночевать в комнатке шестого этажа.

После обеда я нанимаю извозчика и прощаюсь с улицей Шатоден... Полчаса спустя я на площади Медицинской Школы.

Перед решетками двое часовых шагают взад и вперед.

Там наверху, в доме (с тех пор исчезнувшем) в одном из окон виднеется свет. Вхожу. Привратник, человек надежный, подходит ко мне.

— Вы идете к г-ну Белланже?.. Он дома...

БЕГСТВО.

Белланже чувствует себя дома в полной безопасности. Встретивший меня симпатичный привратник—его верный страж. При малейшем признаке опасности он немедленно предупредит его. Каждый день приносит ему наверх газеты, провизию. Сообщает ему все новости.

Смеркается. Белланже выходит, держась вдоль стен.

— Я встретил X...—говорит он по возвращении...—Валлэс жив. Расстреляли не его, а другого, двойника... Мэтр, командир нашего батальона *«Детей Пер-Дюшена»*, все еще в этом квартале. X... встретил его как-то вечером на улице Гэ-Люссак... Эмбер тоже скрывается здесь... До сих пор из нашей компании еще никто не взят [1].

— Что, все еще расстреливают?

— Нет. Арестованных направляют в Версаль.

Я облегченно вздохнул. Все-таки маленький луч надежды. Когда я услышал ответ Белланже, мне показалось, что голова моя как-то крепче сидит на плечах.

Дом Белланже должен был быть моим последним убежищем.

В течение трех дней, которые я провел там, мы все строили планы от'езда, бегства... Нет необходимости сразу же добраться до границы... Выберемся сперва из Парижа... У крепостной стены не требуют никаких документов... Когда мы будем вне Парижа, мы посмотрим, что делать дальше... У меня оставалось еще несколько синих кредиток от времен «Пер-Дюшена». С этим мы сможем далеко уйти вдвоем.

А тут еще как нарочно подвернулось — словно манна небесная среди голода — приглашение в одно имение департамента Сены-и-Марны, неподалеку от Парижа, где мы будем в безопасности.

Замок, владелец которого бывает только наездами. Огромный парк, высокие заросли которого будут для нас непроницаемой преградой от нескромного глаза.

Мы с радостью хватаемся за этот якорь спасения.

Сегодня мы в последний раз будем ночевать на площади Медицинской Школы.

Завтра в одиннадцать часов утра отправляемся на вокзал Восточной железной дороги.

Вот мы и в поезде... Он идет полным ходом... Внимание... Укрепления... Остановка... Прусские солдаты подходят к дверцам... Поезд катится дальше... Все благополучно... Около полудня мы переступили порог замка. Никто нас не заметил...

Да, уж здесь-то, наверное, не будут нас искать!..

---

[1] Белланже ошибался. Эмбер скрывался в Батиньоле на улице Трюффо. Выданный привратником (15 июня) он был отведен в соседний полицейский участок, где один из агентов признал его. Эмбер протестовал. Но у добрых людей, давших ему приют, отыскали письмо, полученное им в это утро от своей матери. Мадам Эмбер жила на улице Суффло, № 14. Арестованного отвели туда. Увидав сына, бедная мать бросилась ему на шею. Это погубило его окончательно. Его посадили в фиакр, откуда ему удалось бежать. В Одеоне его снова поймали. В Версале его встретил знаменитый комиссар Клеман, тот самый, которого мы называли во время Империи «старой ищейкой».—Я вас ждал,—иронически заметил Клеман, очутившись перед Эмбером. Известно, что 21 ноября 1871 года Эмбер был приговорен военным судом к пожизненным каторжным работам.

ПЕРВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ.

Последние числа июня. Чтобы не возбудить подозрений, мы помещаемся у садовника замка. День мы проводим в той великолепной тюрьме, какой является парк, полный тенистых аллей, вспоминая дни борьбы, разгрома, исчезнувших друзей, о которых не имеем никаких известий.

Иногда во время прогулок мы оказываемся перед одной из решеток, за которой расстилается бесконечная даль; бывает так, что мы останавливаемся и дожидаемся какого-нибудь путника, который проходит мимо нас, с удивлением разглядывая двух неизвестных молодых людей, спокойно курящих свои трубки в этом обычно пустынном парке.

— Это не совсем благоразумно с вашей стороны подходить так близко к решетке сада,—говорит нам однажды вечером за ужином дочь садовника.—Это вызывает разговоры в деревне. Наверное уже догадываются, что вы парижане.

Парижане!

Быть парижанами!

Этого достаточно, чтобы в эти жестокие времена на вас смотрели, как на диких зверей, годных только для того, чтобы затравить и выдать без всякого сожаления властям.

Разве не твердили на все лады, разве не было расклеено на дверях всех мерий, что эти мерзавцы парижане грабили, жгли, убивали, что они подносили солдатам отравленные напитки и тысячи других историй, из которых каждая вопияла о мести!

Никакой пощады этим проклятым парижанам!

И после этого вести себя так неосторожно, как ведем себя мы!

Конечно, в один прекрасный день — рано или поздно — какой-нибудь деревенский болтун, у которого чешется язык, где-нибудь в церковной ограде или у крыльца мерии обронит такую фразу:

— Какого чорта делают тут те два суб'екта, что уже с неделю как появились в парке! Никто никогда их не видал! Наверняка, это парижане. Что если бы поскрести их немножко, этих молодчиков! Не отправиться ли нам в самом деле в замок?

СЕЛЬСКИЙ СТРАЖНИК.

Они-таки нагрянули к нам, добрые люди!

Прекрасным июльским утром, когда мы сидели за скромным, но вкусным завтраком, у ворот тихо звякнул колокольчик, возвещая о новом посетителе.

Среди двора человек с зеленым кепи в руке; я узнал в нем сельского стражника. Он разговаривал с молоденькой дочерью садовника, которая сейчас же вернулась к нам.

— Он пришел к этим господам, — сказала она.

Садовник и его дочь были посвящены в нашу тайну. Мы получили здесь пристанище через А., моего товарища по Люксембургскому военному суду, который жил по соседству и с давних пор знал эти места.

— Это сельский стражник, — продолжала молодая девушка.— Он пришел за бумагами этих господ.

За бумагами! За нашими бумагами! Ни один, ни другой из нас не обладал этими дрянными бумажонками!

Бросившись впервые в революцию, мы не приняли мер самой элементарной предосторожности, не подумали заранее о возможности бегства и о том, что нужно, чтобы добраться до границы.

Другие, с которыми нам суждено было снова встретиться в изгнании, вперед запаслись теми или иными приличными бумажками. Но кто из нас, молодежи, подумал об этом? В борьбу мы бросились со всем пылом и верой нашего юного возраста, и вот — влопались!

Разгром застиг нас всех, как зима недальновидную стрекозу, без паспортов и без бумаг, которые могли бы помочь нам бежать.

Сельский стражник продолжал стоять во дворе.

— Не хотите ли выпить с нами стаканчик? — крикнул ему садовник, строя веселое лицо.

Всю неделю мы рассказывали ему о расстрелах, о партиях арестантов, обо всех ужасах, творимых в Париже. И добряк не мог отогнать от себя мысли о нашем неминуемом аресте, об ожидавшем нас заточении, а может быть и смерти.

— Нет, нет, — отвечал стражник — Когда эти господа позавтракают, мы пойдем в мерию.

Я взглянул на него. Как сейчас вижу его невзрачные глаза, глядящие из-под нависших рыжеватых жестких бровей. Он снова надел свое кепи и ждал в блестевшей на солнце синей блузе, опираясь на свеже-вырезанную из какой-нибудь изгороди палку.

— Он из Парижа, — тихо сказала мне молодая девушка, сидевшая рядом со мной. — Он мне только что сказал это.

Мы встали из-за стола.

— Знаешь, — сказал я Белланже,—ни слова в мерии о наших настоящих именах. Я лично решил молчать. По дороге в Версаль у нас найдется время сообразить.

Сельский стражник вошел, поклонился, сел и выпил ожидавший его стакан.

— Да-с! — сказал он, не отвечая собственно никому, ибо мы все молчали, — да-с! Дела такие, что все должны подчиняться правилам. Хочешь, не хочешь, а должен показать свои бумаги.

Он поднялся с места:

— Господа, если вам будет угодно, я провожу вас в мерию.

В МЕРИИ.

Мы отправились в путь. Прежде, чем перешагнуть порог, я бросил последний взгляд на окно комнаты, где пять минут тому назад мы были так спокойны за будущее.

Садовник не трогался с места. Молодая девушка смотрела на нас.

Мне показалось, что в глазах этих славных людей блестели крупные слезы.

Вернемся ли мы назад?

Мы прошли деревню. Мерия была в пяти минутах ходьбы. С порогов домов сквозь окна лавочек глядели на нас местные жители.

— Вот два парижанина, — казалось, говорили эти люди. — Они со стражником. Наверное он их арестовал.

А стражник сиял от удовольствия. Он чувствовал, что служит центром внимания всей деревни. Он был героем дня.

— Мы пришли, — сказал он нам.

Я увидел трехцветный флаг и решетку, за которой висели последние правительственные сообщения: взятие Парижа, победы регулярной армии.

Нас ввели в маленькую залу, где стояло два плетеных стула.

Стражник обратился к нам:

— Ну, где ваши паспорта?

Он сказал это резко, как человек, которому заранее известен ответ, который он получит.

— Наши паспорта, — ответил я, — отлично. Мы пред'явим их господину меру. Разве его нет здесь?

— Он придет сейчас, — сказал стражник. — И вы пред'явите их ему. Приготовьте их.

В эту минуту отворилась дверь.

ДОБРАЯ ДУША.

Мер — это был он — пригласил нас в свой кабинет и любезно предложил нам сесть. Стражник вошел вместе с нами. Он продолжал стоять. Мер знаком приказал ему выйти.

Мы остались одни с представителем муниципальной власти.

— Господа, — начал мер, — надеюсь, вы извините меня за беспокойство. Вы находитесь в замке моего друга С (имя владельца). Я, конечно, уверен, что у вас все в порядке. Но, как вам известно, мы получили строгие приказания. Ни один новый человек со времени известных событий не может проживать здесь, не пред'явив своих документов. Дайте мне ваши паспорта, и я не стану вас больше беспокоить.

Мер был человек лет тридцати, тридцати пяти с искренним и открытым лицом.

Я как сейчас вижу его, — как и всех тех, с кем так или иначе соприкасался в эти тревожные дни, — вижу его светлые глаза и тщательно расчесанную окладистую бороду. Он молча ждал нашего ответа.

Я первый порылся в кармане. Вытащил оттуда пачку писем, которые прихватил на всякий случай. Письма были, само собою разумеется, на чужое имя и адрес. Я аккуратно разложил их на столе.

— Вот адресованные мне письма...

В то же время я внимательно смотрел на мера, лицо которого уже омрачилось слегка.

— У вас нет ничего больше? — спросил он меня.

— Увы, ничего.

— У вас нет паспорта? Почему? Вы же знаете...

Он, казалось, угадал мои мысли.

— Ну, господа, скажите откровенно, вы замешаны в парижских событиях?.. Я вижу, что ни у одного из вас нет документов... Скажите мне правду...

Мы молчали.

— Итак, вы не хотите мне ответить?

Я утвердительно кивнул головой.

Мер подошел к нам и отворил дверь в соседнюю комнату, куда знаком пригласил нас войти.

— Посидите здесь минутку, — сказал он, — и подождите меня.

Мы ждали добрых пять минут. Что он собирается сделать с нами, этот мер!

Пойдет он за стражником, зеленое кепи которого не выходило у меня из головы?.. Или за жандармами?

И я уже видел себя между двумя жандармами, отводящими меня в тюрьму, на железную дорогу, в Версаль.

Мер вернулся.

— Я хотел удалить моего стражника, — сказал он нам. — Теперь вам надо удирать и как можно скорее... Ни за что на свете не хотел бы я, чтобы по моей вине с вами случилась беда... несмотря на то, что в Париже во время пожаров я потерял дом на улице (он назвал улицу, которую я не запомнил). Я сам провожу вас к садовнику замка. Вы уложите ваши вещи. Не теряйте ни минуты... Я не могу ручаться за своего стражника, который может выследить вас и снова задержать...

Добрая душа!

Он держал в своих руках нашу свободу и нашу жизнь.

И, не зная нас, не разделяя ничуть наших убеждений, вместо того, чтобы заковать нас в цепи, он разбивал их и широко раскрывал перед нами путь к свободе.

Через пять минут мы были в замке.

Мы расстались с ним во дворе, чтобы вернуться к садовнику, наскоро осведомить доброе семейство о положении дела, сложить свои тощие пожитки и собрать сведения о дальнейшем пути.

Было решено, что мы разобьемся с Белланже и разными дорогами направимся к соседней станции.

Через четверть часа мы были готовы к от'езду.

Мер, прогуливавшийся в парке в ожидании нашего ухода, пожелал нам счастливого пути.

— Скорей, скорей, не теряйте времени, — сказал он. — Я успокоюсь только тогда, когда вы будете уже далеко... Не ходите на здешнюю станцию... Стражник мог отправиться туда, если он что-нибудь заподозрил.

Мы пожали руку этого превосходного человека и вышли через калитку, которая вела в поле.

Через час мы с Белланже встретились на станции в том месте, где раздваивается путь.

В тот же вечер мы были в Труа.

АРЕСТ.

ТРУА.

Вспоминаю наше прибытие в Труа. Город был занят пруссаками. На месте гулянья происходило учение. Мы долго смотрели на этих непривычных для нас солдат. За два месяца Коммуны глаза наши так привыкли к истрепанной в боях форме федератов, что эта пехота с блестящими пуговицами на чистеньких мундирах производила на нас впечатление манекенов из витрин магазинов форменной одежды.

Не могли же мы, однако, до бесконечности смотреть на пруссаков. Надо было подумать о крове и о пище, а также о том, что мы будем делать на завтра. Против нас вывеска постоялого двора. Заходим.

Хозяйка за конторкой.

— Вы желаете комнату? Вы будете столоваться за общим столом?

И она указывает нам пальцем на дверь в столовую. Табль-д'от уже в полном сборе. Осталось несколько мест в конце стола. Мы занимаем их.

Ох, уж этот табль-д'от! Целый час мы слушаем разговоры, восклицания, которыми через наши головы перебрасываются обедающие, почти все коммивояжеры, возобновляющие свои турнэ, прерванные грозными событиями. Некоторые прибыли из Парижа. Они рассказывают, что видели, что слышали. Пожары. Расстрелы. Все ужасы кровавой борьбы.

— Слыхали? — говорит один. — Знаменитого-то Феликса Пиа расстреляли, при чем нашли на нем целый миллион банковыми билетами...

— Что ж тут удивительного, — подчеркивает какой-то толстяк. — Он уже в 48 году похитил целую уйму денег.

— А потом, эта толстая свинья Курбэ, тот, что разрушил колонну, его нашли у одной женщины. Его тоже расстреляли...

И тысяча подобных историй.

Я не мог проглотить ни одного куска. Я чувствовал, как кровь приливает мне к голове... А болтовня продолжалась. Я должен был слушать ее... Наконец, убрали последнее блюдо и подали кофе. Я облегченно вздохнул. Этот обед показался мне целой вечностью.

ДВА ЖАНДАРМА.

Вдруг одно видение пригвоздило меня к месту. Через дверь в глубине залы входят два жандарма в белых лосинах с заломленными на бок треуголками и направляются к нам.

Да, именно к нам, а не к кому другому... Я ясно вижу, как взоры всех обращены на нас... Наверное у них в кармане приказ о нашем аресте. Стражник успел протелеграфировать. Мы пропали.

Жандармы останавливаются. Я уже не различаю своего кофе. Они снимают свои треуголки, с шумом отвязывают сабли и вешают их на крюки, вбитые в стену. Стягивают с рук перчатки и кладут их на стол; проводят рукой по усам. Потом садятся, вопросительно переглядываются между собой, словно о чем-то совещаясь... Все это длится не больше минуты. Наконец, один из них говорит спокойным голосом:

— Два мазаграна и коньяк!

Так вот зачем они пришли сюда!

Мы поднялись из-за стола, сразу успокоенные.

УНЫНИЕ.

Увы! Наша радость была непродолжительна. Мы решили пройтись немного по городу, а затем вернуться в гостиницу. Мне не терпелось собственными глазами увидеть прусскую оккупацию; одного парада мне было недостаточно.

Какой вид имели эти люди по вечерам, при свете газовых рожков, вокруг столиков кафэ бок-о-бок с жителями?

Мы проходили уже мимо конторы, готовясь перешагнуть порог, как вдруг нас окликнул голос хозяйки:

— Будьте любезны, господа, показать мне ваши паспорта.

Как! Опять эти проклятые паспорта! Нельзя, видно, ни путешествовать, ни отдыхать, ни спать, не приложивши к физиономии полицейской печати.

— Ладно, ладно, на обратном пути, — ответил я. — Мы пойдем сыграть партию биллиарда.

Наше спокойствие сменилось мрачным унынием. Партия биллиарда была далеко не веселая.

Мы выбрали уединенное кафэ, опасаясь слишком яркого света и многолюдного общества, где мы могли бы быть узнаны. Кафэ было пусто. Единственный посетитель, прусский солдат, курил свою длинную трубку, облокотившись перед стаканом пива, безмолвный, далекий, конечно, от наших тревог и планов от'езда, которые мы строили, машинально толкая свои шары.

— Мы должны сесть в следующий поезд, — сказал я Белланже. — Мы направимся к Юре, в Доль. Там у меня есть дядя, который приютит нас до тех пор, пока можно будет переправиться через границу. Старый солдат — мой дядя проделал все африканские походы — будет, конечно, на меня немного сердиться, как на разрушителя колонны. Но, несмотря на все это, он слишком любит меня и потому отдастся душой и телом делу нашего спасения.

— Прекрасно, — говорит Белланже. — Но отсюда до Юры у нас не раз будут требовать документы. Сейчас за столом один путешественник рассказывал, что на перегоне Париж—Лион три раза обходили поезд и забрали всех, у кого бумаги были не в порядке.

— Ну что ж! Увидим. Пока что, экспресс идет в десять часов. Бежим скорее!

Мы направились к вокзалу. Шел дождь. Улицы города имели самый мрачный вид. Экспресс прибывал только в полночь. Целых два часа пришлось нам слоняться по мостовой, так как все кафэ были уже закрыты, и держаться в тени деревьев на бульварах, где на каждом шагу попадались то подвыпившие прусские солдаты, то патрули с поблескивавшими во мраке ружейными дулами и касками.

ПАСПОРТА.

Полночь. Мы заняли места в отделении I класса. Чтобы вполне походить на мирных путешественников, я купил в буфете паштет, который и держу все время на виду. Ну кто примет за инсургента мирного буржуа, путешествующего в первом классе и везущего с собой паштет!

Паровозный свисток прорезывает тьму. Остановка. Минута тревоги. Ничего. Вторая станция, опять ничего. Третья. Все ничего.

Начинает брежжить день. Совсем рассветает. Я справляюсь с путеводителем. Следующая остановка в Шомоне. Через четверть часа мы будем там.

Поезд замедляет ход.

— Шомон! Шомон!

Высовываю голову из окна. Поезд остановился в нескольких сотнях метров от вокзала.

— Шомон! Шомон! Пятьдесят минут остановки!

Для чего эти пятьдесят минут? И вдруг меня, как молния, пронзает мысль: проверка! Едва успел я сообразить, в чем дело, как раздается крик:

— Господа пассажиры, приготовьте ваши паспорта!

— На этот раз мы попались, — говорю я Белланже.

Снова высовываюсь из окна. В начале поезда группа в пять или шесть человек. Два жандарма. Эти пришли сюда уж конечно не для того, чтобы пить свой мазагран, как это было вчера в гостинице с их товарищами. Впереди какой-то человек в черном.

Он оборачивается, и я ясно вижу, как у него вокруг талии блестит трехцветная перевязь. Нет сомнения: через пять минут комиссар накроет нас... Краткий допрос, и мы арестованы.

Я слежу глазами за тем, как идет проверка. Один из жандармов открывает отделение и проходит в него. Другой стоит на часах у дверей. Комиссар остается на перроне и ждет. Вот сходят вниз два-три пассажира. За ними жандарм, окончивший свой обход. Он что-то говорит комиссару, указывая на вышедших путешественников. Комиссар обращается к последним и, как видно, допрашивает их. Вслед за тем жандармы направляются к соседнему отделению, где повторяется та же процедура.

Я об'ясняю все это Белланже. Мы беседуем, когда дверь в наше отделение отворяется.

Это жандарм.

— Господа, —говорит он очень вежливо, — соблаговолите показать мне ваши бумаги.

Мы вытаскиваем, как и тогда перед мером, который спас нас в первый раз, наши бумаги, письма...

— У вас нет паспортов?

— К сожалению, нет. Вот наши билеты. Мы сели в поезд в полночь, вызванные в Доль семейным трауром. Мы не успели забежать в префектуру. Нам необходимо, во что бы то ни стало, быть в Доле сегодня же вечером. Мы даже еще не обедали.

И я взглядом указываю на паштет.

Но все это не удовлетворяет нашего жандарма, который направляется к двери и говорит нам:

— Сойдите, господа, вы об'яснитесь с господином комиссаром. Может быть вам удастся еще сесть в этот же поезд или, по край-

ней мере, в следующий... Комиссар пойдет вам навстречу... Я же не могу ничего.

И я вижу, как широкая синяя спина жандарма, сперва заслонявшая всю дверцу, спускается на полотно и исчезает, оставляя проход свободным... Остается спуститься только с этих двух ступенек... и... дать себя арестовать. На этот раз уже окончательно.

Проклятые паспорта, чтоб им!..

Я ЗАБЫТ!

Здесь произошел один из самых удивительных эпизодов этого более чем странного бегства, где я подвергался всяческим опасностям и от всех избавлялся, благодаря какому-то непостижимому и неизменному счастью.

Мой друг Белланже, занимавший в отделении угол по соседству с открытой дверью, сходит на полотно. Я вижу, как он вступает на перрон, еще держась за поручни дверцы. Я медленно следую за ним и тоже должен сейчас опуститься в пустое пространство, на дне которого, на метр от меня, меня ждут военный суд и каторга [1], как вдруг дверца отделения с силой захлопывается.

Я останавливаюсь на пороге. Как же так!.. А жандарм? Или он решил, что я уже сошел... Мне приходит в голову, что он может заметить свою оплошность, пересчитать арестованных... Увидит, что на одного меньше... Снова обойдет вагоны. Но нет, он будет торопиться и удовольствуется тем, что поднимется на ступеньки и заглянет в окна. Я один здесь... Что если я спрячусь под скамейку... Он подумает, пожалуй, что отделение пусто.

И я скользнул под скамейку. Каким образом сумел я залезть в такое узенькое пространство? Часто потом задавал я себе этот вопрос. Что значит инстинкт самосохранения! Итак, я лежу под скамейкой, белый чехол которой опущен. Теперь жандарм может, сколько хочет, смотреть в окно: он не увидит ни кусочка моего существа.

Проходил ли он, вообще, жандарм?

Я этого никогда не узнал.

Чего я только не передумал за эти сорок минут моего вынужденного пребывания в этом карцере! Я думал о товарище, менее

---

[1] Из трех редакторов «Пер-Дюшена» двое были заочно приговорены к смерти: Вермеш и я. Третий, Альфонс Эмбер, задержанный в Париже, был приговорен к каторжным работам на всю жизнь. Он отбыл восемь лет каторги. Мне тоже пришлось бы отбывать их, как и ему. (Процесс газеты «Пер-Дюшен» в военном суде, заседания 20 и 21 ноября 1871 года.)

счастливом, чем я. Я представлял себе, как он печально бредет за группой арестованных, вглядываясь в лица своих товарищей по несчастью, и об'ясняется с комиссаром.

А если он вернется! А если его оставят на свободе и он возвратится в вагон, вот удивится он, не видя меня!.. Вот, должно быть, вытянул физиономию, когда увидел, что дверца захлопнулась передо мной! Если бы, садясь в Труа, ему пришло в голову занять мое место, вместо того, которое его погубило, то арестантом был бы я, а он свободным человеком... Нет, уж пусть будет так, как оно есть, и даже... — о эгоизм человеческий! — пусть он не возвращается вовсе... А то еще, пожалуй, вспомнят обо мне... Пусть он убирается ко всем чертям, этот болван Белланже. Я спасен. До остального мне нет никакого дела.

Но вот поезд дрогнул и покатился сперва ровно... потом толчками, при переводе на другие рельсы... Очевидно, мы проезжаем вокзал... Не будем пока вылезать... На этот раз поезд идет плавно... Подождем еще пару минут... Ну-с, теперь можно подняться на ноги.

Я так хорошо свернулся под скамейкой, с'ежился калачиком, что, о ужас, мне уже не вылезти из моего убежища... Что если я так и останусь в нем и придется меня вытаскивать... Ну-ка, хорошенько двинем плечом. Неважно, если будет больно или порвется платье... Вытягиваю руку... так... Наконец-то я свободен.

Как странно снова смотреть в окно, уже одному.

Бедный товарищ!.. Где-то он сейчас?

Остановка. Лангр. Ничего. Два жандарма, скрестив на груди руки, смотрят на проходящий поезд.

Дурачье! Можете глазеть...

Новая остановка. Оксон. Высовываю голову в окошко. Мне кажется, что я опять вижу, как в Шомоне, комиссара в черном сюртуке с традиционным шарфом.

Опять проверка! Сойду лучше здесь, хотя билет у меня до Доля.

Совершенно упускаю из виду, что если бы действительно была проверка, то пассажиров не выпускали бы с вокзала.

Я выскакиваю из своего отделения. Лечу к выходу. Даю свой билет. Не слушаю голоса служащего, который кричит мне в след:

— Господин, господин, постойте! Ваш билет до Доля, а это только еще Оксон.

Не все ли равно! Единственно, чего я теперь хочу, это, чтобы ноги моей не было больше на этой проклятой железной дороге, где через каждые два часа требуют паспорта, которого у меня нет и отсутствие которого уже целая трагедия для меня.

ВЕСЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Нет! Ноге моей не бывать на железной дороге! От Оксона до Доля я дойду пешком, если нужно. Помню, как еще маленьким— мне было тогда шесть лет — я приехал в Оксон с моей матерью. Чтобы добраться до Доля, мы наняли большую желтую карету, такую, какая вдруг появляется передо мною — может быть это она и есть—в двадцати шагах от меня перед постоялым двором. Кучер влезает на козлы. Я едва успеваю посторониться. Карета трогается. Еще десять минут, и я бы уехал с ней.

Вхожу в гостиницу. Заказываю себе завтрак — свой паштет я оставил в роковом отделении вагона — и спрашиваю, нельзя ли приготовить мне экипаж для поездки в Доль.

— Но, сударь, — отвечает мне хозяйка, — сейчас пройдет поезд.

Я отговариваюсь нездоровьем.

— Хорошо. Тогда через час.

Я выхожу. Прохожу мимо старинных укреплений Оксона и попадаю на длинную белую дорогу, окаймленную виноградниками. Вдруг позади меня раздается топот двух лошадей. Я вспоминаю о жандармах. Оказывается, это два прусских офицера, выезжающие на прогулку.

К вечеру я был в Доле.

— В какую гостиницу везти вас? — спросил меня мой кучер.

— У большой площади, — отвечаю я наугад.

В гостинице — на большой площади, действительно, нашлась гостиница — я справляюсь, где живет г-н Вильом, старый солдат, кавалер ордена Почетного Легиона.

— Г-н Вильом? Да это в двух шагах.

И мне указывают небольшой домик. Вот я и у цели. Бегу к домику. Звоню. Мне открывает служанка.

— Здесь живет г-н Вильом? Я пришел передать ему поклон от одного из его родственников.

— Здесь, — отвечает девушка, — г-н Вильом, кавалер?

— Да.

— В таком случае войдите сюда. Я схожу за ним.

Служанка выходит и тотчас же возвращается.

— Я думала, что барин дома, а он вышел.

Девушка болтлива. Она не скупится на похвалы по адресу своего хозяина.

— Какой славный человек! И потом имеет военную медаль и орден Почетного Легиона! Да! Ведь он дрался и в Крыму, и в Италии, и при Сольферино, где потерял ногу.

— Как потерял ногу! — вскричал я, ошеломленный. — Г-н Вильом лишился ноги при Сольферино?

Служанка смотрит на меня с удивлением.

— Разве вы этого не знали?

— Но в таком случае ваш г-н Вильом мне не дядя. (Я проговариваюсь, наконец, что пришел повидать своего дядю.) Мой дядя, которого тоже зовут г-ном Вильомом и который тоже имеет орден Почетного Легиона и военную медаль (в тех местах Вильомов целая куча), сохранил обе ноги.

— Ах, так вы говорите о г-не Вильоме из Полиньи! — подхватывает служанка. — Это ваш дядя? Надо было так и говорить, что у него обе ноги. Он живет в Полиньи, улица Траво.

Итак, я узнал, что если хочу найти своего дядю, настоящего, то должен снова пуститься в путь.

Я поблагодарил служанку, проводившую меня до дверей.

— Ах, я непременно расскажу это моему хозяину, когда он вернется, — сказала она мне на прощанье. — Ну и посмеется же он от всего сердца!

МОЙ ДЯДЮШКА ВАХМИСТР.

ПРИЕМ.

Итак, в путь, в Полиньи, куда я прибываю с наступлением ночи.

Расплатившись с возницей, направляюсь к улице Траво. Мой дядюшка, настоящий, стоит на одной из ступенек своего крыльца.

В надвигающихся сумерках я вижу его высокую фигуру, энергичное и в то же время добродушное лицо. Он меня узнал. Я вижу, как расширяются его глаза и вытягивается вперед голова... Вот я перед ним... Он не двигается с места...

— Входи... в эту дверь.

Вхожу... Он остается неподвижен.

Вдруг он оборачивается:

— Ага! Так это ты, скотина! А я то думал, что тебя и в живых нет... Или по крайней мере, что ты влип... Газеты об этом писали... Жена отложила этот номер... покажет тебе сейчас. Ну, и негодяи же вы все...

Но, хотя дядюшка и громко кричит, однако по лицу его совсем не видно, что он гневается.

Я решаюсь:

— Да, да, дядюшка, я знаю. Вы не можете простить мне колонны. Мы об этом еще поговорим... Дело в том, что я умираю от голода!

Добряк дядюшка бросается мне на шею, целует меня.

— Ну, да, ты мне все это расскажешь. Как тебе удалось спастись? Здесь тебе нечего бояться. Я в приятельских отношениях со всеми жандармами... Каждый день встречаюсь с ними. Среди них есть товарищи по полку. Впрочем, не показывай носа на улицу.

Мы садимся за стол.

Потягивая стакан за стаканом того превосходного винца, которое держат в запасе виноделы Юры, я рассказываю дядюшке все перипетии моего бегства. Глаза его увлажняются — его, старого африканского солдата, который на своем веку видал виды, — при рассказе о том, как я предстал перед военным судом.

— Ну, тебе здорово повезло... Что и говорить... В военное время... Да еще после того, что вы наделали...

Я думал, что он опять начнет мне про свою колонну.

Приключение в вагоне на станции Шомон заставило его хохотать до упада.

— А твой ротозей товарищ! — кричал он, залпом выпивая полный стакан, — где-то он теперь... Уж наверное в тюрьме...

Около полуночи глаза у нас обоих стали слипаться.

Бутылка, стоявшая перед нами, была наполовину пуста.

КОМНАТА ПРУССАКОВ.

Дядюшка прервал молчание.

— Теперь я провожу тебя наверх в комнату пруссаков. С тебя этого будет вполне достаточно.

Комната пруссаков находится на чердаке под самой крышей. В слуховое окно видны красные черепицы домов.

— Ради бога не высовывай носа в окно. Слышишь.

Но ведь сейчас ночь. И голова моя совсем отяжелела от паров юрского вина. Приподнимаю занавеску. На изсине-черном небе горят яркие звезды. Вдали вырисовываются горы со своими гигантскими хребтами, точно стадо мастодонтов... Там, там Швейцария.

Швейцария! Страна свободы! Вильгельм Телль! Гостеприимная Гельвеция! Великолепная декорация, тишина ночи, блаженное спокойствие на душе, все зовет меня к лирическим воспоминаниям...

Да! Когда же наконец вступлю я на твою мирную почву, любезная сердцу изгнанников Швейцария! Когда же перестану я видеть белые лосины и синие мундиры наших доблестных фараонов? В Швейцарии, конечно, тоже есть жандармы. Но мирные и доверчивые, с саблями, которыми им приходится резать разве только грюерский сыр своей родины, плотный, как пряник, и круглый, как тележное колесо. О, сыры Швейцарии с кроткими глазами газели!.. Глаза жандармов свободной Гельвеции должны походить на ваши... Но французские жандармы... Брр!..

А в сущности, что я за дурак, что так расчувствовался! Чорт с ними, с жандармами, их мундирами и лосинами! Мой дядюшка им приятель. О, жандармы, доставившие мне столько неприятных минут, мне решительно наплевать на вас!

Дядюшка рассказал мне только что за бутылочкой вина, что такое комната пруссаков.

Как и все его земляки, он должен был принять к себе на жительство неприятельских солдат. В качестве старого вояки, кава-

лера ордена Почетного Легиона, пенсионера и домовладельца, в один прекрасный вечер он должен был принять двух молодцов в остроконечных касках, пред'явивших ему свой квартирный ордер и потребовавших от него принудительного гостеприимства. Это были два унтер-офицера.

— Нечего делать! Такова война. Я сам, бывало, квартировал у жителей. Я должен был смолчать.

Тут мой дядюшка оживился. Его глаза сверкнули огнем.

— Но что это были за свиньи! Представь себе, что они не знали ни слова по-французски. Они с первого же дня принялись шуметь, колотить саблями по стене... Они, наверное, приняли меня за штафирку...

И, выпрямляясь во весь свой высокий рост:

— Я, штафирка! Ну! Это продолжалось недолго... Я хватаю одного из немцев за шиворот... Заставляю его сделать полоборота... Тычу его носом в свою фотографию, снятую в то время, когда я был в Африке, на которой я изображен в виде старшего вахмистра. Кстати, ты видал меня когда-нибудь старшим вахмистром?

— Как же, дядюшка, видел, когда вы приезжали в отпуск к папе.

— Ну это что! Если бы ты видел меня верхом, во главе моих молодцов. Ах, гром и молния! Вот было времячко.

И старый вахмистр, который при своем богатырском росте имел несомненно внушительный вид, горячился и клялся, что, не будь он в отставке, он задал бы пруссакам по первое число.

— Ну, ну, дядюшка, успокойтесь. Если вы будете так громко кричать, вы привлечете сюда жандармов.

Дядюшка снисходительно улыбнулся и вернулся к своим пруссакам.

— Да, — продолжал он, — я заставил его сделать полоборота... Я ткнул его носом в мою фотографию... Еще полоборота и я тычу его носом в мой крест...

Надо было слышать, с какой гордостью старый вахмистр говорил о своем кресте. Его крест! Думаю, чтот тот, кто покосился бы не совсем почтительно на овальный футляр, под стеклом которого он покоился на широкой красной ленте, поплатился бы за это довольно дорого.

— Да, в мой крест, — продолжал дядюшка, — и заорал ему в ухо, пруссаку: «Если ты только дотронешься до этого, старик, худо будет! А теперь полоборота налево и отправляйтесь наверх дрыхнуть, оба». Они не заставили себя дважды просить, как ты вероятно догадываешься, и взбежали по лестнице, не сморгнув. Я велел разостлать им два матраца на полу. На другой день они вышли как шелковые. Я думаю, что накануне они были пьяны

Они заговорили со мной на своей тарабарщине, должно быть извинялись. С тех пор мы жили дружно. Добрыми друзьями, насколько это, конечно, возможно с пруссаками. Но, в конце концов, между солдатами, видишь ли, хотя бы и разных стран, это не то, что между штафирками...

И, вытирая усы, дядюшка заключил:

— Коммунар! Это не лучше, чем пруссак. Ты будешь ночевать там наверху.

Я заснул в комнате пруссаков, счастливый и спокойный впервые после стольких ужасных дней.

До самого утра снились мне вперемежку добродушные швейцарские жандармы, кресты Почетного Легиона, грюерские сырки, миловидные маленькие швейцарки, которые встречали меня на свободной земле, приюте изгнанников.

О, прекрасные сновидения! Как хорошо спалось под крылышком ангела-хранителя, доброго гения жандармерии Полиньи.

БЕЛЛАНЖЕ.

Около одиннадцати часов я сошел вниз, свежий и отдохнувший. Я нашел дядюшку на его наблюдательном посту на ступеньках крыльца с трубкой в зубах.

Я сел по другую сторону стеклянной двери, и мы стали беседовать с ним вполголоса. Вдруг дядюшка входит и затворяет за собой входную дверь.

— Неужели тебя уже выследили? Вот уже несколько минут как какой-то нахал — это было одно из его любимых словечек — ходит взад и вперед по улице и разглядывает дома один за другим. Мне эта физиономия незнакома... Да вот он... Смотри...

— Что с тобой? — спрашивает дядюшка, заметив мое смущение.

— Что со мной? Да ведь это же он... он...

— Да кто же?

— Кто? Приятель. Тот, который был арестован со мной в Шомоне. Я же рассказывал вам вчера эту историю... За каким чортом он здесь!

— Как! Он! Да ведь ты же говорил мне вчера, что комиссар упер его в тюрьму!

Белланже — ибо это был он — все еще стоял в нерешимости посреди улицы.

Дядя вышел к нему навстречу.

— Вы ищете г-на Вильома. Это я. Войдите.

Не успел приятель переступить порог, как старый солдат заорал:

— Что за наказание божие! Неужели вы все сюда явитесь один за другим? С меня довольно уже...

Лицо Белланже выражало глубокое смущение. Он решил, конечно, что дядюшка сильно разгневан, чего не было в действительности, ибо добряк скоро смягчился и протянул гостю руку:

— Друзья моих друзей — мои друзья. Вы здесь, как и племянник, у себя дома. Одиннадцать часов. Мне пора итти сыграть свою партию биллиарда... с жандармами. В полдень мы завтракаем.

Он обратился ко мне:

— Ты ему об'яснишь остальное. Главное, не высовывать носа. Таков уговор. Вы мне расскажете свои приключения за едой. Я не могу больше медлить ни одной секунды. Теперь пять минут двенадцатого, а я должен был быть в кафэ в одиннадцать часов.

Двадцать один год военной пунктуальности превратили добряка в настоящий хронометр, так что весь день у него был расписан по минутам.

— Ну-с? — начал я, когда мы остались одни с Белланже.

— Нет, уж ты сперва. Как ты выпутался?

Я рассказал ему историю своих похождений. В свою очередь он сообщил мне следующее.

— Когда я очутился на платформе Шомонского вокзала, десять человек были уже задержаны за отсутствие паспортов, в том числе две женщины. Забрали еще четырех или пятерых. К отходу поезда нас оказалось человек пятнадцать. Комиссар ушел, не сказав ни слова. Мы остались одни с двумя жандармами, которые повели нас через весь город в комиссариат. Мы ждали часов до девяти, рассказывая друг другу свои злоключения. Большинство моих товарищей по несчастью оказались торговцами или рабочими, не позаботившимися своевременно запастись паспортами; они, как я после узнал от самого комиссара, были отпущены и уехали со следующим поездом, по выяснении их личности.

— А ты, ты тоже дал выяснить свою личность? — спросил я со смехом.

— Я? Конечно, как же иначе. Я и не думал скрывать свою личность. Более того, комиссар сам взялся ее удостоверить. На вокзале в Доле ты мог бы увидеть билет, который железнодорожная администрация может разыскать при некотором желании, взятый нами в Труа, заштемпелеванный и подписанный тем самым шомонским комиссаром, который меня арестовал.

Я вытаращил глаза.

— Как? Комиссар положил печать на твой билет?..

— Что же! Для другого он бы того наверное не сделал. И, правду говоря, я рад, что на этот раз меня арестовали одного... У меня все данные полагать, что ты бы не вылез из этого положения... Вот послушай.

ХИТРЫЙ КОМИССАР.

— Когда очередь дошла до меня, — начал Белланже, — меня ввели к комиссару. Не поднимая головы, он допрашивает меня:

— Вас обнаружили в отделении курьерского поезда, проходившего через Шомон в четыре часа утра, без паспорта?

— Да, сударь.

— Ваше имя?

— Анри Белланже.

Комиссар поднимает голову.

— Вас зовут Анри Белланже? Постойте, я знавал когда-то в Шатору господина Анри Белланже... Ну-да, это вы и есть... Вы не узнаете меня?

Должен признаться, что я только смутно припоминал этого славного комиссара, знававшего меня в Шатору и, повидимому, сохранившего об этом знакомстве воспоминание, которое в эту минуту могло быть только выгодным для меня.

— Ну-да, вы помните, конечно, что я был в то время комиссаром в Шатору. А вы, вы служили в книжной торговле.

Это было верно.

— За каким же чортом вы не взяли с собой паспорта? Ваше счастье, что вы напали на меня. Будь на моем месте кто-нибудь другой, вам бы не поздоровилось. Ох, уж эти проклятые парижане, задали же они нам хлопот! Подумать только, что еще сегодня я должен был бегать по платформе...

И после минутной паузы:

— Ну, ради такого случая, вы позавтракаете со мной. Мы поболтаем о прошлых временах...

Завтрак, должен сказать, оказался превосходным.

— Куда вы отправляетесь? — спросил меня мой комиссар, когда пришло время от'езда.

Я показал ему мой билет.

— Вы едете в Доль. Дорогой мой, вы рискуете снова быть арестованным в дороге. Я поставлю визу на вашем билете. Вам останется тогда только пред'явить его, если у вас что-нибудь спросят. Вы скажите, что посланы в Доль по моему поручению.

Чем дальше, тем лучше, подумал я. Вот так штука—я причислен к полиции! Пока что, мне нечего бояться.

Комиссар взял мой билет, налепил на него великолепную печать, которую украсил еще своей подписью. Он сам проводил меня на вокзал, посадил в поезд. Когда паровоз свистнул, он крикнул мне на прощанье:

— Счастливого пути! Когда будете возвращаться, заходите по-приятельски позавтракать.

— Да, это номер, — сказал я... — И ты прав: хорошо, что он арестовал тебя, а не меня, которого он не знал по Шатору... Итак, ты приехал в Доль? Каким же образом пришла тебе в голову мысль искать нас здесь?

— Когда я спросил в гостинице, где живет г-н Вильом, твой дядя, о котором ты мне еще раньше рассказывал, отставной военный, кавалер ордена, я узнал про твое приключение, о котором там уже знали со слов маленькой служанки. Мне сказали, что ты направился в Полиньи. Я переночевал в Доле, а утром прибыл сюда.

В этот момент вернулся дядя.

— Две минуты первого! — воскликнул он. — Мы должны были бы уже сидеть за столом.

Белланже пришлось повторить свой рассказ.

Дядюшка давился от смеха. Наконец, он сказал нравоучительно:

— До чего они глупы, эти штафирки комиссары. Ах, если бы это был солдат! Вы бы его так не провели!

— Значит, дядюшка, вы были бы более рады, если бы дружище Белланже попался?

— Гром и молния! — возмутился добряк. — Не заставляй меня говорить то, чего я не хочу сказать. Я латыни не учился. Могу легко ляпнуть что-нибудь такое... Но это пустяки, и ты, надеюсь, согласишься со мною, что надо быть совершенными дурнями, чтобы упустить двух таких молодцов, как вы... Ну, за ваше здоровье!

И, чокнувшись с нами, он одним духом опрокинул в свой смеющийся рот огромный и полный до краев стакан.

ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ.

ОТ'ЕЗД.

Мы были всего в тридцати километрах от границы. Там, у подножия горы есть деревушка Русс, расположенная по обеим сторонам линии, отделяющей Францию от кантона Во. Мне часто приходилось слышать об этой деревушке из уст моего отца, рассказывавшего всякие ужасы про контрабандистов его времени. Мне кажется даже, что его отец, мой дед, храбрый человек, у которого была дюжина детей—я его никогда не видел, этого славного деда—сам временами фигурировал в этих рассказах.

За этой деревушкой нас ждала свобода.

Но как до нее добраться?

Очень просто. Надо найти верного человека, который, будучи посвящен в нашу тайну, довез бы нас в экипаже до ближайшего пограничного пункта, чтобы мы могли миновать таким образом жандармский пост на государственной дороге.

И вот, сидя под домашним арестом, мы внимательно изучали местную карту, которую раздобыл для нас дядюшка. Отмечали красной чертой маршрут, который мы изберем. Мы проберемся сюда, на этот перекресток дорог... Отсюда один только шаг.

В один прекрасный день дядюшка входит сияющий.

— Ну, дело в шляпе. Я нашел нужного вам человека. Старый друг твоего отца. У него есть собственный экипаж. Вы выедете сегодня вечером. Переночуете в Шампаньоле. На рассвете он довезет вас за двести шагов до границы. Там он оставит вас. Это так близко, что он увидит, как вы будете переходить пограничную линию.

Послушать дядюшку, так выходило, что через пять минут после того, как мы расстанемся с нашим проводником, мы сможем приветствовать его, махая фуражкой под солнцем свободной Гельвеции.

Настал день от'езда. В полдень у дядюшки состоялся прощальный обед, на который были приглашены все близкие, вплоть

до самых маленьких детей. Я как сейчас вижу добрую старую тетушку, единственную сестру моего отца, тетушку Франсуазу, очень набожную особу, которая плакала, обнимая меня, коммунара! Эта превосходная женщина никак не могла простить своему брату, что он не известил ее раньше о моем присутствии.

— Я бы его спрятала в церкви, — говорила она.

После обеда она молча выскользнула из-за стола, бросив на меня последний взгляд.

— Она будет теперь молиться за тебя, — сказал мне дядя. — Я сказал ей, что завтра утром ты будешь переходить границу Держу пари, — прибавил он с добродушным смехом, — что она не пропустит завтра ранней обедни.

НА ЮРУ.

Программа была выполнена от точки до точки... Сбилось дело только под конец, когда мы добрались до последнего этапа, и нам осталось пройти каких-нибудь двести метров.

— Видите вы эту белую дорогу, — сказал нам наш проводник, — так вот по ней вам не надо итти. Держитесь этой маленькой тропинки, все налево. Иначе вы наткнетесь на пограничный пост. Жандармы, вероятно, ничего бы вам не сказали. Но все же лучше пройти у них за спиной, чем под носом.

Последнее рукопожатие.

— Вы мне дадите знак, оттуда? Может быть, я вас и не увижу, но все-таки был бы рад.

В путь!

Увы! Мы брели как раз не в том направлении, какое нам было указано.

Вдруг шагах в двадцати-пяти от нас словно из-под земли вырос серый домик. Скамья. А на скамье жандарм в серых коломянковых брюках и куртке, пускавший клубы дыма из своей трубки. Синее кепи с белой полоской заставило меня содрогнуться.

Так близко к цели!

— Шутки в сторону, — сказал я своему спутнику. — Пойдем шагом и закурим трубку. Этим мы возбудим доверие к себе.

Закурив трубку, мы спокойно прошли мимо. Жандарм поклонился нам. Мы ответили тем же.

— Вот и столб, — сказал мне тихонько Белланже. Действительно, в нескольких шагах от нас показался пограничный столб.

Ну, на этот раз мы у цели. Еще десять шагов... пять... один. Дошли. Вот он, этот благословенный столб с гербом Франции на одной стороне: орел или буква N, уж не помню хорошенько. Но противоположная сторона, швейцарская, у меня как сейчас

стоит перед глазами,—герб кантона Во. Кончено. Последний человек, который приветствовал нас на французской почве, оказался как раз жандармом, возместившим таким образом все неприятности, которые причинили нам его друзья и собратья.

— Ничего, — сказал Белланже, — идем дальше. Правда, мы не знаем местности, и, если тропинка делает поворот, мы можем снова очутиться во Франции. Поэтому самое лучшее, это итти до тех пор, пока мы не встретим деревню, где мы могли бы действительно успокоиться под швейцарским флагом.

И мы все идем и идем. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, не видно ли нашего проводника. Нет. Снимаю фуражку и размахиваю ею в воздухе.

Мы карабкаемся по скалистым тропинкам в тени огромных сосен. Да, это самая настоящая Юра. Мы вдыхаем чистый, ароматный горный воздух. Вокруг нас мхи блестят своими цветочками. Альпийские розы раскрывают свои чашечки. Мы срываем их целую охапку. Как жаль, что мы не живем в те блаженные времена, когда путник мог возложить на повороте дороги свое приношение к ногам какого-нибудь божества-покровителя.

КОНТРАБАНДИСТ.

Крыша из больших круглых черепиц. Швейцарское шалэ. Группа домов. Постоялый двор. Хорошенькая девушка на пороге. Войдем.

— Где мы находимся?

— Сен-Серг, сударь.

— Это Швейцария?

Красавица звонко расхохоталась.

— Ну, да! Кантон Во.

— В таком случае дайте нам позавтракать.

Входит незнакомец. Заросшее шерстью лицо. Ушедшие в орбиты глаза. За ним следует, не отходя ни на шаг, большая собака. Ноги незнакомца закутаны в бесформенные тряпки, делающие их похожими на лапы слона. Странная фигура.

Человек обращается к нам.

— Видно, что вы не здешние, господа, — говорит он нам, — раз мои лапы могли показаться вам чем-то необычайным.

Его добродушный смех звонко раздается в тиши деревьев:

— Вы, значит, никогда не видали контрабандиста?

Контрабандист! Бунтарь, как и мы! Какая встреча после стольких мытарств!

— Ну и прекрасно, товарищ контрабандист, мой друг, мой брат, ударим по рукам. И за стол все вместе! Мы не контрабандисты, но мы гораздо большие преступники.

Красавица принесла нам холодное почти нетронутое жаркое и вино с золотистым отблеском.

Человек со слоновыми ногами разрывает своей кабаньей челюстью огромные ломти мяса, которые исчезают у него во рту, как сорванные ветром листья в пучине...

Мы рассказываем ему свои похождения. Мы говорим ему, что мы два парижанина, еще минуту тому назад подвергавшиеся преследованиям, облаве, какая ему угрожает ежедневно...

— Ах! гром и молния, — рычит он. — Если бы я знал об этом, уж я бы устроил вам переход через границу под носом у жандармов... Уж я-то знаю эти тропинки... Кстати, что это такое было, Коммуна?

Мы наскоро передали ему скорбь и надежды ее участников. Скорбь побежденных. Надежды на будущее. Взгляд контрабандиста загорелся дикой радостью.

— Так вот что такое Коммуна! — кричал он в промежутке между двумя огромными кровяными кусками жаркого. — Ах, бог ты мой! Если бы я мог там быть...

Нам пришлось умерять его пыл. Ему уже чудилось, что в небе рдеет заря близкого реванша...

— Коммуна! Я тоже коммунар! Каждый день воюю с таможенными властями, которые подстерегают меня и охотно всадили бы мне пулю в затылок, если бы только увидели мою рожу где-нибудь из-за угла скалы...

И он закричал, понурив голову:

— Между тем я не вор. Я работаю, как собака—с тобой, старина,—сказал он, гладя огромное животное, которое не спускало с него своих больших светлых глаз. — Жена и ребятишки живут этим. Ну, господа, доброго здоровья. Мне пора...

Собака последовала за своим хозяином. Контрабандист скрылся из виду.

А мы остались вдвоем, молчаливые, опечаленные, размышляя об этом бунте изо дня в день, в котором участвует часть человечества...

У ЦЕЛИ.

Мы спускаемся с Юры почти бегом. У наших ног расстилается огромная голубая пелена озера, обрамленного грандиозной завесой Альп, ослепительных под ярким июльским солнцем.

Свободны! Нет больше жандармов! Ни паспортов! Ни комиссаров! Ни тюрьмы, ни каторги, ни расстрелов!

Через три часа после головокружительного спуска мы в Нионе. Пароход ждет нас внизу.

Женева.

Куда направим мы свои стопы?

Наверное, кое-кто из наших уже бросил якорь в этом гостеприимном городе. Но где их разыскать? Уже шесть часов. Не расспросить ли нам прохожих?

Внушительный швейцарский жандарм — мы уверены, что это жандарм—дежурит у пристани.

Что если нам обратиться к жандарму? Швейцарский жандарм— это, должно быть, верх любезности. Попробуем.

— Простите, г-н жандарм, есть ли такое кафэ, где собираются преимущественно иностранцы?

Жандарм рассматривает меня с ног до головы. Он хочет, видимо, быть настоящим жандармом. У него такой вид, будто это его не касается. Или, вернее, он просто не хочет мне отвечать. Я повторяю свой вопрос.

— Мы здесь в первый раз... Мы французы... Мы хотели бы разыскать своих товарищей...

— Так! Так! — восклицает вояка. — Вижу в чем дело. Вы из Парижа?

— Ну, да, конечно, г-н жандарм.

— Вы найдете их в Северном кафэ, ваших друзей... Чтобы попасть туда, вам нужно только пройти этот сквер...

В ЖЕНЕВЕ.

ЭЖЕН РАЗУА.

Несколько дней спустя. Мы в Северном кафэ. С прибытием первых эмигрантов оно стало местом встреч. Горизонт великолепен. Синий хребет Юры. Высокие снежные вершины, опоясывающие озеро. По темному ковру лесов, идущих по склону Юры, я ищу белую линию дороги, по которой мы спустились бегом. Свободен, наконец-то свободен!..

Пробило половина шестого.

— А вот и Разуа.

Разуа садится. Он набивает свою трубку и медленными глотками пьет поданный ему белый абсент.

Два незнакомца подходят к нему.

— Это вы будете г-н Разуа?

— Да... ну и что?

Это «ну и что» Разуа произнес суровым тоном. Старый спаги [1] —Разуа был вахмистром в Африке—не очень-то приветлив с незнакомыми. И потом, не почуял ли он что-то недоброе?

— Сударь, — говорит один из подошедших, — если вы г-н Разуа, то благоволите следовать за нами...

— Я вижу, — говорит Разуа, — вы из полиции.

— Да, сударь, извините, но у нас есть приказ арестовать вас.

Разуа поднимается, вытряхивает трубку, которую держит в руке, укладывает ее в чехол. И все это с величайшим спокойствием. Выпивает последний глоток абсента, остающийся на дне стакана.

— Прощайте, друзья, сегодня меня, а завтра других, может быть вас... кто знает?..

Мы видим, как его уводят.

Сидим, оторопевшие от неожиданности.

---

[1] Французские колониальные войска в Алжире. (*Прим. ред.*).

— Хорошее гостеприимство, нечего сказать! — думаю я. — Да это только перемена тюрьмы.

За обедом я встречаю двух-трех друзей. С ними женевский житель, старый декабрьский изгнанник, принявший швейцарское гражданство.

Мы говорим только об одном—об аресте Разуа. Я делюсь с ним моей тревогой, общей тревогой всех нас.

— В таких делах самое лучшее—это откровенность, — говорит в заключение женевский приятель. — Под этим что-нибудь да кроется. Вам следовало бы просто завтра же утром посетить начальника полиции и ясно изложить ему ваше положение. Вы ничем не рискуете.

ЭМИГРАНТЫ НЕ БУДУТ ВЫДАНЫ.

На другой день с раннего утра я уже был в приемной высокого сановника. Встречаю пристава. Я боялся, что придется прождать целый час, и потому очень удивился, когда пристав спокойно обратился ко мне:

— Постучите в эту дверь.

Стучу. Вхожу. Какой-то человек сидит за большим письменным столом.

— Г-н начальник департамента?

— Это я, сударь. Что вам угодно?

Я с места в карьер начинаю:

— Я был вчера в Северном кафэ, когда двое ваших агентов арестовали моего друга г-на Разуа.

Начальник женевской полиции прерывает меня:

— Значит, вы тоже из коммунаров?

— Да, сударь.

— Вас зовут?

Я назвал свое имя, чем занимался.

— Я хочу откровенно поговорить с вами. Если бы мне предстояло быть арестованным, как это только что случилось с моим другом, я предпочел бы продолжать путь, немедленно покинуть Швейцарию и направиться в Бельгию...

— Нет, — сказал начальник полиции. — Оставайтесь. Требования выдачи эмигрантов действительно были обращены к нам...

Он пробежал какой-то список:

— Ваше имя не упомянуто. Если мы арестовали г-на Разуа, то это для того, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом. Если французское правительство не представит нам никаких до-

казательств того, что им совершено уголовное преступление, мы вернем ему свободу [1].

— Вы разрешите мне передать наш разговор моим товарищам?

— Пожалуйста. Как вам будет угодно.

Я остался в Женеве. Никаких доказательств так, конечно, и не было выставлено против Разуа, хотя потерявшая голову реакция и пыталась обвинить его в краже чемодана и пары сапог из комнаты, которую он занимал в бытность свою комендантом военной школы.

Эта басня о паре сапог наделала немало шума в Женеве. Демократические круги с величайшей энергией протестовали против нарушения права убежища. Разуа была возвращена свобода.

С тех пор вопрос о выдаче изгнанников Коммуны никогда больше не поднимался.

---

[1] Разуа, арестованный 17 июля, был отпущен на свободу в конце августа так как французское правительство не представило никаких доказательств в подкрепление своего требования выдачи. Подробности см. в книге «Французская эмиграция в Швейцарии» А. Клариса, Женева 1873. Национальная библиотека Lb[57], 1702.

В ИЗГНАНИИ.

МОЙ ДРУГ ПОЛКОВНИК.

ЖЕНЕВА.

Июль 1871 года.—Утро. Я в Женеве со вчерашнего дня. Какая славная ночь—первая спокойная ночь после ужасов разгрома—в маленьком отеле по соседству с вокзалом, где я сошел. Конец обыскам, конец арестам, конец опасностям, не дающим сомкнуть глаз и заставляющим настораживать слух. Я свободен! Свободен! Легким шагом спускаюсь я по улице Монблана. Ледяной гигант сверкает там далеко, далеко—во Франции. У меня нет никакого желания отправиться полюбоваться им вблизи. Я еще слишком боюсь жандармов.

Кто-то хватает меня за плечи, душит меня обеими руками, целует в обе щеки.

— Я узнал вчера вечером, что ты здесь...

Это Брюнеро [1].

Брюнеро — командир 228-го батальона. «Страшный скорняк с улицы Мучеников», как зовут его версальские газеты. Брюнеро дрался, как лев. В Женеве он уже недели две

К революционному движению Брюнеро примкнул в последние годы Империи. Он близкий друг Феликса Пиа и Гамбона [2]. Тесть Громье, секретаря Пиа, того самого, который на банкете 21 января 1870 года в Сен-Мандэ произнес знаменитый тост «за пулю» [3]. Он рассказывает мне, что, судя по тому, что ему пишут

---

[1] Брюнеро (Луи), бывший делегат комиссии труда в Люксембурге в 1848 году. Командир 117-го батальона во время осады и 228-го после 18 марта.

[2] Гамбон (Фердинанд), член Коммуны (от 10-го округа), бывший народный представитель в Учредительном Собрании (1848), депутат Национального Собрания (1871), член Комитета Общественного Спасения (с 10 мая).

[3] «За пулю», которая убьет Наполеона III. Автор тоста был Феликс Пиа. *(Прим. ред.).*

из Парижа, его обвиняют во всех решительно злодеяниях. Так как его меховой магазин на улице Мучеников находится совсем рядом с Нотр-Дам-де-Лорет, то уверяют, что он пытался поджечь церковь. Это он основал клуб, который заседал по вечерам в святилище! Словом, во всем виноват он! Вот откуда это прозвище «страшный скорняк».

Рассказывая мне это, Брюнеро смеется своим добрым смехом.

Я смотрю на него. Поражение не коснулось его здорового коренастого тела. На широких плечах сидит могучая голова. Властное лицо с упрямым лбом и блестящими черными глазами, седеющая борода и усы.

Брюнеро называет мне тех, кто сейчас в Женеве.

— Здесь Арну, Мартеле [1], Кларис, Алявуан, Леграндэ [2], Кердеруа, Шардон...

— Как, Шардон здесь?

И передо мной тотчас же встает фигура Шардона, одетого в свой блестящий мундир полковника и военного коменданта бывшей префектуры полиции. В этом мундире Шардон имеет очень внушительный вид. Высокий, прямой, солидной комплекции, светлые усы, оттеняющие полное румяное лицо, светло-голубые глаза. А как лихо носит он—сразу чувствуется бывший солдат—свой мундир с красными отворотами и золотыми пуговицами. Прекрасен он и верхом, когда с красным шарфом члена Коммуны через плечо, с золотыми кистями, болтающимися по эфесу сабли, в сверкающих на солнце ботфортах, с сдвинутым на ухо кепи с пятью золотыми галунами, проезжает он по бульвару Сен-Мишель, сопровождаемый на почтительном расстоянии своим вестовым. Иногда, заметив кого-либо из нас на террасе какого-нибудь кафэ — Клюни, Суффле или д'Аркура, он останавливает своего коня и соскакивает на землю, бросая поводья вестовому, который почтительно ожидает гражданина полковника.

Однажды вечером, когда канонада злобно грохотала со стороны Исси, я встретил Шардона с двумя офицерами его штаба, которые мчались во весь опор по мостовой.

— Куда ты? — крикнул я ему.

— В Исси. Там жарко,—бросает мне на ходу один из всадников.

Дело было в первых числах мая.

С тех пор я уже не встречал больше Шардона, но часто после разгрома, вспоминая о тех, кто не давал о себе знать, думал я и о блестящем полковнике... Жив?.. Умер?..

И вот, оказывается, он жив.

---

[1] Мартеле, член Коммуны (от 14-го округа).

[2] Леграндэ, командир батальона национальной гвардии после 18 марта. Позднее муниципальный советник квартала Клиньянкур (на Монмартре.)

— Итак, он здесь?

— Да. Не прошло и недели с того вечера, как он ввалился к нам в Северное кафэ без предупреждения, весь в угольной пыли...

И на мой вопросительный взгляд:

— Ах, да! Ты ничего не знаешь. Ну, так вот, для того, чтобы перейти границу, Шардон сговорился со своими старыми товарищами по мастерским Орлеанской железной дороги, где он работал когда-то по котельному делу. Заручившись согласием машиниста и истопника женевского поезда, эти ребята заперли его— да, именно заперли—в угольном вагоне. Они устроили ему в куче угля тайник—настоящую нору, куда беглец и зарылся. В Бельгарде остановка, проверка паспортов. Мой Шардон совершенно спокоен. Как только поезд снова тронулся, друзья высвободили его. Он так обрадовался женевской мостовой, что даже не дал себе труда пройтись щеткой по своему костюму. Его можно было принять за углекопа, вылезшего из своей шахты.

— Здорово! — воскликнул я, смеясь. — Мы его увидим?

— Конечно. Он на улице Сандрие, в двух шагах отсюда.

Мы остановились перед котельной мастерской. В окно можно было разглядеть пять или шесть человек, работавших за станками. Один из них стоял спиной к окну; он был в холщевой куртке и синих штанах.

Брюнеро постучался в окно.

Человек в холщевой куртке оборачивается.

Это—Шардон. Он самый. Член Коммуны, избранный тринадцатым округом, блестящий полковник в сапогах со шпорами, вернулся к своей меди, кранам и котлам, которыми полна мастерская.

Увидев меня, Шардон так и кинулся ко мне.

— Это ты, малютка... Боже мой! До чего я рад.

Приближается час закрытия мастерской; Шардон жмет руку хозяина и товарищей, и мы уходим все трое.

— Я только чуточку приоденусь, — говорит Шардон. — Я живу рядом, на улице Вильгельма Телля. Да! Это уже не то шикарное помещение в префектуре... Комната за двенадцать франков в месяц... Ну, пока, через полчаса, в Северном...

По прошествии получаса пунктуальный Шардон, со смеющимися голубыми глазами, завитыми кверху усами, в черном бархатном жакете, с тросточкой в руках присоединился к нашей компании. Сразу видно, что это кавалерийский офицер, переодетый в штатское платье. Мундир, увы, далеко...

Мы отправились обедать в ресторан Жюж, окна которого выходили на Рону.

Весь вечер мы проговорили, как и следовало ожидать, о минувших днях, о пропавших без вести друзьях, о Риго, которого некоторые упорно не хотели считать погибшим, о тех, в чьей смерти нельзя было сомневаться и кого нам уже не суждено было увидеть.

— Уже поздно, десять часов, — вдруг заявляет Шардон.— А ведь я должен быть завтра в шесть часов в мастерской.

За все время своего пребывания в Женеве Шардон не оставлял своего станка в улице Сандрие. Не проходило и дня, чтобы я не забегал туда перекинуться с ним словечком.

Как сейчас встает в моей памяти высокая фигура Шардона на фоне вывески его мастерской. Из-под широко распахнутой рубашки выглядывает здоровая грудь, покрытая каплями пота и выпачканная зеленой краской—зеленой ржавчиной меди, по которой он не перестает колотить.

О чем думал в эти долгие часы работы бывший член Коммуны? — Я спросил его однажды об этом.

— Каково тебе было снова приняться вот этак за работу?

— Мне? Так ведь нельзя же было вечно оставаться полковником. Я об этом больше и не думаю.

Неправда. Он об этом думал. Каждый вечер, окончив работу, он приходил к нам, и начинались бесконечные разговоры о тех днях, которых нельзя было вырвать из нашей памяти.

Отличный работник, Шардон был скоро замечен. Одна крупная женевская машиностроительная компания послала его в Египет, потом в Гаванну и на Гаити, для установки машины по выделке льда системы Рауля Пикте. Он остался в Порто-Пренсе, где открыл ресторан и сколотил себе маленькое состояние.

Однажды вечером в 1900 году, в редакции «Радикала» мне доложили, что меня спрашивают.

Это был Шардон, которого привел ко мне Алявуан.

Он был все такой же великан, но великан, у которого отросло брюшко. Все существо его дышало самодовольством. В петлице у него торчала трехцветная ленточка.

— Это еще что такое? Вот уж не ожидал, что ты будешь пожалован орденом. Если бы вернулась Коммуна, хорошо бы это пошло к твоему мундиру, а?..

— Послушай, старина, — заговорил Шардон, когда мы вышли, — я заслужил это тоже на поле битвы. Во время одной эпидемии. Говорят, я там отличился. Мне предлагали красную ленточку. Я предпочел взять трехцветную, которая, при всей своей скромности, так же, как и красная, дается за громкие заслуги.

— Трехцветная! И тебе не стыдно...

Шардон удалился на покой на свою родину в Вьерзон. Он там и умер, окруженный всеобщей любовью и уважением. У него была сестра монахиня. Мне говорили—но я не ручаюсь за достоверность этого факта,—что, не оставив никакого завещания своим близким, бывший член Коммуны, полковник и комендант префектуры полиции, друг Рауля, Риго, Ферре и Дюваля, был погребен возле церкви.

ПАПАША ГАЙЯР.

ЖЕНЕВА.

Конец июля 1871 года.—На террасе Северного кафэ Массене, Кердеруа, Фено, Норо и я. Массене был чем-то в роде полковника. Кердеруа—командиром батальона в девятом округе. Фено—председателем лиги уроженцев юга. Норо—начальником четвертого легиона. Мы разговариваем о своих похождениях. Как удалось бежать тому или другому. Массене рассказывает, что он воспользовался мундиром своего родственника, жандармского офицера. Подходит Эдмон Базир, бывший сотрудник «Марсельезы» Анри Рошфора.

Базир не принимал большого участия в Коммуне. Все его участие выразилось в том, что он посылал корреспонденции в брюссельскую газету «Либерте». Но у него очень плохая репутация. Однажды, в феврале 1870 года, в тот момент, когда императорский экипаж выезжал на набережную, Базир взобрался на плечи соседей и крикнул своим заикающимся голосом: «Да здравствует Республика!» [1]. В Париже он посещал салон Нины [2], где бывали

---

[1] «Le Rappel» от 10 февраля 1870 года в следующих выражениях описывает его арест: «Г-н Базир, сотрудник «Марсельезы», был арестован в два часа дня на набережной Оранжереи. Император прогуливался по террасе, когда г-н Базир поднял шляпу и крикнул: «Да здравствует Республика». Агенты набросились на него, и он был арестован».

[2] Нина Гайяр, известная под именем Нины де-Виллар, музыкантша и поэтесса. Разведенная жена Гектора де-Каллиа, журналиста, брата живописца Горация де-Каллиа. В своем доме на улице Шапталь Нина открыла салон литературной и артистической богемы, где наряду с поэтами и художниками бывали революционеры, как, например, Рауль Риго и некоторые другие. Напуганная версальскими репрессиями, она бежала в Женеву. Там она давала концерты классической музыки, при чем на эстраду ее выводил бывший член Коммуны Бабик, одетый в польский кафтан, застегнутый доверху, в высоких сапогах и красном кушаке. Недовольная публика скоро разбежалась. Вскоре Нина вернулась в Париж и поселилась со своей матерью на улице Монахов в Батиньоле, где продолжала держать открытый салон.

такие подозрительные личности, как Рауль Риго. Всего этого было вполне достаточно, чтобы быть арестованным и запертым в тюрьму Оранжереи.

— Не подсядешь ли к нам?

Базир садится. Массене кончает в это время свой рассказ.

— Со мной, — начал Базир, — было еще забавнее. Я прибыл сюда в похоронном вагоне...

Мы разражаемся хохотом, тем более естественным, что этот славный Базир со своей густой, курчавой шевелюрой, с длинным больным лицом, большими глазами на выкате и с искалеченной рукой, действительно, имел самый мрачный вид, какой только можно себе представить.

— В похоронном вагоне! Ха, ха, ха! — заливается Норо, большой весельчак.

— Да, я искал себе паспорта и никак не мог его раздобыть. И вот однажды мне сообщают, что один из моих друзей везет за границу тело своей жены, незадолго перед тем скончавшейся. Он предлагает мне сопровождать его под видом брата покойной... Мы занимаем с ним два места в траурном вагоне. Начинается проверка паспортов. Я строю по возможности более похоронную физиономию... Комиссар отворяет дверь. При виде двух людей, склонившихся над гробом, он останавливается, обнажает голову и отдает поклон... Поезд трогается... Та же сцена на границе.., Мне оставалось только утереть свои слезы...

Базир кончил.

— А ты? — обратился я к Кердеруа.

Кердеруа собирается рассказывать нам свою историю, как вдруг толчок локтем заставляет меня оглянуться на моего соседа Массене.

— Что такое?

— Не находишь ли ты, что это папаша Гайяр... Вон там, напротив нас, с Кларисом?

Папаша Гайяр — Гайяр-старший, как его называли в конце Империи, в отличие от его сына, Гайяра-младшего — революционного поэта и рисовальщика, — был назначен Росселем главным руководителем по постройке баррикад. Он подал в отставку за несколько дней до разгрома, что не избавляло его, конечно, от неизбежного расстрела. Газеты описывали его смерть, так же, как они описывали смерть Валлэса, Билльорэ и других, которые, как нам известно, благополучно здравствуют. Словом, еще один воскресший из мертвых.

Оба гуляющих подошли к нашему столику. Кларис, бывший начальник отдела печати министерства внутренних дел во время

Коммуны, в Женеве уже несколько недель. Его сопровождает человек, одетый во все черное, с гладко выбритым лицом.

— Это он, — шепчет мне Массене. — Уверяю вас, что это папаша Гайяр... Взгляните только на его нос... Второго такого носа нет на свете...

Нос папаши Гайяра, действительно, не имеет себе подобного в мире. Такой нос имеется только у него. Каким образом полицейские ищейки пропустили на границе нос, который выдает человека с первого взгляда! Никогда еще носовой придаток порядочного человека—ибо папаша Гайяр человек вполне порядочный, если уж на то пошло, честный и работящий—не был более странным образом изогнут, перегнут и приплюснут. Наш друг Леон Массоль [1], который в качестве инженера строящейся линии Женева—Аннемас, с'ел собаку в математике, при первой же встрече с папашей Гайяром нашел бы вероятно, что этот нос представляет из себя гиперболический параболоид.

Из Элизия почивших коммунаров, где ты восседаешь, конечно, в карманьоле и фригийском колпаке, прости мне, мой старый Гайяр, эту невинную шутку...

Кларис встретил папашу Гайяра на улице Монблана. Старый баррикадист—Гайяр, бывший участником движений 48 и 51 годов, перевалил за пятый десяток, что у нас, молодежи, считалось уже старостью—с утра искал, где бы можно было найти бежавших в Женеву товарищей.

Гайяр садится. Взаимные представления и рукопожатия. Массене единственный из нас знает его, так как встречался с ним по служебным делам во время Коммуны. Базир встречал его во время Империи в редакции «Марсельезы». Я видел его в клубах и народных собраниях, и в том числе на собрании в Бельвилле в самый день 4 сентября. Этот вечер навсегда остался в моей памяти.

В зале—это была концертная зала—теснится шумная толпа. Я вхожу с Валлэсом. Мы занимаем места в президиуме.

Вдруг через толпу протискивается человек с непокрытой головой, седеющей бородой и такими же волосами и бросается к эстраде.

— Граждане, жандармы Пьетри перевооружены, они преследуют патриотов. Измена!

И оратор выхватил топор, скрытый под полой его сюртука. Он взмахивает им и кричит:

— К оружию! Поможем нашим братьям!

---

[1] Массоль (Леон), инженер. Впоследствии посвятил себя пастеровским исследованиям. Умер в декабре 1909 года членом Комитета Пастеровского Института и заведующим лабораторией по бактериологии при Женевском университете, создателем которой он является.

Толпа в смятении. Какой-то человек, ища выхода, ударяется головой в зеркало, которое принял за открытую дверь. Зеркало разбивается. Человек рычит от боли. Керосиновая лампа срывается со стены и падает. Смятение...

— Не удрать ли нам? — шепчет мне на ухо Валлэс.

Мы уходим через артистический под'езд. Попадаем во двор, засаженный деревьями. Через пять минут мы возвращаемся. Зала пуста.

Человек с топором и был папаша Гайяр.

Гайяр сидит между Норо и Кердеруа и молчит. Я рассматриваю его. В черной одежде, с гладким матовым лицом, он имеет вид церковного сторожа. Куда девался блестящий полковник, которым я любовался, когда он стоял на откосе здоровенной баррикады, воздвигнутой им при входе в улицу Риволи?

Я, как сейчас, вижу полковника, застегнутого в щегольской мундир и залитого ярким майским солнцем. Сюртук с красными отворотами, сбоку шпага. Револьвер, заткнутый за лакированный кушак. Золотые кисти темляка болтаются на бедре. Пять золотых галунов на рукавах и кепи. Блестящие сапоги. Сюртук с двойным рядом золоченых пуговиц. Фотография Гайяра является лучшим источником для ознакомления с военными костюмами великого парижского восстания.

Через несколько недель после его первого появления в Северном кафэ я снова встретил Гайяра. Он отпустил большую бороду, которую носил и раньше. С обнаженной головой и развевающейся по ветру гривой волос он шагал бодрой походкой с узелком в руке.

— Куда ты?

— Я? Иду искать работы.

Папаша Гайяр, также как и Шардон, полковник и котельщик, быстро вернулся к работе. Отличный сапожник, настоящий артист своего дела, он живо приобрел себе клиентуру. Одно время в высшем обществе Женевы вошло в моду заказывать обувь у сапожника-коммунара.

Не помню уж почему, папаша Гайяр оставил свою сапожную мастерскую и открыл в Каруже, около границы, маленькое заведение, которому дал название «Кафе Коммуны».

На углу одной улицы узкая зала с несколькими столиками и редкими посетителями, если не считать иностранцев, привлеченных парижскими газетами. Англичане и американцы, которые приезжали в Каруж с женевским трамваем поглядеть на папашу Гайяра, готовились увидеть там главарей Коммуны, утоляющих свою жажду стаканами крови или, по меньшей мере, обдумывающих ужасные заговоры. Их ожидало полное разочарование. Единственной достопримечательностью «Кафе Коммуны» были разве-

шанные по стенам залы многочисленные фотографии, изображавшие, само собою разумеется, воздвигнутые папашей Гайяром баррикады. Посредине висел портрет старого баррикадиста, изображенного во весь рост кистью его сына. Это было все.

Когда в начале 1873 года я покинул Женеву, чтобы переселиться в Альторф, я совсем потерял из виду папашу Гайяра. Мне суждено было снова встретиться с ним только много лет спустя.

Однажды—это было лет двенадцать тому назад—я зашел в Ратушу повидать моего друга Калле, тоже бывшего коммунара. Калле был в то время управляющим коммунальными домами. Разговор коснулся папаши Гайяра.

— Хочешь повидать его? — спросил меня Калле.

— Почему бы и нет.

— Ну, так ступай на площадь des Petits-Pères № 2. Постучи в окошко швейцарской. Папаша Гайяр откроет тебе.

Состарившись, Гайяр, не имея за душой ни гроша, выхлопотал себе место швейцара в одном из зданий, принадлежащих городу Парижу. Это Калле назначил его сюда.

Я стал навещать папашу Гайяра. Каждый раз, когда я проходил мимо него в хорошую погоду, я облокачивался на решетку широкого окна, за которым он неустанно колотил по подошве.

В последний раз я встретил его на набережной. Он шел впереди меня, прямой, сухой, с совершенно белой головой, по обыкновению обнаженной, раскачивая в левой руке черный пакет, вероятно сапоги, которые он нес сдавать. Я обогнул его, но он меня не заметил. Я хлопнул его по плечу.

— Ну, как дела?

— Видишь ли, — печально ответил мне старый товарищ по борьбе, — я старею (ему было больше восьмидесяти лет) и уже не вижу хорошенько.

Я взглянул на него. Зрачки его были бесцветны и словно пусты. Мы прошли вместе шагов пятьдесят.

— Ну, пока...

Несколько дней спустя, открывая «Temps», я нашел некролог старого баррикадиста. Папаша Гайяр угас в почтенном возрасте восьмидесяти четырех лет, оставив, как мне передавали, сына, еще совсем молодого, которого он окрестил Жан-Полем, в честь своего учителя *Друга Народа*.

Ирония судьбы: Гайяр—революционер, поклонник Марата, не утративший пыла до самых последних дней, носил имя Наполеона.

НА ГРАНИЦЕ.

Первые числа сентября 1871 года. — Мы назначили друг другу свидание на мосту Монблана. Нас будет человек двенадцать. Мы дойдем до границы, до Гран-Саконне. Это недалеко. Часок ходьбы. Мы разопьем несколько бутылочек белого вина, закусив хлебом и ломтиком грюерского сыра. С наступлением ночи мы вернемся по холодку.

Граница! Кто не жил в изгнании—в особенности первое время—тот не может понять, сколько муки и вместе сладости таит в себе это слово—граница.

Граница—это цепь, как в гетто [1], которая закрывает изгнанникам дорогу к родине. Если мы перешагнем этот барьер, нам грозит каторга или ссылка, а может быть и столб в Сатори.

И все-таки мы любим, эту цепь!

Уже не раз подходили мы к ней. Останавливались с бьющимся сердцем. По ту сторону дороги, через которую мы перемахнули одним прыжком наших молодых ног, земля такая же, как та, на которой мы сейчас стоим. У деревьев та же листва. На лугах те же цветы, красные и золотистые. И все-таки, нам кажется, что у той листвы и у тех цветов более живые краски и более нежный запах...

Как-то, отправившись в Шен, где обосновался Клюзере, мы дошли до самой границы. Остановили крестьяночку в белом чепчике с румяными, как яблочко, щеками, которая собиралась перейти деревянный мостик ручья, омывающего оба берега, Швейцарии и Савойи.

— Нарви нам букет цветов, там на той стороне!.. — крикнули мы ей.

Девочка глядела на нас, и ее взгляд, казалось, спрашивал, в своем ли уме эти люди.

Цветов! Да разве их мало было у нас под руками!

---

[1] Часть европейского города средних веков, населенная исключительно евреями и запиравшаяся на ночь на цепь, дабы отгородить еврейское население его от христианского. *(Прим. ред.)*.

Один из нас подозвал ее и дал ей серебряную монету. Через четверть часа она вернулась к нам с охапкой золотистых лютиков, полевого маку и васильков, которую она, смеясь, положила на стол, вокруг которого мы сидели.

Это были цветы оттуда, с другой стороны гетто. Цветы, которых мы не смели пойти собирать, чтобы наслаждаться их ароматом.

Сегодня нас собралось десять на мосту Монблана.

— Что же это не видать Малона? Между тем он уверял нас, что придет...

— Он у Гаффио, — сказал кто-то.

Гаффио — изгнанник из Крезо, как и Дюмэ [1]. Он корзинщик. Целый день плетет он в своей большой комнате на улице Роны корзины. Как-то утром я поднялся к нему. Он мастерил из тоненьких прутьев клетку для цыплят. Малон, сидя возле него, работал над корзинкой. Он поклялся как-то, что сделается таким же отличным корзинщиком, как и его хозяин Гаффио, который улыбается в свою прекрасную черную бороду, видя, как его ученик путается в прутьях.

Один из нас бежит в Гаффио. Малона там нет.

— Ну, в дорогу!

Остальные все в сборе.

Артур Арну, бывший член Коммуны от четвертого округа, до осады сотрудник «Марсельезы» Рошфора. В застегнутом на все пуговицы жакете, высокий и прямой, не будь этих длинных, откинутых назад волос, он мог бы сойти за кавалерийского офицера на летнем отдыхе. Наш друг полковник Шардон, сопровождавший Дюваля—генерала, память которого славная смерть сделала священной для нас — на равнину Шатильона.

Бабик [2], избранный в Коммуну десятым округом, последователь фузионистской религиозной секты, помечающий свои письма «Женева — Иерусалим, год 26-й новой эры». Разуа [3], бывший комендант военной школы, сложивший свои полномочия депутата Национального Собрания. Брюнеро. Петит и Перье, капитаны нацио-

---

[1] Дюмэ (Жан Баптист), рабочий-механик, мер Крезо после 4 сентября, провозгласил там Коммуну 25 марта. После подавления движения удалился в Швейцарию и вплоть до амнистии принимал участие в работах по прорытию Сен-Готтардского туннеля Впоследствии был депутатом Парижа.

[2] Бабик, член Коммуны (от 10-го округа). Член комиссии юстиции и комиссии общественных работ.

[3] Разуа (Эжен), литератор, отставной вахмистр спаги, сотрудник газеты «Le Réveil» («Пробуждение») Делеклюза. Депутат от Парижа в Национальном Собрании (1871), подавший в отставку. Полковник и комендант Военной школы (во время Коммуны).

нальной гвардии. Кларис. Отец или вернее брат Мас, который со своим другом Тарифоком организовал масонские манифестации на бастионах и аванпостах Нейи.

Мы идем маленькими группами. Я с Разуа и Петитом.

Что за славный малый этот Петит, рослый парижанин и искусный часовщик! Многие из нас еще сохранили часы, которые он сработал для нас, украшенные фигурой Республики (работы Курбе) или какой-нибудь республиканской датой, вырезанной на внутренней стороне крышки. Я знаю Петита со времени осады. Высокого роста, богатырского сложения, с опущенными книзу усами, крепкой челюстью, выдвинутой вперед, словно он собирается кусаться, он ходит, сдвинув шляпу на затылок, всегда готовый зарычать. Петит — пугало мирных буржуа из Северного кафэ. Однажды вечером, повздорив с кем-то, конечно из-за Коммуны, он ухватился своими двумя лапами, похожими на пару здоровенных тисков, за мраморную доску стола и стал грозно размахивать ею. В один миг зала опустела. А мой Петит, громко расхохотавшись, как ни в чем не бывало, опустил доску на ее литые ножки.

— Стадо мерзавцев! — кричал он вне себя, растягивая слова на парижский лад.—Мямли проклятые! Пусть попробуют-ка ругать при мне Коммуну!

Знойный день.

Разуа молчалив. Его мысли витают, должно быть, где-нибудь далеко, в Африке. Легкими ударами тросточки сбивает он цветы, растущие у дороги. Неделю тому назад он еще сидел в камере женевской тюрьмы, так как фрацузское правительство потребовало его выдачи. Петит отдувается и вытирает вспотевший лоб, рассказывая мне в двадцатый раз все свои подвиги в день 22 января на площади Ратуши.

— Ах, старина! Это надо было видеть. Мои карманы были полны маленькими бомбами, величиной с голубиное яйцо. Я был совсем близко от решетки, под самыми окнами, из которых шла стрельба... Я видел торчавшие передо мной дула ружей. Трусы! Они стреляли, прячась за стенами... Ну и угостил же я их своими орехами... Я слышал, как они лопались с сухим треском... Паф... Паф... Я убрался только тогда, когда увидел, что с набережной подходит Клеман Тома [1] с войсками.

Слушая Петита, я тоже припоминаю эти бомбы 22 января. У него они даже остались. Вечером, в пивной Сен-Северен, где

---

[1] Клеман Тома, главнокомандующий сенской национальной гвардией (с 4 ноября 1870 года). Арестованный 18 марта на Монмартре, был расстрелян на улице де-Розье вместе с генералом Леконтом.

мы собрались после подавления восстания, Петит вертелся среди нас в своем костюме капитана 130-го батальона, потряхивая рукой, засунутой в карман блузы, той полдюжиной бомб, которая осталась у него неизрасходованной, как если бы это были не бомбы, а конфеты.

—Однако, чорт, ты ведь всех нас взорвешь!

Разуа отделился от нас и шел, задумчиво размахивая тросточкой, по кустарникам. Теперь Петит обращался ко мне одному:

— Ты, наверное, помнишь, что 22 января на площади Ратуши были кучи песку. Когда раздались выстрелы бретонских мобилей, ты бы видел, как все бросились на землю и залегли за кучами. Что-ж! Своя рубашка ближе к телу. Это понятно... Я лично продолжал бросать свои бомбы на удачу... Не знаю, каким образом, делаю несколько шагов назад и натыкаюсь на человека, расплюснутого, точно клоп... Офицер, старина. Да, офицер... В блузе с мохнатым ворсом и четырьмя серебряными галунами... Я схватил его за... шиворот. Заставил его сделать полоборота. Поставил на ноги...

— И что же?

— Что же! Ах, нет! Уж и не знаю, говорить ли тебе...

— Ну же, валяй!

Разуа приблизился.

— Ну, и... это был...

Тут он назвал одного из наших самых дорогих друзей и членов Коммуны.

— Вы понимаете, — глубокомысленно прибавил Петит. — Вы понимаете, как я должен был себя чувствовать.

Сидим за большим столом у входа в харчевню Гран-Саконне.

Приносят бутылки и стаканы.

Отец Масе продолжает разговор, начатый с Бабиком, повидимому, еще в пути. Тот слушает его с видимым уважением.

Высокий, худой, уже сгорбленный, хотя ему не более пятидесяти лет, Бабик рассказывал нам недавно о том, что ему пришлось выстрадать, когда он работал простым чернорабочим по постройке укреплений в 1840 году. Старый фузионист—наша радость. По вечерам он нам рассказывает, что ходил в лес вызывать духов. Мы не очень-то в это верим, но зато хорошо знаем, что в хорошую погоду он отправится в лес с корзиной в руке, как добрая хозяйка, и принесет нам полную корзину прекрасных грибов, лисичек, похожих на маленькие красные деревца.

— Да, — говорит Масе, мурлыкая. — Это я водрузил на валу знамя ложи «*Будущее человечества*». Прекрасное знамя, вышитое золотыми храмами и циркулярами. Ну и свистели же вокруг меня снаряды!

— Иди ты, гражданин Масе, — сказал, смеясь, Жосселен[1], — не морочь нас попусту. Ну, скажи, по совести, похож ли ты на человека, бывавшего в огне?

Действительно. Масе имеет самую мирную буржуазную внешность. Фабрикант железных кроватей, он скомпрометировал себя слегка своими масонскими выступлениями. Впрочем, в этом и выразилось все его участие в Коммуне. Об'емистое брюшко, круглое бритое лицо над высоким воротничком à la Гарнье-Паже, Масе носит нанковые панталоны, доходящие до половины икры, такие широкие, что они болтаются на нем, точно белый флаг. Под его шляпой панамой могла бы укрыться целая семья. Нет, Масе совсем не похож на бунтаря.

У Жосселена тоже почтенная внешность. Но он был членом комитета 18 марта, потом начальником 18-го Монмартрского легиона. С ним не до шуток. Это вождь армии. Однажды, когда мы мечтали с ним вслух о будущей революции, Жосселен, бывший по специальности счетоводом, вдруг заявил мне:

— Послушай, ты ведь хорошо знаешь математику? Так вот я хочу брать у тебя уроки тригонометрии. Говорят, это необходимо для артиллериста. Мы должны быть готовы ко всему.

Увы! Добрейший Жосселен уже давно в могиле. А «будущая» еще не пришла.

Наступила ночь. В ста шагах от нас, во Франции, в окнах появляется свет. Сегодня воскресенье. До нас доносятся крики и пение. Должно быть, в деревушке праздник.

Масе окончил свой рассказ. Время от времени один из нас хватает ближайшую к нему бутылку и наливает себе вина в стакан. Все молчат.

— Ну! — говорит, поднимаясь, Шардон, — я вам спою одну песенку. Это нас оживит:

И бывший полковник, с торжественным лицом, обернувшись к огням Франции, затягивает народную песню:

Pauvre exilé sur la terre étrangère,
Rêve souvent au pays, ses amoures...
(Бедный изгнанник на чуждой земле
Часто мечтает о родной стороне...).

Что мы за простодушные коммунары! Подумать только, что, слушая этого доброго великана Шардона, поющего нам взволнованным голосом старую сентиментальную песенку, некоторые из нас чувствуют, как слезы набегают им на глаза.

---

[1] Жосселен (Франсуа), член Центрального Комитета, начальник 18 легиона.

ПРОТО.

ЖЕНЕВА.

Октябрь 1871 года. — Я брожу по набережной Берг. Кто-то хлопает меня по плечу. Брюнеро, конечно. Его можно встретить на каждом шагу. Брюнеро устраивается, как умеет. Он вынимает из кармана хорошенькие круглые коробочки и показывает их мне. Это порошок для придания блеска меди. В ожидании лучшего, он разносит свой порошок по магазинам игрушечников и шорников. Превосходное средство для чистки сбруи и кастрюлей.

— Кстати, у меня есть важная новость для тебя...

— А именно?

— Прото здесь.

— Прото здесь! Значит он спасся!

Никто из нас не знал, что стало с Прото после разгрома. Некоторые утверждали, что он был серьезно ранен. Но где он находился? Только не в Версале. Это было бы известно... И не на понтонах... Где же? Скрывается еще?..

— Где же он? И почему я его еще не видал?

— Он здесь всего со вчерашней ночи. Я приведу его к тебе сегодня вечером... Нынче поутру я видел его с Перье... Ах, и отделали же его!

И Брюнеро в нескольких словах рассказывает мне трагическую историю... Прото, сброшенный с баррикады со страшной раной в щеке... Отнесен на перевязочный пункт... Раздет... Наскоро переодет в штатское платье. Увезен, спрятан, вылечен, спасен...

— Итак, сегодня вечером, — говорит Брюнеро, торопливо пожимая мне руку. — У тебя... Я приведу его обедать... Пьер пришлет тебе пару куропаток, которые твоя женщина нам зажарит... До вечера... Я бегу к одному заказчику... Знаешь, порошок мой идет, но приходится немало бегать...

Я остался один на набережной. Спешу домой на улицу Вильгельма Телля. Вереница воспоминаний встает передо мной... Ван-

домская площадь... Большая столовая в делегации юстиции... Колонна, падение которой я видел... рядом с Прото, стоя на балконе над красным флагом, развевавшимся над входом.

Другое воспоминание. В один из вечеров, когда я задержался, не помню уж почему, до позднего вечера в министерстве, мне приготовили там комнату для ночевки. Комнату—величиной с кафедральный собор и постелью с колонками, напоминавшую алтарь. На камине горящие лампы. Неужели я взберусь на эту постель? Я хватаю одну лампу, прохожу в другую комнату, потом в третью, четвертую. Отворяю последнюю дверь. Уж не галлюцинирую ли я? Лампа дрожит в моей руке. Передо мной на стене висят люди, одетые в блестящие или скромные костюмы. Господа в шитых золотом кафтанах, женщины в корсажах тисненого бархата, длинные плащи под цвет стены. Все повешены за шею. Я подхожу. Оказывается, это маскарадные костюмы... для балов министерства юстиции Империи... Я до сих пор не могу без смеха вспомнить эту историю... Я вернулся в свои хоромы к своей постели с колонками.

Довольно воспоминаний. Пора подумать об обеде к сегодняшнему вечеру. Прибавим шагу, чтобы во-время предупредить хозяйку.

На полдороге к дому я машинально поднимаю голову к крышам. Там, высоко, высоко, в окне самого верхнего этажа торчит маленький красный флаг.

— Ага, папаша Мио дома!

Папаша Мио, это Жюль Мио, бывший член Коммуны, инициатор Комитета Общественного Спасения. Высокая, прямая фигура, волнистая, совсем белая борода, величаво спускающаяся на грудь. Мио — тип старого республиканца былых времен. Он был в ссылке в Ламбессе. Борода настоящего африканского льва, как говорит Валлэс.

Мио, которому за шестьдесят, живет там наверху, в своей голубятне, как старый студент. У него только одна страсть — рыбная ловля. Он проводит все свое время на озере, закидывая или вытаскивая свою удочку. В кафэ он никогда не бывает. Но любит, когда приходят к нему поболтать. Для этого-то он и украсил свою мансарду маленьким красным флагом.

— Если вы видите этот красный флажок, — сказал он нам, — это значит, что я дома. Когда я ухожу на ловлю, я его снимаю.

Красный флаг славного Мио никого в Женеве не шокирует: никто его верно и не замечает. Нас же он преисполняет радости... С террасы Северного кафэ мы видим, как он развевается по ветру, напоминая собой тот, другой, которого уже нет больше...

Наступил вечер. На белоснежной скатерти расставлены приборы. Хозяйка, славная женевка, — мамаша Шовен, как мы ее зовем — предоставила нам свою плиту. Куропатки вышли на славу. Весь день мы проговорили о друге, которого ждем с нетерпением. Шардон, который снимает в той же квартире комнатку за двенадцать франков в месяц, подпрыгнул от радости, когда я ему сказал, что Прото здесь.

— Я приду к кофе, — сказал он.

Звонок.

Первым входит Брюнеро. За ним Перье. С ними Прото. Широкая белая повязка окружает лицо, наполовину закрывая его. Рана. Ужасная рана. Я ее не вижу, но угадываю. Она рассекла щеку, раздробила челюсть. К счастью, у крепкого и дюжего бургундца Прото достаточно крови в жилах. Другой на его месте не выжил бы.

Не заставить ли его сейчас же рассказать свою историю?.. Нет... Подождем. Оставим ее на дессерт, когда придет Шардон.

— Тук, тук.

Это Шардон.

Оба великана—Прото и Шардон, каждый ростом почти в шесть футов — бросаются друг другу в об'ятия. В последний раз они виделись в Ратуше в среду утром, когда языки пламени уже лизали каланчу.

Чувствительный Шардон прямо плачет от умиления... Он не сводит глаз с толстой повязки, окутывающей щеки Прото.

Раненый приподнимает полотняную броню и, указывая пальцем на левую щеку, говорит:

— Вот тут.

Мы видим проходящий по щеке рубец, глубокий, свежий, еще розовый.

— Я был на баррикаде улицы Фонтен-о-Руа и предместья Тампль, — рассказывает Прото. — В пятницу. Мы дрались там с самого утра. К пяти часам дня все защитники пали. Я оставался почти один. Вдруг сильным толчком меня сбросило на землю: разрывная пуля, нанесшая мне семь ран. Мне разорвало щеку, лицо и блуза были залиты кровью...

— Но как же вы уцелели?

— Благодаря редкой самоотверженности товарищей. Кто-то увидел меня из окна. Меня тотчас же перенесли на ближайший перевязочный пункт, где военная форма была сорвана с меня и заменена штатской одеждой. Вслед затем меня перенесли в один из соседних домов. Едва мои спасители покинули со мной перевязочный пункт, как туда явился версальской офицер: «Что вы сделали с человеком, который упал на наших глазах с баррикады? Чорт возьми! Ведь это член Коммуны!» Санитары притворились незнаю-

щими. Они ничего не видали... Мне завязали лицо... Мой спаситель не отходил ни на секунду от моей постели, изображая собой доктора... Однажды к нам нагрянул патруль солдат с обыском. Мнимый доктор заявил, что у меня рожа, и что малейшее волнение может убить меня. Наконец, я более или менее поправился и с паспортом на имя одного из моих друзей покинул Париж... И все-таки я чуть не был задержан при осмотре поезда, когда мы проехали укрепления. К счастью, полицейским комиссаром, которому был поручен этот осмотр, оказался Д., старый товарищ по борьбе в годы Империи, назначенный на эту должность после 4 сентября. Я подал ему свой паспорт. Он внимательно посмотрел на меня... Я уверен, что он меня узнал, хотя лицо мое и представляло из себя сплошной сверток бинтов и тряпок. Он ничего не сказал мне...

Прото умолк. Он встал, поправил с'ехавшую повязку. Мы вышли с ним и отправились к друзьям, которые ожидали его, чтобы отпраздновать его приезд.

Почти сорок лет протекло с того дня, когда в моей комнатке женевского изгнанника я впервые после разгрома увидел делегата юстиции Коммуны.

Вернувшись во Францию после амнистии 1880 года, Прото, преследуемый упорной ненавистью, не смог добиться своего обратного принятия в адвокатское сословие, из которого он был исключен. Еще и сейчас враги его не сложили оружия. Бывший защитник Межи на процессе в Блуа не имеет права надеть на себя адвокатскую мантию.

Если вам случится как-нибудь заглянуть в Национальную Библиотеку, обратите внимание на один из столов в глубине читальной залы налево. Этот здоровый малый, склонившийся над грудой книг, со щекой, изуродованной славной раной, — это Прото.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ.

ЛОЗАННА.

1872 год. — Терраса лозаннского Казино. Сидя за столом, мы убиваем время, пережевывая бесконечные проекты. Не взяться ли за иллюстрированную историю швейцарского народа в нескольких выпусках, как это делается в Париже? Слом сделал бы для нее рисунки. Мы ждем его с пароходом, который должен прибыть вечером из Женевы. Один издатель обещал нам свое содействие. Или начать издавать журнал по вопросу о реформе конституции? Разве не говорят повсюду о пересмотре союзной конституции? Словом, как заработать себе на жизнь? Такова тема всех наших разговоров.

Валлэс, который уже месяц или два как делит с нами изгнание, вытаскивает из кармана записную книжечку, в которую наскоро заносит карандашом какие-то заметки. Он закрывает книжку, кладет ее обратно в карман, затем снова вынимает и пишет еще что-то...

— Статья для Парижа?

— Нет. Автобиография или воспоминания, если хотите...

— Коммуна?

— Нет. Мое детство.

Это заметка для «Жака Вентра» [1].

— Я обработаю их в Лондоне,—продолжает Валлэс...—Кстати, знаете, я был у Агар.

Трагическая актриса, которой было запрещено выступать в Париже, — она выступала в концертах, организованных Коммуной в Тюльери — преследуемая местью газетчиков, предприняла турнэ

[1] Валлэс действительно издал свою автобиографию в форме трилогии «Жак Вентра» («Jacques Vingtras»), первая часть которой называется «Дитя» («L'Enfant»), вторая—«Баккалавр» («Le Bachelier») и третья—«Инсургент» («L'Insurge»). Эта третья часть имеется и в русском переводе 1919 года. *(Прим. ред.)*

по Швейцарии. Она уже несколько дней как в Лозанне, где в этот вечер дают «Горация» или «Сида».

Валлэс рассказывает нам, что, не застав Агар дома, он пошел искать ее в театре.

— Вхожу. Никого. Толкаю дверь. Темно. Ударяюсь лбом обо что-то, что дребезжит, как кастрюля... Каска Горация... Чуть не выколол себе глаза шпагой Сида... Ох, уж эта мне трагедия!

— Но все-таки удалось вам ее повидать или нет?

— Нет. Я ушел. С меня было довольно римлян... Я схожу к ней завтра... Мне сказали, что она пробудет здесь несколько дней... Она должна играть в «Прохожем» Коппе [1] здесь.

С тех пор как наступила хорошая погода, мы живем впятером или вшестером в шале, расположенном на половине косогора, на тенистой дороге, поднимающейся от озера к городу, в Круа-д'Уши, у Понна. Дом под красной черепицей с деревянными балконами по сторонам, откуда открывается великолепный вид на молочную пелену озера, гигантские снежные вершины и, когда воздух прозрачен, на берег Савойи, берег Франции.

Иногда, с биноклем в руках, мы следим за движением парохода, который бросает якорь против нас, в Эвиане. Мы видим пассажиров ростом с муху, спускающихся с палубы по мосткам и проходящих перед двумя французскими жандармами.

Восемь часов. Слом уже должен был бы быть здесь. Я выхожу на балкон. Озеро ужасно. Волны, пенясь и бушуя, бьются о берег, как на океане. Пароход опоздал. Мы наводим бинокль на Уши. Парохода не видно. Проходит полчаса, час, а парохода все нет. Один из наших спускается к пристани. Он возвращается:

— Пароход с большим трудом причалил к Эвиану. Капитан не решился итти дальше. Пароход с пассажирами переправится через озеро только завтра утром.

Недоумение. Значит, Слом в Эвиане? Во Франции. А жандармы? За ним ведь числится приговор по делу Шодэ. Если его узнают? Сцапают? Мы вспоминаем, что за несколько месяцев перед тем такая же или почти такая же история случилась с Клюзере и Разуа, которые тоже застряли, только не в Эвиане, а в Тононе, опять-таки во Франции. Жандармы могли подняться на борт и схватить обоих пассажиров. Они имели на это полное право. Благожелательный к ним капитан промахнул остановку...

Всю ночь мучительное волнение. Вернется ли к нам Слом с утренним пароходом?

---

[1] Франсуа Коппе (род. в 1842 году)—знаменитый французский поэт и драматург, автор пьесы «Прохожий» («Le Passant») и целого ряда других пьес. *(Прим. ред.).*

— Вот он!

Наш друг благополучно переночевал в маленькой гостинице Эвиана. Правда, он был не совсем спокоен. Но, так как его никто там не знает, он вышел цел и невредим.

Это настоящий фаланстер, наш домик в Круа-д'Уши. Мы живем там очень покойно, как добрые буржуа, нисколько не интересуясь тем, что происходит вокруг нас. Избегаем ссор и сплетен, неизбежных спутников изгнания. Ах, это изгнание! В первые дни нет конца восторгам. Об'ятия, поцелуи. Сердце бьется при появлении нового товарища. Но вот наступают горькие часы упреков, подозрений... В такие дни надо держаться в стороне. И вот мы уединились.

За вечерним столом нас собирается около десятка. Всегда одни и те же. Прото с его еще плохо закрывшейся раной. Дессескель, бывший его секретарем на Вандомской площади, жизнерадостный толстяк, с молодой женой, кормящей грудью своего ребенка под шумок наших разговоров. Брикон, один из следователей Прото, взявшийся теперь за медицину (он умер в 1888 году ассистентом доктора Бурневиля в Бисетре). Упомянутый выше Слом, который скитается между Женевой и Лозанной. Я. После обеда появляются новые друзья. Эммануель Делорм, автор ряда песенок, товарищ Валлэса по «Улице» (ежедневная газетка). Я встретил его через несколько дней после перемирия в форме офицера вольных стрелков, в фуражке с четырьмя рядами золотых галунов. Этому бедному Делорму приходится туго. Часто ему и его близким приходится довольствоваться одной рыбой, которую он наловит утром на берегу.

Беда! Озеро опять разбушевалось!

Завтрак и обед. Вот забота, которая возникает с раннего утра. Вечная забота всех изгнанников.

Мы нашли способ, если не новый, то во всяком случае оригинальный, не прибегая к большим затратам, улучшить наше меню. Прото, большой ходок, вечно прогуливается с ножом в руке, срезая себе трости в лесу, которые и обстругивает по возвращении домой. Как-то раз он вздумал пошарить своей палкой в плетне, окружающем великолепные виноградники кантона Во. Был октябрь. Дальновидные улитки спят, уйдя в свою раковинку. Прото обнаруживает там целые семейства улиток с полосатыми коричневыми спинками. Вечером он возвращается с полными карманами.

На другой день мы угощаемся. Прото, как истый бургундец, знает хороший способ приготовления улиток. Мы все принимаемся за работу. Я и сейчас еще облизываюсь при одном воспоминании.

Каждое утро мы отправляемся «за улитками». Добрые жители кантона посматривают на нас с некоторым беспокойством.

— Что они там выделывают, эти черти коммунары?

Скоро в Лозанне только и разговору было, что о парижанах из Круа-д'Уши. Еще вчера никому неведомые, отныне мы стали знамениты.

Эта известность должна была, однако, дорого нам обойтись.

В один прекрасный день почтальон, который оставляет обыкновенно нашу тощую корреспонденцию у нашей хозяйки, мадам Понна, постучался к нам в дверь, держа в руках пачку писем одинакового формата. Там есть по одному для каждого из нас. Я потерял это письмо, но конверт у меня сохранился. Большой пожелтевший конверт, когда-то белый, на котором выделяется черная печать. В овале печати: «Кантон Во. Официально. Префектура Лозанны». На почтовой марке штемпель 20 ноября 1872 года.

Открываем конверты, переглядываемся. Это уведомление об изгнании всех нас с территории кантона.

Изгнании! За что?

— Я пойду к Рюшонне, — говорит Прото.

Рюшонне — член генерального совета кантона. Он всегда относился к нам с симпатией.

Вот что рассказывает нам Прото о своем свидании с Рюшонне.

— Вас обвиняют в том, что вы шумите и скандалите в городе,— сказал советник.

— Как! Мы! Но мы выходим только для прогулки по окрестностям. После полудня мы, по большей части, сидим в библиотеке...

Короче говоря, надо уезжать. Ранняя зима очень сурова. Снег падает большими хлопьями. Перед от'ездом мы подкладываем себе в истрепавшиеся от долгой носки подошвы вырезанные и сложенные вчетверо куски газет.

Мы уезжаем.

Через несколько месяцев после нашего изгнания из кантона Во я перенес свои пенаты в Альторф, где и оставался до 1879 года, поступив на службу в компанию по прорытию большого Сен-Готтардского туннеля.

Однажды утром мне приносят визитную карточку президента конфедерации, г-на Поля Серезоля. Президент остановился в Альторфе, чтобы нанести визит предпринимателю туннельных работ, Луи Фавру.

Фавр в отсутствии. Я сообщаю об этом президенту, который очень любезно приглашает меня разделить с ним завтрак в гостинице «Золотого Ключа».

За завтраком я рассказываю Серезолю о моем изгнании из Лозанны.

— А ведь, пожалуй, это я его и подписал! — восклицает он, смеясь. — Я был тогда членом генерального совета кантона Во. Я в долгу перед вами.

В этот прекрасный солнечный день в Альторфе было назначено так называемое Landsgemeinde. Народное собрание на лугу в окрестностях маленькой столицы кантона Ури, на которое стекается народ и на котором должностные лица отдают отчет избирателям в своей деятельности.

Как только присутствие президента конфедерации стало известно в Альторфе, местные власти приняли меры к тому, чтобы воздать ему почести. Внизу, у под'езда отеля, стоял экипаж, специально для него приготовленный. Президент усаживает меня рядом с собой. В тот момент, когда мы под'езжаем к собранию, барабаны бьют поход в честь самого высокого должностного лица Швейцарии. Тем самым они бьют и в мою честь! Я с гордостью смотрю, как перед моей скромной персоной склоняется знамя кантона Ури, где на золотом поле выделяется черная голова легендарного быка. Полковник Арнольд, в то время председатель генерального совета кантона, улыбаясь подходит пожать мне руку.

А я думаю о том дне, когда, удирая из Лозанны, я — бедная перелетная птица — подкладывал в свои башмаки, пропускавшие снег, подошвы, вырезанные из старых газет.

РАЗУА.

ЗАВТРАК У ВАЛЬЯНА.

Понедельник, 22 мая. Раннее утро. Накануне—после завтрака, на который он пригласил нас к себе на улицу Гренель — Вальян назначил нам, Вермешу и мне, свидание на сегодня в министерстве народного просвещения, — в делегации по просвещению, как тогда выражались.

Свидание!.. Версальцы вошли... Они в Трокадеро... А может быть и ближе...

И я перебираю в памяти вчерашний завтрак — наверное последний, — происходивший в огромной столовой министерства. Дюжина знакомых лиц. Во главе стола г-жа Вальян, мать делегата, женщина высокого ума и доброго сердца, не захотевшая расстаться со своим сыном. Г-жа Жаклар, жена полковника, командующего 17-м легионом, помощника Клемансо в мерии Монмартра во время осады. Г-жа Сапиа, вдова командира батальона, убитого на площади Ратуши 22 января. Флотт. Констан Мартен, генеральный секретарь делегации. Мы двое. Еще несколько человек.

За завтраком разговор все время вертится вокруг вопроса о заложниках и обмене их на Бланки. Флотт строит новый план.

— Мы опорожним тюрьмы, если надо, — говорит он с жаром.— Мы отдадим им всех, попов, чиновников, всех, всех...

Увы! Слишком поздно...

КАФЭ РОГАН.

Я брожу по улицам... Захожу на улицу Сены, к Вермешу... Никого... Накануне вечером я оставил его у Рашель [1].

Перехожу Сену... Площадь Пале-Рояль... Еще только семь часов. Масса федератов под арками Французского Театра... У кого

---

[1] См. выше «Обед у Рашель», стр. 165.

мне узнать последние новости. На террасе кафэ Рогана — Разуа, один.

Разуа в форме полковника. Сюртук с красными отворотами на половину расстегнут, красный пояс. Обнаженная голова. Кепи с пятью галунами возле него на стуле. Сабля между ног.

— Ну?

— Я только что эвакуировал Трокадеро...

Он показывает мне пальцем на свою ногу:

— Осколок снаряда... Щиколотка полураздроблена... Не могу стоять... Возвращаюсь домой... Завтра я буду на ногах и отправлюсь в Ратушу.

— Значит, они на Марсовом поле? Как быстро подвигаются они вперед?

— Почем я знаю?.. Я никого не видал...

Тихо под'езжает коляска.

Разуа приподнимается, опираясь на свою саблю, и опускается на подушки коляски, вытянув свою больную ногу... Мы жмем друг другу руку.

ЖЕНЕВА.

Два месяца спустя. Июль. Женева. Впервые вижу Разуа после нашей встречи в Пале-Рояле. На нем нет уже ни красных отворотов, ни пунцового пояса. Нет и сабли. Взамен этого бархатный жакет и серые нанковые панталоны. Седеющие волосы стоят щеткой на голове. Длинная и острая бородка. Бывший полковник Коммуны с горбатым носом, открытым широким лбом и голубыми глазами сохранил свою военную выправку. Накиньте ему на плечи бурнус, надвиньте на голову феску, и перед вами окажется настоящий спаги.

Дело в том, что, прежде чем стать сотрудником «Пробуждения» Делеклюза, командиром 61-го Монмартрского батальона во время осады, народным представителем (от Парижа) в бордосском собрании и, наконец, полковником и комендантом Военной Школы при Коммуне, Разуа был вахмистром эскадрона спаги в Африке [1].

От своего долгого пребывания в Африке Разуа сохранил привычку молчать и предаваться мечтательной меланхолии.

Он проводит один целые часы, сидя на террасе кафэ и вперив свой взор в горы или в блестящую поверхность озера.

---

[1] Разуа (Эжен), «Воспоминания одного спаги», с предисловием Тони Ревильона. Париж, Ашиль Фор, 1866—См. также «Человек, который убивает» Гектора Франса, служившего в эскадроне Разуа.

О чем он думает? Какие далекие видения приковывают его мысль?

Время от времени он делает глоток из стакана белого абсента, пускает длинную струю дыма из трубки с широкой головкой и согнутым черешневым чубуком и смотрит, как она медленно расплывается и тает в синеве небес. Если в это время товарищу случится принести ему какую-нибудь новость о версальском собрании, какую-нибудь речь Тьера, его синие глаза загораются, брови хмурятся, лоб бороздят морщины... Молчание сменяется резкими словами, гневом...

— Старый мошенник...

Уходит товарищ, и Разуа вновь погружается в свои мечты. Он подливает себе абсенту и пускает новые кольца дыма...

И так каждый день.

КАК ОН БЕЖАЛ.

Северное кафэ. Не помню уж какой это новый беглец прибыл к нам. Он рассказывает нам свою Одиссею. Каким образом он воспользовался услугами доброго жандарма, чтобы пробраться к нам. Он остановился в маленькой деревушке около границы. И так как он довольно сносно владел кистью, то каждый день после полудня с мольбертом за плечами и ящиком красок в руках отправлялся делать кое-какие наброски.

Один раз он расположился в нескольких сотнях метров от границы, которую перейти все-таки не решался. Проходит жандарм, подходит к художнику и смотрит, как он размазывает краской по холсту.

Завязывается разговор.

— Куда это вы собрались? — спрашивает художник.

— В Женеву... во французское консульство...

— Ишь ты, а ведь я никогда этой Женевы не видал.

— Хотите пойти со мною? Это близехонько. Маленькая прогулка...

Отправились в путь. Приходят друзья в Женеву. Жандарм направляется к консульству.

— Вечерком приходите сюда, — говорит добрый Пандор.

И они расстаются, обменявшись рукопожатиями.

— До вечера.

Жандарм ждет и по сей час...

Смех.

Каждый день приносит нам подобные истории. Разуа, слушавший молча, вынимает изо рта трубку и вытряхивает пепел на мра-

мор столика... Мы видим, что он собирается нам что-то рассказать...

— О! Со мной дело было просто. Я нашел — и я горжусь этим — друга, который, правда, не разделяет ни одного из наших убеждений — он аристократ, но очень сердечный человек. Этот богатый и сиятельный друг предложил мне приют, в чем в те позорные времена многие другие отказали бы мне. Он раздобыл мне испанский паспорт на имя Мартинеца. Сам он испанского происхождения, а я из басков и говорю на этом языке... Он взял два места в первом классе и покинул меня только уже здесь, на свободной земле, обняв меня на прощанье. Вот и все. Вы видите, что мой рассказ не длинен.

— А имя этого друга?

— Вы его не знаете... Его зовут маркиз д'Эспелета.

СИЛЬВЕР Д'ЭСПЕЛЕТА.

Много лет спустя я напечатал в «Авроре» статью о Разуа. Газеты сообщали о смерти Антонио д'Эспелета, знаменитого фехтовальщика. Был ли покойный тем человеком, который спас нашего друга? Так или иначе, но я описывал в своей статье его бегство, так, как сам Разуа рассказывал о нем в Женеве. Несколько дней спустя я получил следующее письмо от г-на Сильвера д'Эспалета:

Бордо, 28 апреля 1907 года.

Милостивый Государь,

Я только что оправился от довольно тяжелой болезни, которая помешала мне ранее написать вам, чтобы попросить вас, если это возможно, прислать мне четыре или пять номеров «Авроры» от 5 марта, где напечатана ваша статья «Одно воспоминание».

В этой статье вы ошибочно выводите на сцену моего брата Антуана, никогда даже не видавшего моего старого товарища и друга Разуа: он видел его только один раз, в нашей квартире на бульваре Мальзерб, в тот день, когда я уезжал в Женеву с вышеупомянутым Разуа, загримированным до неузнаваемости и сопровождавшим меня под видом моего личного секретаря Эстебана Мартинеца, бывшего унтер-офицера иностранного легиона.

Уже в ночь после 31 октября мой друг Разуа скрывался у меня на улице Комартен, где я занимал один бывшую квартиру вдовы скульптора Прадье.

Во все время Коммуны я оставался в Париже и часто навещал Разуа в Военной школе, где он занимал всего две скромные комнатки нижнего этажа.

В день взрыва пороховых складов Гро-Кайю я ехал в открытом экипаже в Военную школу вместе с моим товарищем по мексиканской войне, полковником Кодолихом, бывшим ад'ютантом императора Максимилиана, а в ту минуту ад'ютантом австрийского императора.

На авеню де-ла-Мот-Пике мы уступили наш экипаж для перевозки раненых с места взрыва и пешком дошли до Разуа, которому я и представил полковника Кодолиха. Мы пили вместе абсент, и полковник восхищался порядком и спокойствием, царившими в Военной школе.

Крайне заинтересованный об'яснениями, которые ему давал Разуа, он выразил ему свое восхищение прекрасными результатами, достигнутыми благодаря его административной ловкости и способностям.

Прощаясь, Кодолих пригласил Разуа побывать у него в Вене, заверяя его в полном удовольствии, с каким он отплатит ему за его радушное гостеприимство.

Несколько лет спустя после Коммуны, когда всякая опасность для меня миновала, Оливье Пен поместил в газете Рошфора длинную хвалебную по моему адресу статью, излагавшую бегство Разуа и наше совместное путешествие в Швейцарию.

Сообщаю вам эти подробности, полагая, что вам приятно будет узнать, что спаситель нашего общего друга жив и находится еще в добром здравии.

Вместе с благодарностью примите, милостивый государь, мой искренний привет.

Сильвер д'Эспелета.

БЕДНОСТЬ.

Разуа беден. Никогда не вырвется у него ни одного горького слова. Никогда ни малейшей жалобы. Он мог находиться в Версале, спокойно восседать на красном бархате своего депутатского кресла, получать каждый месяц из кассы собрания кругленькую сумму. А он в Женеве. Без всяких средств.

От него никогда не услышишь ни одной жалобы.

Его долг был сражаться в рядах тех, кто дал ему свои голоса. Он присоединился к ним, ни на минуту не задаваясь вопросом, не спрашивая себя о том, идет ли он к победе или к поражению, к изгнанию, может быть к смерти.

В те далекие времена, которые кажутся нам уже легендарными, еще встречались люди — слишком редкие — которые верили в то, что долг не пустое слово.

Разуа был из таких.

Он жил в одном из пригородов Женевы, в Eaux-Vives, у одного приятеля, Фено, которого заставили эмигрировать события на юге.

Время от времени статейка, принятая в какую-нибудь парижскую газету, приносила ему мелочь, которая давала ему возможность посидеть в Северном кафэ, летом на террасе, зимой, дрожа от холода, прикурнуть у печки, не выходя из своей постоянной мечтательности.

Худо ли, хорошо ли,—протекли шесть лет монотонной жизни в изгнании, нарушаемой только вечной сменой надежд и разочарований, когда в один прекрасный день Разуа узнал, что он получает наследство.

Положим, не очень великое наследство.

Приехав накануне в Женеву из Альторфа, где я жил, я шел по мосту Монблана, как вдруг встретился нос к носу с Разуа.

— Да, да, я получаю наследство... Мой брат, кюре, умер. Он оставил мне ренту в 1.200 франков, которые будут выплачиваться мне через посредника. Потому что, вы понимаете, казна наложила бы на нее запрет, если бы в права наследства вступил непосредственно я.

И со смехом показывая мне свои бумажные панталоны в синюю полоску — дело было летом — легкий шерстяной пиджак и шляпу канотье, он сказал:

— Вот я и с иголочки одет...

Тысяча двести франков ренты. Для старого спаги это покой, обеспеченный завтрашний день в кафэ, куда он ходит читать французские газеты, пить абсент, погружающий его в мечтательное полузабытье, и курить свою вечную трубку... Скромное, экономное, счастливое существование... В ожидании возвращения на родину.

СМЕРТЬ.

Я уже несколько дней как в Цюрихе. Телеграмма.

Какой удар! Разуа умер.

Это один из женевских друзей сообщает мне роковую весть:

«Разуа поражен ударом, умер на моих руках».

Он пришел, как всегда, в час абсента в Северное кафэ. Встал из-за своего столика, чтобы подойти к биллиарду. Вдруг поднес руку ко лбу, откинул назад голову и упал.

Вокруг него засуетились. Поспешно прибегает Алявуан, у которого на улице Роны как раз против кафэ своя типография. Разуа, который еще дышит, переносят в его комнату в Eaux-Vives.

— Мы плакали навзрыд, — рассказывал мне потом Алявуан. — Поочередно брали уже похолодевшие руки, звали его. Увы! Его уста сомкнулись навеки.

Разуа умер 29 июня 1878 года в субботу, а в понедельник его снесли на кладбище Плэнпале. В этот самый день Женева праздновала столетие Жан-Жак Руссо. Убранные флагами улицы пересекались триумфальными арками. Дома были в цветах. Светило яркое солнце. Гроб, покрытый красным сукном, двигался между знаменами и гирляндами из листвы. За ним Алявуан нес, держа его высоко над головами, знамя 22-го батальона федератов, со времени великих дней хранимое побежденными, как святыня...

ЭЖЕН ВЕРМЕШ.

АЛЬТОРФ.

Декабрь 1874 года. Сегодня вечером приезжает Вермеш. Уже дней десять, как он выслан из Бельгии. Он укрылся в Маестрихте, потом в Ахене. Оттуда-то он мне и телеграфировал.

Три часа. Я на пароходной пристани Озера Четырех Кантонов, во Флуэльне. Показался пароход. Направляю бинокль на палубу. Я не видал Вермеша со времени разгрома Коммуны и заранее радуюсь тому, что смогу обнять его сейчас. Пароход пристает. Вот и Вермеш с женой и маленьким ребенком.

— А твой багаж?

— Мой багаж?

И он со смехом представляет мне свое маленькое семейство. Тощий чемодан. И это все.

Как только он сообщил мне о своем приезде, я немедленно принялся искать для него квартиру.

На окраине города маленький домик посреди фруктового сада. Я снял второй этаж. Нижний был занят самим хозяином, священником.

Славным священником, ушедшим на покой и живущим в уединении.

— Ваш друг не будет шуметь?

— О нет,—он проводит целые дни за книгами. Поэт...

— Ах, так!—прекрасно, вот и собеседник для меня... Откуда он, ваш друг?.. Что он, так же как и вы... из Парижа?

Все в Альторфе знают, что я участвовал в Коммуне.

— Нет, он приезжает из Бельгии.

Право я не решился признаться в том, что его новый жилец тоже коммунар. Он может не на шутку испугаться, этот почтенный кюре, узнав, что отныне день и ночь под одной крышей будет с ним один из тех бандитов, которые расстреляли заложников...

Сегодня Вермеш переночует у меня. Завтра, когда все его семейство отдохнет с дороги, он пойдет повидать своего кюре. Пусть сам выпутывается, как умеет, если вздумает с ним откровенничать.

По этому случаю я пригласил к обеду одного друга, который не участвовал в Коммуне, но во время войны надел форму командира батальона лионской национальной гвардии. С самого моего приезда сюда мы подружились с ним. Он внимательно слушает рассказы о наших мытарствах. Во время наших прогулок он охотно кричит вместе со мной: «Да здравствует Коммуна!», повторяемое горным эхо. В Альторфе это никого не шокирует.

Этого друга зовут Лотар. Но его поразительное сходство с Наполеоном III заставляет нас называть его Баденгэ [1].

В Альторфе нас, французов, с полдюжины, работающих в компании по прорытию большого Сен-Готтардского туннеля. Лотар заведует продовольственным магазином, устроенным в помещении лесных складов большого туннеля в Гешенене. Он посещает нас в Альторфе по праздникам. Вечером в большом зале гостиницы «Золотого ключа» танцы. Развлечение Лотара в том, чтобы в разгар бала появиться во фраке, с нафабренными усами, зачесанными на виски волосами и широкой красной лентой Почетного Легиона на груди. Он с величественной улыбкой на лице приветствует танцующих.

— Это он! Да здравствует император! Да здравствует Баденгэ! Да здравствует Лотар!

Впрочем, кроме добродушного Лотара в Альторфе, или точнее в Сен-Готтарде, имеется еще несколько коммунаров.

В Айроло, у южного выхода туннеля, живет мой старый друг Ж.-Б. Дюмэ, работающий в мастерских по ремонту машин. Он останется там до самой амнистии. В Гешенене устроился бывший судебный пристав Коммуны — Коммуна назначала приставов,—который держит там трактирное заведение. Это Марселен Шэн, который был назначен приставом постановлением от 28 апреля 1871 года за подписью Прото. Он живет там под именем Рамбо. У него есть помощник, в лице бывшего капитана национальной гвардии Мишо, которого он эксплоатирует немного, посылая его то за тем, то за другим. Мишо протестует и ворчит:

— Посылать меня за молоком. Меня... бывшего офицера!..

В машинных мастерских Гешенена работает и Фернанд Буржа, командовавший при Коммуне канонеркой «Свобода», бывшей канонеркой «Фарси» времен осады.

---

[1] Баденгэ (соответствует русскому «шут гороховый»)—прозвище, данное Наполеону III и очень распространенное в годы Империи как в рабочих массах, так и в кругах революционной интеллигенции. (*Прим. ред.*).

Прибывают все новые и новые друзья. Одни направляются через горы в Италию. Другие приезжают по делам или просто с целью прогулки.

В одно прекрасное июльское утро раздается стук в мою дверь. Красивый старик, с живым взглядом и высокой прямой фигурой. Папаша Белэ. Бывший председатель Коммуны.

Папаша Белэ живет в Невшателе, где не так давно я сидел у него за столом.

— Здравствуйте, молодой гражданин.

Добряк входит и садится.

— Знаете, зачем я побеспокоил вас так рано? Хочу осмотреть работы туннеля. Вы знаете, я ведь тоже был инженером, предпринимателем. Вот и пришел попросить у вас рекомендательного письма.

— Надеюсь, вы позавтракаете с нами?

— Нет. Нет. Я сейчас отправляюсь.

— У вас есть экипаж?

— Экипаж, — смеется бодрый старик... — Экипаж... Да я путешествую пешком...

— Пешком! Но ведь отсюда до Гешенена, по крайней мере, тридцать километров...

— Знаю... Поэтому-то я и отправляюсь сейчас. Я передохну на полдороге, в Амстеге.

Папаше Белэ было в то время около восьмидесяти лет.

Вермеш быстро завоевал своего кюре. Через несколько дней после его приезда я решил навестить его и застал его в саду в дружеской беседе со священником, который называл ему ближайшие ледники и рассказывал старые предания кантона Ури.

Вермеш самый большой домосед, какого я только встречал. Он сидит целый день над своим латинским словарем. Он переводит Ювенала, от которого отрывается только для того, чтобы взяться за неблагодарную работу, которая дает ему средства к жизни. Это «Бубенцы» («Le Grelot»), еженедельный иллюстрированный журнал, который он редактирует почти один для издателя Мадра с улицы Круассан. Покончив с «Бубенцами», он принимается за большой роман-фельетон, «Любовники гильотины», или что-нибудь в этом роде. На моих глазах он написал, по крайней мере, с полдюжины таких романов.

Его единственное развлечение, которым он увлекается до страсти, это—стряпня.

Вермеш сделался выдающимся кулинаром. Уже тогда, когда я жил в Женеве, он прислал мне из Лондона отличный рецепт плум-пуддинга. В Альторфе он долго изучал искусство приготовления фазана, этой чудесной птицы альпийских лесов. Я ни-

когда не упускаю случая, отправляясь на Сен-Готтард, купить хоть одного фазана. Для Вермеша это настоящий праздник.

Стол накрыт и гости сидят, а он не отрывается от своих кастрюлек. Он обязательно должен сам подавать к столу. Я, как сейчас, вижу его смеющееся курносое лицо. Он в белом переднике, на голове колпак из белой бумаги, в роде тех, что носят художники. Он несет обеими руками, с благоговением, точно святые дары, свое восхитительное кушанье.

На завтра он возвращается к своему Ювеналу, а также, увы, и к «Бубенцам» и к толстым романам по два су за выпуск.

Иногда под вечер он заходит за мной, и мы отправляемся в какой-нибудь полутемный кабачек. Он декламирует мне свои новые стихи. Мы вспоминаем былые времена. Легко воспламеняющийся, он вскакивает с места, ударяет по столу:

— Видишь ли, старина, ну так вот... Пусть говорят, что хотят... Наши имена начертаны на бронзовом пьедестале истории.

Он снова садится на свое место, пуская огромные клубы дыма и покручивая привычным жестом свои светлые фламандские усы.

А окружающие нас добродушные швейцарцы с любопытством смотрят на этого парижанина, которого ежедневно видят идущим за провизией в мясную лавку.

— За каким чортом он так шумит сегодня вечером?

— Знаешь, — сообщает мне однажды Вермеш, — Лонкла [1] приезжает завтра.

Лонкла член Коммуны от 12-го округа. В Париже я его не знал.

На другой день Вермеш приводит ко мне плотного парня, веселого вида. Он пробудет в Альторфе всего несколько дней. Он направляется в Вену, по делам.

У Лонкла одно заветное желание, это посетить Фурку,—ледники, в которых берет свое начало Рона.

Среди писем Вермеша, которые сохранились у меня, нахожу следующие строки:

Мы наняли экипаж... Место встречи завтра утром на большой площади у Башни. Ровно в шесть часов. Сегодня вечером, в восемь часов, мы Лонкла и я, придем за тобой к Виже, если только ты не опередишь нас.

Виже это пивная «Шютценгартена», куда мы ходим поболтать по вечерам.

Итак, в путь на Фурку. В Гешенене мы подцепляем Баденгэ. Целый караван.

Дорогой мы выходим из экипажей, чтобы облегчить лошадей.

---

[1] Лонкла (А.), член Коммуны (от 12-го округа), командир 73-го батальона национальной гвардии, член Военной Комиссии (с 16 мая).

Лонкла, который впервые видит горы, на каждом шагу выражает свой восторг. Он срывает на скалах пучки альпийских роз, которые и привязывает к своей альпийской палке, как в былое время привязывал на аванпостах пучки сирени к острию штыка. Положив палку на плечо, он отбивает шаг, мурлыча походную песенку времен осады, ту самую, которую распевала на улице Бельвилля толпа, сопровождавшая заложников к стене на улице Аксо:

Y a la goutte à boire là-bas,
Y a la goutte à boire...

Как! этот славный малый, работящий и жизнерадостный, это тот самый Лонкла, о котором газеты рассказывали столько ужасов, вплоть до того, что напечатали — и это было перепечатано потом в одной книжке, изданной в 1871 году,—что Лонкла вместе со своим товарищем Филиппом[1] содержал один или даже два публичных дома!

Как все это давно! Больше я не встречал Лонкла. Три года спустя после этой веселой экскурсии на Фурку ужасная смерть унесла Вермеша.

СМЕРТЬ.

Сен-Пьер-Д'Арена (Италия). Октябрь 1878 года. Письмо. В черной рамке... Вермеш умер. Вернее освобожден. Умер... Сердце мое сжимается от боли... Целая жизнь встает в моей памяти. Наши встречи в латинском квартале. Пивная Сен-Северен. «Пер-Дюшен». Его письмо из Лондона после разгрома. Письма, полные отчаяния... Его жизнь возле нас, в Альторфе, такая мирная в первые месяцы, на окраине города у старого священника... Потом внезапная перемена... Помню, вечером он по обыкновению зашел за мной, чтобы вместе отправиться в какую-нибудь маленькую пивную поболтать за стаканами... Вдруг в разгаре разговора он выпрямился передо мной... Что он хотел? Почему он грозил мне?.. Ах, теперь я понимаю...

У меня все еще в руках письмо в черной рамке:

Вдова Эжена Вермеша, урожденная Дельфина де-Сомер, ее дети, родители, братья, сестры и зятья с прискорбием извещают вас о же-

[1] Филипп, член Коммуны (от 12-го округа). Приговоренный к смерти военным судом Филипп был расстрелян в Сатори одновременно с Бено, который поджег Тюльери, и Деканом 22 января 1873 года.

стокой потере, которую они только что понесли, в лице их горячо любимого мужа, отца и зятя

Эжена Вермеша,

журналиста и доктора литературы [1], родившегося в Лилле (Франция) и скончавшегося в Лондоне 9 октября 1878 года в возрасте 33 лет и двух месяцев после долгой и тяжкой болезни.

Гражданские похороны состоятся в New South Gate, au Great Northern Cemetery в воскресенье 13 октября в три часа дня.

С тех пор, как в октябре 1875 года, меньше чем через год после того, как он поселился там, Вермеш покинул Альторф, я только изредка получал известия о нем. Я знал, что он уехал из Женевы с тем, чтобы вернуться в Лондон. 10 августа 1878 года Кариа первый известил меня о состоянии, увы уже безнадежном, нашего бедного друга. Кариа писал мне:

Лондон, 10 августа 1878 года.

Гражданин Вильом.

Считаю долгом уведомить вас о несчастном положении, в котором находится Вермеш.

Уже неделя как он в постели, застигнутый болезнью, от которой мы отчаиваемся спасти его.

В прошлое воскресенье у него появились первые симптомы. Первые слова, произнесенные им, когда он пришел в себя, были: «Вильом... с тобой... Вильом... я хочу его видеть...»

Своим отчаянным положением он обязан нужде и клевете...

Надо вам сказать, что с некоторых пор, «Бубенцы» стали платить ему только 5 франков в месяц. Этот удар был для него так тяжек, что это его убило...

Дружески жму вашу руку

Леопольд Кариа.

Письмо Кариа застало меня в Сен-Пьер-д'Арена, возле Генуи, где я жил в маленькой вилле недалеко от пляжа. Я ответил Кариа, что, как только Вермеш поправится, он может приехать ко мне. Вдали от обременяющих его забот он скорее выздоровеет. А потом мы что-нибудь придумаем. Немедленно по получении моего письма Кариа написал мне:

Лондон, 19 августа 1878 года.

(Понедельник $9^1/_2$ ч. вечера)

Дорогой гражданин Вильом.

Час тому назад я получил ваше письмо. Согласно вашему желанию отвечаю тотчас же и даю ответ на вопросы, которые вас интересуют.

Мое первое письмо я писал у его изголовья в час ночи. Эта ночь была очень тяжелой для меня. У него был бред...

---

[1] В действительности Вермеш не был доктором литературы.

Вы спрашиваете меня, что делать. Пока что только одно—ждать.

Он попрежнему в Лондоне, в больнице, в десяти минутах ходьбы от меня. Так как я имею к нему доступ только по вторникам, то сведения, которыми я могу располагать сейчас, несколько устарели. В пятницу ему было немного лучше. В прошлый вторник я видел его утром четверть седьмого. Он узнал меня сразу, как только я вошел в палату, говорил со мной около пяти минут. Днем он говорил другим лицам, что я был у него утром.

Если бы он был спокоен, вдали от всяких волнений, я уверен, что он быстро выздоровел бы. Но перед ним неотступно стоит денежный вопрос, который не перестает его мучить. Вот о чем мы должны подумать.

Гражданин Вильом, так как у вас имеется дом на берегу моря, то, как только больной будет в состоянии путешествовать, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы перевезти его к вам...

Здесь мы решили произвести маленький сбор среди друзей с тем, чтобы, по выздоровлении, он мог располагать им, как ему заблагорассудится.

Таким образом у него будут деньги на поездку к вам. Впрочем, последняя состоится вероятно не раньше, чем через два месяца.

Через неделю я вам снова напишу, чтобы держать вас в курсе его выздоровления или осложнений, которые могут возникнуть.

Примите, дорогой гражданин, уверения в моей искренней дружбе.

Леопольд Кариа.

20 и 21 августа я получил два письма от г-жи Вермеш. И то и другое преисполненные отчаяния. 2 сентября новое письмо. Бедному больному лучше. Или, вернее, его близкие не хотят терять надежды.

Мы—мои родители и я—навестили его,—пишет г-жа Вермеш,—и нашли, что ему лучше. Вчера мы нашли в нем такую перемену, что я позволяю себе надеяться на его полное выздоровление...

Вскоре я получил новые известия от Эдмона Левро, которого я видел несколькими месяцами ранее в Женеве:

Лондон, 9 сентября 1878 года.

Мой дорогой Вильом,

Кариа, сообщивший мне ваш адрес, писал уже вам, в каком состоянии находится Вермеш.

Вчера я был у него... Странная вещь—он проводит время за сочинением стихов.

Он устроен как нельзя лучше в прекрасно оборудованном заведении. Врач и директор очень добры к нему. Это сказал мне сам Вермеш...

К сожалению, я боюсь, что он будет поправляться лишь очень медленно.

Словом, в настоящий момент он окружен таким хорошим уходом, какой только возможен.

От всего сердца жму вашу руку.

Эдмон Левро.

Я начинал отчаиваться. Последнюю надежду отняло у меня следующее письмо, пришедшее от Кариа:

Лондон, 1 октября 1878 года.

Дорогой гражданин Вильом,

Со времени моего последнего письма я видел Эжена два раза, в последний раз в воскресенье.

Реньяр тоже пришел его навестить.

Мы застали его в самом печальном состоянии. Он уже не мог говорить и поминутно плакал. Всякая надежда потеряна. Я боюсь, что он не протянет даже до января.

Мне не раз приходилось видеть умирающих людей. Но никогда я не был так потрясен, как в это воскресенье, при виде страданий бедного Эжена, который просил меня взять его из этого дома, где, как подсказывает ему внутренний голос, он непременно умрет. С болью в сердце вернулся я домой от больного.

Примите, дорогой гражданин, дружеское рукопожатие преданного вам

Леопольда Кариа.

Прошло несколько дней, и Эдмонд Левро сообщил мне роковую новость.

Лондон, 13 октября 1878 года.

Мой дорогой Вильом,

Вермеш умер. Погребение состоится сегодня.

Не знаю, сообщил ли вам Кариа эту печальную новость; я наскоро пишу вам эти несколько слов. Спешу на похороны.

Дружески расположенный к вам

Эдмон Левро.

Последнее письмо Кариа:

Лондон, 19 октября 1878 года.

Гражданин Вильом,

Вы узнали от Левро о смерти бедного Эжена. Я не из чувствительных, но надо вам признаться, что, несмотря на всю мою твердость, я не смог удержаться от слез на его похоронах. В его лице я потерял самого лучшего друга. Мы открыли подписку, чтобы воздвигнуть маленький памятник на его могиле [1]. Подписка принимается у Реньяра.

Примите, гражданин, уверения в моей преданности.

Леопольд Кариа.

---

[1] Не думаю, чтобы этот проект был когда-либо осуществлен.

Вермеша больше нет. Передо мной письма, залитые слезами той, которая осталась после него.

...Не думайте, дорогой Вильом — пишет мне вдова, одевшая траур,— что наш друг покинул землю, не вспомнив о вас. 3 августа он пришел на минуту в сознание и, увидев, что кто-то вошел в палату, сказал:

«Это ты, Вильом?» И затем: «Ты, Виланд?» [1] О вас обоих вспомнил он прежде всего...

Далее шли воспоминания о нашей жизни в Альторфе, друг возле друга:

...Когда я подумаю о счастливых днях, проведенных нами в Альторфе, слезы набегают у меня на глаза...

И в последнем письме от 12 ноября:

Никогда не думала я, что он оставит после себя такую пустоту. Я не в состоянии его забыть...

---

[1] Виланд был профессором из Альторфа, с которым Вермеш близко сошелся.

ПОСЛЕ АМНИСТИИ.

ГРАЖДАНИН ПРИВЕ.

Июль 1898 года. — Улица Ренн. Деревянная дощатая пристройка к дому № 76. Что-то в роде сарая, в котором приютилась скромная антикварная лавочка. За стеклами видны старинные ткани, картины, безделушки. В углу магазина мастерица, склонившаяся над вышитой тканью, которую она штопает. В кресле, старинном, как и все окружающее, сидит человек с энергичным лицом и острой седеющей бородкой. Он читает газету.

Это гражданин Приве.

Ему уже за шестьдесят лет. Высокого роста, широкоплечий, с седой гривой на голове и густыми бровями над голубыми глазами, с резко очерченным носом и открытым прямым взглядом,— старый инсургент имеет очень внушительный вид.

— Мой отец умер в девяносто лет,—говорил он мне однажды,— я доживу еще до «следующей».

«Следующая», это она... Коммуна!

Увидеть снова развевающееся красное знамя! Услышать еще раз на площади Ратуши приветственные клики былых времен! Вечная мечта коммунара, каким остался Приве!

Я стучу в стекло двери. Приве поднимает нос.

— Входи, — кричит он мне, не двигаясь с места. — Покупатели сегодня не показываются. Предупреждаю тебя, что я не в духе... Завтра срок платежа... Понимаешь, срок... Прудон написал превосходную статью про этот проклятый срок...

Мы болтаем. Две недели тому назад мы были с Приве на кладбище Пер-Лашез, куда проводили одного из только что скончавшихся товарищей.

— Послушай, ты еще не рассказал нам, каким образом ты спасся в ночь с субботы на воскресенье... когда войска окончательно завладели кладбищем...

* * *

— По мере того, как солдаты подходили, — начал Приве, — мы отступали к бульвару, где расположена la Conservation... Со мной был мальчуган лет 15—16, следовавший за мной повсюду со вчерашнего дня. Весь день, вернее весь вечер, он заряжал мои ружья... У меня их было два. Прислонившись к стене ограды, мы молча ждали, прислушиваясь к малейшему шуму... Солдаты не двигались... Было, вероятно, два или три часа ночи, когда я решился покинуть кладбище... Все было окончательно потеряно. Оставалось только бежать.

— Ну, бежим,—сказал я мальчугану. — Разойдемся. Каждый за свой страх... Так вернее...

Мальчуган покинул меня. Куда он девался? Не знаю. Я никогда больше о нем не слыхал. Я спрятал в чащу свои оба шаспо. Для чего? Я и теперь еще задаю себе этот вопрос... Ведь я должен был бежать... Я влез на стену, карабкаясь по прислоненным к ней бревнам.

Как только я взобрался на стену, я увидел, что улица находится подо мной на высоте 3—4 метров... Убедившись, что на ней нет ни души, что ни одно человеческое существо не может меня увидеть, я перемахнул через гребень стены и повис на руках в пространстве. Затем отпустил руки... и очутился без единой царапинки прямо на мостовой...

Руки мои были черны от пороху. Я чувствовал, как ноет мое плечо. А ты знаешь, что плечо...

— Да, что?

— Видишь ли, руки это пустяки. Достаточно потереть их тряпкой... Не то плечо: оно воспаляется от трения о ружье. Оно краснеет... Бывалый офицер не ошибается... Трудно себе представить, сколько человек подвело под расстрел... Как только вы наметили себе укромный уголок, скорее долой куртку и рубашку, и, если только можете достать хоть каплю одеколона или уксуса, трите покрепче. От этого проходит краснота...

— Итак, ты у подножья стены Пер-Лашеза?

— Ты знаешь ресторан на углу бульвара и улицы Покоя, где мы собираемся каждый год с тем, чтобы нести венки к стене...

Туда-то я и вошел.

Я был в штатском... Но что это был за штатский костюм!.. Если бы какой-нибудь солдат увидел меня в ту минуту, думаю, что он без колебания приставил меня к стенке... Моя мягкая шляпа была продавлена, измазана грязью. А мои башмаки! Башмаки Вечного Жида, месившего целый век дорожную грязь...

Я бросил взгляд на свой жакет... Пятна от колесной мази, которую оставила на нем близость орудий. Желтоватая грязь. Большие белые пятна, следы кладбища, мокрой травы. За поясом у меня торчал револьвер.

— Ну, уж с этим-то я не расстанусь, если бы даже он должен был подвести меня под расстрел...

Зала ресторана была пуста. Все попрятались, должно быть, по погребам или еще где-нибудь... Я толкнул дверь и очутился в кухне.

Здоровая девушка с засученными кверху рукавами спокойно чистила кастрюльку.

— Эй, красавица, придется дать мне чем вымыть эти грязные руки.

Девушка смотрит на меня.

Быстро повертывает кран и наполняет таз водой.

Я мою свои лапы.

Вдруг я вспоминаю про плечо... Живо сброшена рубашка и оголена рука... Служанка смотрит на меня.

— Я пойду принесу вам полотенце, — говорит она, направляясь к двери.

— Не смей уходить отсюда, — говорю я, делая страшные глаза,—я обойдусь и так.

И, говоря это, я кладу около себя мой револьвер.

— Теперь возьмемся за башмаки! Дай мне щетку.

Ваксы не было. Девушка подала мне щетку с наждаком, которою чистили чугунную печку.

Когда я вышел, я уже не походил больше на инсургента в своей хорошо вычищенной шляпе, с чистыми руками и блестящими башмаками... Да, но распахивать жакет мне не следовало. Под ним был револьвер, засунутый за пояс брюк.

— И ты вернулся в Париж?

— Да, по улице Ла-Рокетт... Я вспомнил, что у одного масона из моей ложи была поблизости лавка.

— Ты у него и укрывался?

— О, нет! Если бы ты знал, как он меня принял... Он начал развивать мне длинную теорию об опасностях, которым мы подвергали Республику... Разве сам Луи Блан не порицал Коммуну!

— Ну, старина,—сказал я ему,—прощай.

И бежал от него без оглядки.

К счастью, другие масоны оказались более преданными, и я знаю даже таких, которые, рискуя быть расстрелянными, спасали товарищей, которых видели впервые...

* * *

Приве умолк...

Всякий раз, когда я проходил по улице Ренн, я не упускал случая постучаться в окно к старому другу.

Однажды в январе 1901 года—прошло несколько месяцев со времени нашей последней встречи,—я увидел его большое кресло пустым. Я вошел. У мастерицы были заплаканные глаза...

— Что случилось?—спросил я.

— Случилось...—что г-н Приве сильно болен... Он в Шарите.

Я побежал туда... и застал Приве в агонии.

Через два дня мы провожали его тело на кладбище Исси, где он желал быть похороненным.

— Там столько цветов,—говорил он однажды в приливе откровенности...—Там мне будет очень хорошо... И потом это совсем близко от места, где мы дрались тогда. Мне кажется, что я буду слышать там пушку Коммуны.

РАНК.

Сентябрь 1898 года. Редакция «Радикала». Уже целый час как мы беседуем с Ранком[1] в коридоре, куда выходят комнаты редакции.

О чем мы говорим? О том, что всякий раз, когда мы встречаемся, составляет предмет наших разговоров.

О деле Шодэ.

Почему Рауль Риго в ночь со вторника на среду, 24 мая принял вдруг решение расстрелять редактора «Века», содержавшегося в Сент-Пелажи?

— Вы видели Риго в среду утром?—спрашивает меня Ранк.

— Да. В кафе д'Аркура на площади Сорбонны. Там-то он и сообщил мне о казни. Двумя-тремя короткими, отрывистыми фразами, брошенными на спех... Стрельба приближалась... Я не успел расспросить его... Вторично я увидел его уже мертвым, с размозженной головой, на улице Гэ-Люссак...

— А Сапиа?.. г-жа Сапиа?

— Ничего об этом не знаю... Впрочем да... В изгнании. Шардон рассказывал мне, что вдова и мать Сапиа очень часто приходили в префектуру полиции. Однажды, в присутствии г-жи Сапиа, г-жа Шодэ пришла просить у Риго разрешения повидать своего мужа в тюрьме... Толкнули ли его вдова и мать Сапиа на месть за их покойного мужа и сына? Шардон не ручался, что это было именно так... Но был близок к тому, чтобы верить в это.

— А статья в «Пер-Дюшене»?

— Статья!.. Вы же знаете...

— Нет... Мне говорили, что... это Адвенан?[2].

— Да... Раз поздним вечером—гранки были уже зажаты в тиски—принесли статью... пресловутую статью. Статья была прислана Авденаном,—это я знаю точно. Пришлось вынуть гранки из

---

[1] Ранк (Артюр), член Коммуны (избранный 9-м округом), подал в отставку 6 апреля. Был потом депутатом и сенатором от департамента Сены.

[2] Адвенан, администратор газеты Делеклюза «Пробуждение». Это он сделал надпись на могиле Делеклюза на кладбище Пер-Лашез, рядом с местом, где были установлены батареи федератов во время майской недели.

тисков с тем, чтобы вставить статью на последнюю страницу. На другой день или через два дня Шодэ был арестован[1].

— Значит, статья действительно исходила от Адвенана?

Я утвердительно кивнул головой.

Ранк задумчиво молчал.

Искал ли он что-то в своей памяти?

Я еще сейчас вижу, как он сбрасывает пенснэ характерным для него движением руки и протирает стекла, не поднимая головы.

— Вот что я знаю по этому поводу,—наконец заговорил он.

Я записал слово в слово рассказ Ранка. Я точно воспроизвожу здесь запись, сделанную мною в день нашего разговора:

* * *

... Я был тогда еще в Коммуне. Дело происходило на другой день после атаки моста Нейи (2 апреля). Не помню уже кто предлагает конфисковать имущество членов правительства национальной обороны. Составляют список имен.

— Но вы забываете Жюля Симона и Пикара?—кричит один голос.

Смех.

Вдруг я вижу, что Делеклюз встает со своей скамьи.

— А Шодэ?—восклицает он.—Он еще на свободе.

— Да оставьте вы в покое Шодэ,—говорит Паскаль Груссэ.— Его газета становится сейчас официозом Коммуны.

Встревоженный я покинул заседание и поспешил в редакцию «Века», где застал одного Чернуски.

— Ба!—сказал мне Чернуски, когда я рассказал ему выходку Делеклюза...—Это пустяки...

6-го, как вам известно, я подал в отставку и покинул Ратушу.

На другой день на улице Шоша я столкнулся лицом к лицу с Шодэ, который шел в свою редакцию.

Прежде, чем я успел раскрыть рот, Шодэ принялся горько упрекать меня за то, что я ушел из Ратуши.

— Вы хотите оставить,—говорил он мне,—поле действий для крайних...

Я дал Шодэ излить свое негодование. Когда он умолк, я рассказал ему инцидент с Делеклюзом.

— Да,—сказал Шодэ,—Чернуски уже предупредил меня... Но я с ним согласен. Это не серьезно.

---

[1] Статья «Пер-Дюшена» ни в чем не предопределила арест Шодэ. Этот вопрос был решен уже два дня перед тем. Риго категорически заявил мне об этом через несколько дней после ареста редактора «Века». Да-Коста также неоднократно заявлял мне об этом (см. его «La Commune vécue», II, 96).

— Напротив,—заметил я,—это очень серьезно. Я не трус и не дурак. Но я вам говорю, уезжайте. И не медля, если не хотите быть арестованным.

В этот момент подошел Улисс-Паран, который присоединился ко мне и стал умолять Шодэ немедленно покинуть Париж.

Но Шодэ ничему не хотел верить.

Он остался.

* * *

Таким образом, оказывается, что арест Шодэ был, по крайней мере до известной степени, делом рук Делеклюза.

Он добивался его, он требовал его с первого дня.

Через своего друга Адвенана он потребовал его на страницах «Пер-Дюшена».

Какой мотив толкал Делеклюза к тому, чтобы преследовать Шодэ своей ненавистью?

А 22 января?

В этот день Делеклюз с Разуа, Курнэ, Эдмоном Левро, Артюром Арну и другими находился у Лефевра-Ронсье [1] в доме № 60 по улице Риволи, в квартире, выходившей окнами на площадь Ратуши.

Когда грянула оружейная пальба, оставившая на месте с дюжину убитых, в том числе командира батальона Сапиа,—Делеклюз, как передавал мне один свидетель, поднес руки к лицу как бы для того, чтобы закрыться от ужасного зрелища. Друзья увели его, держа под руки. Его горе было безутешно.

Не воспоминание ли об этом кровавом дне, ответственность за который он, как и все общественное мнение, возлагал тогда целиком на Шодэ, заставляла его так упорно требовать ареста, а потом содержания под замком редактора «Века»?

Вот что рассказал мне по этому поводу, после моего разговора с Ранком, Авриаль, который вместе с Верморелем, Делеклюзом и другими входил тогда в состав исполнительной комиссии:

* * *

В одном из заседаний комиссии, — говорит мне Авриаль, — Верморель энергично требовал освобождения Шодэ, против которого, говорил он, не было выставлено никаких убедительных доказательств его виновности.

Верморель требовал, чтобы был по крайней мере отыскан оригинал приписываемой Шодэ депеши и пред'явлен ему с тем, чтобы

[1] Лефевр-Ронсье, помощник судьи в военном трибунале (с 13 мая). Помощник начальника штаба военного министерства (при Делеклюзе). Впоследствии муниципальный советник города Парижа.

последний признался, что действительно отдал приказ «очистить площадь» в день 22 января.

По требованию Вермореля Курнэ предпринял розыски этой депеши. Ее не нашли.

— Надо довести об этом до сведения Коммуны, — заключил Верморель.—Раз нам не могут пред'явить депешу, единственную базу всего обвинения против Шодэ, он должен быть завтра же на свободе.

Но Делеклюз упорно стоял на своем:

— Найдется ли депеша или нет, Шодэ должен быть оставлен под стражей.

* * *

На этом дело и приостановилось. Шодэ сидел в Сент-Пелажи. Ему суждено было расстаться со своей тюрьмой только для того, чтобы спуститься на круговую дорогу в ночь со вторника на среду, 24 мая.

И на мой вопрос Авриалю, не знает ли он, было ли после этого заседания исполнительной комиссии представлено в Коммуну хоть какое-нибудь доказательство виновности Шодэ, он ответил:

— Нет. Никогда никаких доказательств мы не получали.

При встречах со мной Ранк неоднократно возвращался к статье «Пер-Дюшена».

— Как? При каких обстоятельствах была она доставлена в редакцию?

В расспросах Ранка чувствовалось горячее желание журналиста проникнуть в газетную тайну. Потому что Ранк был прежде всего и больше всего журналистом.

— Ну-ка! — говорил он мне, — который же из вас троих просматривал статью?

Я молчал.

— Ага! Значит, это вы? Ну же, признавайтесь...

Но я не признавался.

Ни поскольку это касалось меня, ни поскольку это касалось того или другого из моих двух сотрудников.

И разговор на этом прекращался.

Незадолго до его смерти я навестил Ранка на площади Вогезов. Он просил меня принести ему еще один экземпляр моей брошюры «Немного правды о смерти заложников». Он затерял, не успев прочитать, тот экземпляр, который я ему поднес по выходе брошюры из печати [1].

---

[1] Эта брошюра была напечатана в 1906 году в типографии «Эмансипация», улица Пондишери, 3—80 страниц in octavo. (300 номерованных экземпляров, не поступивших в продажу).

Я, как сейчас, вижу его, еще крепкого, несмотря на начинающийся паралич, который не давал ему возможности ходить, в красной ермолке, веселого, разговорчивого по обыкновению.

Мы поболтали о том, о сем.

Перед уходом я протянул ему руку. А он, указывая пальцем на заглавие красной обложки:

— Ну, на этот раз, надеюсь, вы признаетесь...

— Нет... Нет еще. К тому же я здесь не касаюсь дела Шодэ.

Июль 1901 года. Мы беседуем с Ранком о Риго.

У Ранка была слабость к гебертистам. Он любил, чтобы его причисляли к ним. Гебертист и бланкист, Риго не мог не пользоваться симпатией Ранка, с которым он встречался везде, где составлялись заговоры и боролись против империи в последние годы ее существования.

* * *

— Последний раз я встретил Риго, — рассказывал мне Ранк,— за несколько дней до вступления войск. На набережной. Он был, насколько я припоминаю, с Да-Коста.

Я только что получил вести из Версаля и поделился с ним. Вести были очень плохие. Армия была у самых ворот. Падение Парижа было делом нескольких дней. Может быть, часов.

Риго оказался столь же осведомленным.

— Подумали ли вы, — сказал я ему, — о бесчисленных бумагах, назначениях, всякого рода заметках, письмах, между прочим относящихся и ко временам империи? Надо это сжечь сейчас же... Сколько людей окажется скомпрометированными, если они достанутся победителям!

Риго на минуту задумался.

— Ба! — сказал он вдруг. — Дело будет гораздо проще... Мы подожжем всю эту коробку!

— Да, — согласился я, — но прежде надо спрятать в надежное место архивы революции. Они имеются в префектуре—и я показал пальцем на здание полиции,—имеются и в Ратуше... Там вся Коммуна, великая... Ее секции...

Мне показалось, что Риго и не подозревал о наличии этих драгоценных документов как в префектуре полиции, так и в Ратуше.

— Вы правы, — сказал он мне. — Я с сегодняшнего же дня велю перенести все это в надежное место.

Как вам известно, он не сделал ничего, и все или почти все стало добычей пламени.

ДОМБРОВСКИЙ.

В Женеве, во время наших бесконечных разговоров о последних днях, Брюнеро не раз возвращался к трагической сцене похорон генерала Коммуны в среду, 24 мая, на кладбище Пер-Лашез.

Там, наверху, на площадке, где со вчерашнего дня гремели, не переставая, орудия федератов, пушки умолкли.

Артиллеристы, канониры, бойцы — все покинули свои посты, чтобы притти и последним поцелуем проститься со своим героем-вождем, смертельно раненным накануне на баррикаде улицы Мира и улицы Рыбаков. Умирающий был отнесен в Ларибуазьер, где он и скончался, а затем в Ратушу, откуда ночью, при свете факелов, он был поднят на катафалк.

Заботами Брюнеро тело было положено в гроб, одето в мундир и обернуто в красное знамя.

Около четырех часов, в ту самую минуту, когда на площади Вольтера должен был разыграться первый акт трагедии заложников, тело Домбровского, после страстной речи Вермореля, было опущено в склеп.

Где?

Были ли останки Домбровского все еще там, куда их опустили?

Не были ли они вырыты?

Перенесены в другое место?

Однажды, в июле 1898 года, я отправился на кладбище Пер-Лашез, с тем, чтобы просмотреть по входящему журналу списки покойников, поступивших за время майской недели.

Журнал был мне показан.

Под 24 мая значился только один покойник.

Читаю:

«Домбровский, генерал Коммуны, опущенный в склеп Бризара, отделение № 7».

Гроб оставался в этом склепе до 18 февраля 1879 года.

В этот день владелец склепа, которому понадобилось отделение, занятое Домбровским, велел вынуть гроб, который и был отнесен на кладбище Иври.

На кладбище Иври, куда я отправился вслед за тем, мне сказали—и я сам проверил это по входящему журналу, — что гроб, доставленный с Пер-Лашеза, был немедленно по прибытии зарыт в бесплатной могиле.

Пять лет спустя, в ноябре 1884 года, могила была снова взрыта.

Мне хотелось узнать, не привлекли ли внимание рабочих при вскрытии гроба какие-нибудь особые признаки, ибо, как я уже упоминал, Домбровский был одет в военную форму.

Пуговицы от мундира? Бляха от кушака? Клочья одежды или красного знамени?

Ничего.

На крышке гроба, по свидетельству Брюнеро, брат Домбровского, присутствовавший на похоронах, надписал имя покойного:

Ярослав Домбровский.

Не было ли чье-нибудь внимание привлечено остатками этой надписи?

Опять ничего.

Ни в городских бюро, ни в муниципальном совете, никто не проявил ни малейшего интереса к перенесению останков генерала Коммуны.

Где они теперь?

Зарыты в какой-нибудь яме? Или покоятся вечным сном в катакомбах?

СТЕНА.

Кладбище Пер-Лашез... Похороны старого товарища. Речи окончены. Беседуем на площадке крематория, трубы которого еще дымятся. Авриаль, Приве, Рулье, Алявуан и другие. Небольшими группами спускаемся по аллеям, ведущим к выходу. Машинально, продолжая разговаривать, направляемся к Стене. Обычное паломничество.

Вот мы и пришли.

Лицевая сторона Стены вся покрыта красными венками, выцветшими, высохшими, с лентами, истрепавшимися от дождя и ветра. «Мертвецам 1871 года. В годовщину кровавой недели. Жертвам великой бойни». В перемежку с гигантскими венками, возложенными от различных комитетов, ассоциаций, революционных кружков, попадаются другие, совсем маленькие, из черных бус, с лиловыми и желтыми цветами и надписями: «Моему отцу. Моему мужу». Благоговейные воспоминания о тех, кто лежит здесь под землей, или, по крайней мере, должны здесь лежать.

Но здесь ли они?

Спят ли у подножья этой Стены расстрелянные в ночь с субботы на воскресенье, расстрелянные в Ля-Рокетт, которые «умирали с нахальством» и, изрешетенные пулями, тела которых были увезены в ужасных мебельных фургонах, струившихся кровью, на соседнее кладбище?

Спят ли у подножья этой Стены те сто сорок семь человек, которые были расстреляны в воскресенье утром на соседнем холмике, зеленеющем еще и сегодня, где были вырыты страшные общие могилы, чтобы скрыть жертв великой бойни?

Вопросительно поглядывая на соседние могилы, мы обменивались между собой редкими замечаниями. На каждого из нас нахлынули, конечно, воспоминания. Там, по другую сторону пирамиды, золоченая верхушка которой виднелась сквозь покрытые инеем деревья, там стояли батареи федератов, в течение четырех дней и четырех ночей посылавшие Парижу свои снаряды.

— Ты там был? — спросил я у Алявуана.

— Да. Я там был. В субботу утром нам пришлось оставить орудия — с десяток семидюймовых орудий — из-за недостатка снарядов. Версальцы были совсем близко, на авеню Сент-Манде... Шел проливной дождь... Рядом с нами валялся труп лошади, убитой снарядами, отравляя воздух уже четвертый день. Нас оставалось не более пятнадцати человек... Я никогда не забуду последнюю ночь, проведенную мною там. Вместе с двумя артиллеристами, из которых один был с раненой рукой, завернутой в красную ткань, я ночевал в склепе Морни. Рядом с нами валялась груда снарядов не по калибру. Раненый артиллерист ругался... «Чорт возьми! Новое предательство!..» Мы задыхались в склепе... Я вышел на минутку... Что за зрелище!.. Весь Париж пылал под нашими ногами, как огромный костер... Половина города исчезала в колоссальном облаке дыма... Черного, черного... В этот момент уже не сражались... Какая зловещая тишина!.. Я поднялся всего шагов на пятьдесят до белой пирамиды — знаешь памятник Божуру. Дверь в круглую подземную галлерею была широко открыта. С десяток артиллеристов храпели на куче желтых венков. Около одиннадцати часов утра мы ушли все. Как раз во-время. Еще несколько часов и мы были бы захвачены морскими стрелками...

Приве слушал, делая время от времени утвердительный жест. Он, ведь, тоже сражался там.

— Бросив орудия, — рассказывал он, — я остался на кладбище, в нижней его части. Кроме меня, там было еще несколько встреченных мною федератов. Около четырех часов мы услыхали первые выстрелы солдат. Они вошли, проломив стену с улицы де-Рондо. Близехонько отсюда... Вон там...

И Приве указал рукой на ограду. Недалеко от стены.

— При первых выстрелах, — продолжал он, — мы быстро полезли в кусты. Нас было шесть или семь. Мы спрятались в чаще кипарисов, возле надгробного памятника Казимира Перье... Там мы пробыли долгие часы, время от времени делая по одному или по два выстрела. Солдаты не подвигались вперед. Только с наступлением ночи мы услышали топот ног и лязг ружей. Они двигались массой. Нам оставалось только бежать в незанятую еще часть кладбища. Солдаты расположились бивуаком. Около полуночи я влез на стену ограды и спрыгнул вниз... Я был вне опасности.

— Значит, на кладбище не было, в сущности, большой борьбы?

— И да, и нет. Дрались небольшими кучками. Отдельными выстрелами. Это была настоящая охота. И она продолжалась весь вечер субботы... Но это и все... Те, которые были расстреляны здесь, были схвачены в других местах... Везде понемногу... На самом кладбище, в стычках, предшествовавших появлению солдат...

Мы удалились.

Несколько дней спустя я вернулся на кладбище Пер-Лашез.

Уже давно искал я свидетеля бойни, происходившей здесь в то воскресное утро.

И вот я нашел его.

Это—хранитель кладбища, г-н Лепретр. Молодым служащим кладбища в 1871 году он видел все, все. Несчастных, сбившихся в кучу в ожидании расстрела. Мертвых. Ужасные ямы.

— Это было в воскресенье утром, — рассказывал мне г-н Лепретр (здесь я пользуюсь сделанной мною записью нашего разговора). — Около семи часов. Их было человек сто пятьдесят или около того, собранных в центральной аллее, метрах в пятидесяти от больших ворот бульвара Менильмонтан. Они были уже там, когда я подошел. С каких пор? Не знаю. Откуда они явились? И этого не знаю. Были среди них люди в форме федератов. Другие, большинство, в блузах или жакетах. Вокруг них человек двадцать солдат, с ружьем у ноги... Когда я их увидел, я еще не знал об ожидавшей их участи... Вдруг появляется какой-то старший офицер. Большими шагами направляется он к группе. «Эй, отведите-ка всю эту сволочь туда, наверх!!»—крикнул он. Затем он подходит к одному офицеру—офицеру морских стрелков—и что-то тихо говорит ему. Офицер делает знак. Печальный кортеж удаляется, поднимается вверх, сворачивает в правую аллею... Я слежу за ним взглядом... Проходит четверть часа, полчаса, которые показались мне целой вечностью, и я услыхал раскаты выстрелов...

— Вы не ходили туда?

— Нет. Да мне и не позволили бы итти за ними... Только на другой день, рано утром, я получил приказ похоронить их... В несколько минут я взбежал наверх. Я хотел, как можно скорее, увидеть их... Что за ужасное зрелище! Оказывается, их расстреляли там, на холмике... Тут же были вырыты большие ямы... Трупы лежали почти все лицом к земле... Все босые... Я велел их опустить в общую могилу..

— Значит, они зарыты не под Стеной?

Мой собеседник задумался... Он, видимо, напрягал свою память.

— Не эти... На моих глазах опускали только в общие могилы.

— Сколько их было приблизительно?

— Не знаю. Не считали, ведь... Впоследствии я неоднократно беседовал об этом с другими свидетелями... Вероятно, тысяча. Может быть, немного меньше... Может быть, немного больше... их не считали [1].

[1] На кладбище Пер-Лашез было доставлено больше тысячи трупов. Один только военный суд в Ла-Рокетт доставил этим общим могилам тысячу двести трупов.

— А у подножья Стены?

— Не знаю. Возможно, что там тоже расстреливали. Как и везде понемногу... Возможно, что некоторых и зарыли на этом месте... Я, повторяю, видел только, как их сбрасывали в общие могилы... Их привозили полными телегами из Ля-Рокетт, с площади Вольтера, отовсюду... Еще одна подробность... Когда, при отбытии мрачного кортежа, собранного в центральной аллее, офицер, командовавший морскими стрелками, прошел мимо меня, чтобы подняться на холмик, я пристально взглянул на него. И я ясно увидел слезы, блестевшие у него на глазах... У меня тоже сердце сжималось от боли...

В БРЕВАННЕ.

Сентябрь 1909 года. Мы отправились на прогулку—Люсьен Декав, доктор Крепель и я.—в Бреванн[1], где у Декава есть старый друг Матэ, который в течение двух недель мая командовал фортом Ванв.

Матэ, который был близок с Феликсом Пиа, исполнилось восемьдесят пять лет. Он, все еще бодрый, сопровождает нас в нашей прогулке по парку.

— Знаете, — говорит он нам вдруг, — Уде все еще здесь.

Уде... Член Коммуны, избранный одиннадцатью тысячами избирателей округа Бютт-Шолон почти единогласно... Член Комиссии Общественной Безопасности... Один из самых крайних, пожалуй, самый крайний в Ратуше. Раненный в пятницу утром, он лежал на диване в улице Аксо, когда туда привели 50 заложников.

Я мало встречал Уде во время Коммуны, но зато хорошо помню одну ночь 1870 года — бессонную ночь, — проведенную с Уде у Валлэса, жившего тогда на улице Турнон против казармы муниципальной гвардии. Уде, которого мы встретили на улице Сен-Северен, у Глазера, говорил, что его преследует полиция. Валлэс предложил ему приют — приют мало надежный, так как Валлэс сам жил под угрозой преследований, — и мы провели ночь, разговаривая и строя планы восстания.

— Он там наверху, — говорит нам Матэ, указывая рукой на окна здания лазарета.—Ах, ему очень плохо... Он—конченный человек.

Мы поднимаемся. Ряды белых кроватей. Старики. И еще старики. Уде лежит, вытянувшись на одной из кроватей. Худая желтая маска, глаза закрыты. Покойник...

— Ему восемьдесят шесть лет, — говорит нам сиделка, которая за ним ходит.—Он не может больше двигаться... Два месяца тому назад его еще можно было поднимать... Он больше не видит...

[1] Муниципальная богадельня Бреванна в Лимейль-Бреванне (департамент Сены и Уазы) была основана в 1884 году городом Парижем в виде переполнения парижских богаделен.

Стр.

И потом рассудок у него помутился... Он все время заговаривается. . . 289

— Да, он заговаривается, — говорит старик, сидящий на соседней кровати...—Он все время говорит... . . 294

— А что же он говорит? . . 299

— Ах! Его очень трудно понять.. Рошфор... Рошфор... Вальян... . . 304

До последнего издыхания, с помутившимся сознанием, старый инсургент не перестает думать о героических днях... Вальян... Коммуна... Рошфор... Дни борьбы против империи... . . 308 . . 313 . . 320

Всего через месяц после нашего посещения Уде испустил последний вздох. Бедный, как Гуйе, член Центрального Комитета, тоже пансионер убежища в Бреванне, где он умер в 1904 году. Бедный, как все те коммунары, которые пришли укрыть под большими деревьями муниципального убежища или — менее счастливые — в палате какой-нибудь парижской богадельни, нищету своих старческих дней. . . 329 . . 333 . . 338 . . 340 . . 344

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

День в Люксембургском военном суде 7

Немного правды о смерти заложников.

Архиепископ (Среда, 24 мая) 45
Расстрел на Новом Мосту (Среда, 24 мая) 65
Доминиканцы (Четверг, 25 мая) 69
Мексиканец (Пятница, 26 мая) 85
Улица Аксо (Пятница, 26 мая) 92

Когда мы издавали «Пер-Дюшен».

Республика или смерть! 115
Наши досуги 126
Друзья 139
Батальон «Детей Пер-Дюшена» 158
Последние дни 165

В восставшем городе.

У Глазера 171
Вступление пруссаков 187
Колонна 192
В госпитале «Божий Дом» 199
В министерстве юстиции 208
Прото и адвокат Русс 212
Вольтер и Руссо 215
В клубе Северен 218
Кафе дю Орсэ 222
Концерт в Тюльери 224
Монета Коммуны 228
Почему Делеклюз искал смерти? 234
Утро боя 239
Красная улица 247

В путь!

В разгаре террора 254
Первые приключения 261
Арест 266
Мой дядюшка вахмистр 274
По ту сторону границы 281
В Женеве 286

Стр.

В изгнании.

Мой друг полковник 289
Папаша Гайяр 294
На границе 299
Прото 304
Перелетные птицы 308
Разуа 313
Эжен Вермеш 320

После амнистии.

Гражданин Приве 329
Ранк 333
Домбровский 338
Стена 340
В Бреванне 344

Рабочее Издательство

„ПРИБОЙ“

Ленинград, Проспект 25-го Октября, 52.

У. Синклер.—Жизнь на развалинах (Комедия 2000-го года)	— р.	60 к.
У. Синклер.—Деньги (роман)	— „	80 „
У. Синклер.—В поисках правды	— „	60 „
У. Синклер.—Юг и Север (роман)	1 „	— „
У. Синклер. Пьесы	1 „	20 „
Андрей Струг.—История одной бомбы	— „	90 „
Андрей Струг.—Люди подполья	— „	75 „
А. Аросев.—Никита Шорнев	1 „	— „
Эрнст Пуль.—Гавань (роман)	1 „	20 „
М. Бартель.—Площадь народн. мести	— „	30 „
Уэллс.—Сон (фантастический роман)	1 „	— „
М. Козаков.—Попугаево счастье (расск.)	— „	50 „
М. Сивачев.—Федор Быльников (ром.)	— „	50 „
Лозле.—Цюллингер и его выкормки	— „	50 „
Б. Никкольсен.—Глориана (роман)	— „	50 „
Саур.—Цена крови (повесть)	— „	35 „
В. Андреев.—Канун (рассказы)	— „	50 „
Д. Четвериков.—Сытая земля	— „	70 „
П. Арский.—Голгофа (трагедия)	— „	60 „
Витфогель.—Кто самый глупый	— „	50 „
В. Князев. —Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)	— „	85 „
Львов-Рогачевский. — Книга для чтения по новейшей русской литературе	2 „	— „
В. Ропшин (Савинков).—Конь вороной (повесть)	— „	60 „
Никэд Мат.—Желтый дьявол (роман из эпохи гражданской войны), т. I	1 „	— „
Лавренев.—Ветер (сб расск. и пов.)	1 „	— „
Михаил Чесс.—Елоп (сборн. рассказ.)	1 „	— „
Щеглов.—Универсальные лучи	1 „	35 „
Стройка.—(Лит.-худ. альманах) стр. 207.	1 „	50 „
Альманах для всех.—Книга I-ая, стр. 269.	2 „	— „

Цена 1 руб. 50 коп.

50 к

СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: Просп. 25 Октября, 52, магазин „Книжные Новинки“. Тел 5-45-77.

Москва: Московское отдел. издательства „ПРИБОЙ“, Лубянский пассаж, №№ 47—49. Тел. 2-24-09.